

СЕРГЕЙ
ЕСЕНИН

Я, Есенин Сергей



Я, Есенин Сергей... //978-5-699-08349-7, Москва, 2007

ISBN: 978-5-699-08349-7

FB2: MСat78 "MСat78 " <MСat78@ya.ru >, 2009-01-08, version 2.0

UUID: 30ccb5e1-2ed9-102c-baaf-af3a14b75ca4

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Сергей Александрович Есенин

Я, Есенин Сергей...

Прошло почти сто пятнадцать лет со дня рождения Есенина, а он по-прежнему самый читаемый, самый популярный, воистину народный поэт. В настоящий однотомика – «Я, Есенин Сергей», кроме лирики, поэм, прозы и иллюстрированной хроники жизни и творчества поэта, включены воспоминания и статьи из легендарного, ставшего раритетом сборника «Памяти Есенина», изданного Всероссийским союзом поэтов в 1926 году. В полном составе эти материалы никогда не переиздавались.

Содержание

Проскакал на розовом коне.....	0007
Лирика.....	0046
#1.....	0046
Калики.....	0047
Подражание песне.....	0051
Береза.....	0056
Пороша.....	0058
С добрым утром!.....	0059
В хате.....	0061
Осень.....	0069
Корова.....	0081
Песнь о собаке.....	0084
Голубень.....	0095
Лисица.....	0100
Пропавший месяц.....	0117
#14.....	0133
#15.....	0134
Хулиган.....	0139
#17.....	0142
Исповедь хулигана.....	0144
Песнь о хлебе.....	0152
#20.....	0154
#21.....	0157
Прощание с Мариенгофом.....	0168
Папиросники.....	0185

Пушкину	0186
Сукин сын	0187
Возвращение на Родину	0192
Русь Советская	0198
Русь уходящая	0203
Стансы	0209
Поэтам Грузии	0213
На Кавказе	0217
Письмо матери	0220
Письмо к женщине	0222
#34	0232
Персидские мотивы	0232
Стихи двадцать пятого года	0253
#37	0275
#38	0276
#39	0277
#40	0278
Песня	0285
Собаке Качалова	0288
Маленькие поэмы	0308
#1	0308
Русь	0309
#3	0314
Инония	0314
Пантократор	0323
Кобыльи корабли	0326
Сорокоуст	0330
Мой путь	0335

#9	0342
Пугачев	0343
Анна Снегина	0401
Черный человек	0433
Страна негодяев (Драматическая поэма)	0440
Проза	0511
#1	0511
Яр Повесть	0512
Железный миргород Очерки об Америке	0702
Всероссийский союз поэтов Памяти Есенина	0722
#1	0722
Памяти Сергея Есенина	0723
Мое знакомство с Есениным	0730
Одна ночь	0786
Годы восхода и заката	0804
Четыре дня	0825
Вольф Эрлих о смерти Есенина	0836
Из встреч с Есениным	0848
Из воспоминаний о Сергее Есенине	0852
То, о чем помню	0860
Сергей в больнице	0863
«Вольнодумец» Есенина	0867
Последняя встреча	0871
Из воспоминаний	0874
Есенин	0887
Цветок неповторимый	0889
Лирический роман Есенина	0894

Сергей Есенин Я, Есенин Сергей...

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественно уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелев подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве.

Борис Пастернак

Проскакал на розовом коне...

Есенин – самый популярный, в прямом смысле – народный и при этом совсем не общедоступный поэт. Его поэтика, при кажущейся простоте и прозрачности, причудлива и удивительна. Немало удивительного и в его судьбе. Явившись из деревенской глуши, он, по утверждению «людской молвы», поднялся по парадной лестнице Петербургского Дома Искусств в деревенских валенках и лазоревой косоворотке, не конфузясь неприглядной «одевы», уверенно и спокойно – как власть имеющий, как полномочный посол Всея Руси. На расстоянии полувека, в середине шестидесятых, дебют Есенина выглядел именно так – лубочно-триумфально. Легенда, героем которой он сделался, стерла детали, мешающие апокрифу о пришествии «вербного отрока» сохранить, что называется, чистоту жанра.

В действительности начинал Есенин отнюдь не блистательно. Его ранние, написанные еще в церковно-учительской школе (1909–1912) стихи и подражательны, и несовершенны. Да и прибыл Сергей Александрович

вич из рязанского захолустья в Москву не для того только, чтобы удивить отставную столицу своим явлением. Переехал, как и многие получившие образование крестьянские дети, на заработки, ибо «пропасть в глуши» и тянуть лямку наставника деревенской школы грамоты при самом искреннем сочувствии к «забитому» и «от света гонимому народу» решительно отказался. Несмотря на слезы матери и гнев отца, которым очень-очень хотелось, чтобы их первенец, такой пригожий и умный, всему селу на зависть стал учителем.

Сменив несколько явно не подходящих ему профессий (конторщик в мясной лавке, экспедитор в издательстве «Культура»), новоиспеченный москвич довольно быстро нашел приличную работу – устроился помощником корректора в типографию Сытинского издательского товарищества. Там, кстати, познакомился с порядочной и славной Анной Романовной Изрядновой, сблизился с ней, по примеру ее и совету записался вольнослушателем в народный университет им. А. Л. Шанявского (1913). В 1914 году Анна родила от Есенина мальчика, названного по инициативе

девятнадцатилетнего отца Юрием (погиб в период сталинских репрессий в середине тридцатых).

Университетская среда пришлась по вкусу «вчерашнему жителю села», он много читает, дружески сходится с такими же, как сам, жадными на ученье выходцами из крестьянского сословия, они-то и вводят Сергея в Суриковский музыкально-литературный кружок, деятельно и умело опекавший писателей из народа. Короче, времени даром не теряет, принимает даже участие в организационных хлопотах по созданию собственного журнала суриковцев «Друг народа»; там же публикует стихотворение «Узоры», годом ранее Есенина начал полегоньку печатать и еще один московский тонкий журнальчик для детей – «Мирок»; что же касается серьезных толстых журналов, то они глухо молчат, хотя Сергей Александрович регулярно отправляет по элитарным редакциям подборки новых своих произведений. Однако усилия не эквивалентны результату: Москва, приютив честолюбивого провинциала, явно не спешит признать в нем оригинальный талант и упорно не выделяет

среди начинающих «самородков». Однако Есенин слишком верит в себя, в свою «будущность» («я о своем таланте много знаю»), чтобы отступить и вернуться не солоно хлебавши в родные «рязани». Кроме того, едва осмотревшись, он быстрехонько сообразил: в Москве, бездушном буржуазном городе, «где люди большей частью волки из корысти» (из письма к деревенскому другу Грише Панфилову), не найдет ни истинных ценителей, ни просвещенных меценатов-издателей. В том же письме поэт признается товарищу ранних лет: «Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер». Надо отдать должное интуиции сельского мечтателя: расчет на северную столицу был верным. В начале XX века именно Петербург, вопреки традиции, а не Москва, увлеченная пропагандой и усвоением художественных достижений Запада, становится своеобразным славянофильским центром. Однако и московское неозападничество, и петербургское неославянофильство, равно как и волна культурного подъема в крестьянстве (она-то и подняла на своем гребне и вынесла на гулкие улицы столиц крестьянских по-

этов), – лишь разные стороны одного процесса. Промышленный бум конца века выдвигал Россию в мировые державы, а это не могло не стимулировать амбиций национального самосознания. Культурная Россия словно бы напряглась и замерла в ожидании Нового поэта, который, по предсказанию Блока, непременно найдет краски и слова для выражения смертной любви россиянина к бедной своей родине. Поэта, который неведомо каким – чудесным! – способом добудет затонувшее в недрах ее болот и суглинков «поющее золото». Блок не только предсказал неизбежность вспышки на русском литературном горизонте необычайной – новой и ослепительно яркой поэтической звезды. Он еще словно бы «отпортретировал», «назвал по имени» темы, сюжеты, ключевые образы лирики Есенина 1914–1915 гг. – провидчески, наперед, в знаменитом эссе 1906 года «Безвременье», то есть почти за десять лет до того, как они были созданы...

«Пляшет Русь под звуки длинной и унылой песни о безбытности... Где-то вдали заливается голос или колокольчик, и еще дальше,

как рукавом, машут рябины, все обсыпанные ягодами. Нет ни времени, ни пространства на этом просторе. Однообразны канавы, заборы, избы, казенные винные лавки, не знающий, как быть со своим просторным весельем, народ, будто удалой запевало выводящий из хоровода девушку в красном сарафане. Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом... Вот русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. Когда же наступит вечер и туманы оденут окрестность, даль станет еще прекраснее и еще недостижимее» (Блок, «Безвременье»).

И предположить невозможно, что знаменитое это эссе, так же как и написанное в том же эстетическом и эмоциональном регистре стихотворение Блока «Осенняя воля» (1905), прошло мимо внимания Есенина. Слишком пристально и ревниво следил он за творчеством их автора, очень уж прилежно учился у него «лиричности» («Блок и Клюев научили меня лиричности». «О себе», 1925). К тому же студенты народного университета старались быть в курсе свежих веяний, да и напечатано

было «Безвременье» в журнале «Золотое руно» – дорого, престижно, бережно, в особом библиотечном фонде хранимом (библиотека в университете им. А. Л. Шанявского была отменной). Во всяком случае, готовясь удрать в Питер и ломая для «Радуницы», первого своего сборника, прежнюю поэтику, ориентированную на вкусы преподавателя литературы в Спас-Клепиковском училище, Есенин, начиная с осени 1914 года, работает как бы по блоковскому «сценарию». Упорно, например, добивается впечатления синевы и шири (не пространства, а точь-в-точь как в «Осенней воле» – простора, «далее неоглядных»: «Скачет конь, простору много,/Валит снег и стелет шаль./Бесконечная дорога/Убегает лентой вдаль»); изобретает, словно прислушиваясь к урокам учителя, все новые и новые образы для выражения «щемящей тоски неисполнимых желаний»; тоска у него теперь, после заочной встречи с мастером Блоком, и «озерная», и «солончаковая», и «журавлиная»... Крайне изобретательно использует Есенин и открытый Блоком эффект взгляда сквозь утренний или вечерний туман («даль

подернулась туманом...»), и счастливо найденное им же сравнение дерева с девушкой, взмахивающей рукавом (Блок: «Как рукавом, машут рябины»; Есенин: «Как метель, черемуха машет рукавом»). До того, как Есенин выбрал в мэтры Александра Блока, выработанный им план первого поэтического сборника был совсем иным, куда менее оригинальным. Московский его приятель литератор Д. Семеновский вспоминает, что еще летом 1914 года Сергей говорил: «Напишу книжку стихов под названием „Гармоника“. В ней будут отделы: „Тальянка“, „Ливенка“, „Черепашка“, „Венка“.

Вместо задуманной «Гармоники» Есенин написал «Радуницу», книгу, созданную под могучим влиянием, я бы даже сказала – внушением, очарованием молодого Блока, Блока поры «Осенней воли» и знаменитого эссеистского триптиха: «Краски и слова», «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», «Безвременье».

Согласитесь, с такою вот подготовкой у рызанского самородка были весьма серьезные основания не только прийти к Александру Блоку без приглашения, но и надеяться, что

знаменитый поэт примет участие в его судьбе. Согласно легенде, Есенин так и сделал: приехав в Петербург, прямо с вокзала, в нагольном тулупчике заявился в строгий и высокий дом «у морских ворот Невы» и тут же, с порога, вручил хозяину стихи, написанные на отдельных листочках и упакованные чуть ли не в деревенский платок узелком. В действительности по дороге с вокзала Есенин оставил Блоку записку: приду-де в четыре часа и по важному делу, а одет был обыкновенно – в приличный городской костюм, купленный в магазине готового платья (так одевались в ту пору хорошо зарабатывающие молодые рабочие).

Блок встретил московского гостя вежливо, но официально, выслушал, впрочем, внимательно, день визита – 9 марта 1915 года – отметил для памяти в Дневнике: «Днем у меня рязанский парень со стихами... Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные...» А вот предсказанного им же самим нового поэта с «новой свежестью зренья» в талантливом самородке, увы, не узнал... Да он бы и себя не узнал – прежнего, молодого и дерзкого, ежели

б «встретил на глади зеркальной». Того, о котором Анна Андреевна Ахматова чуть не через полвека скажет: «И помнит Рогачевское шоссе разбойный посвист молодого Блока» (*Рогачевское шоссе* – авторская пометка к стихотворению «Осенняя воля»). За десять лет и Блок переменялся, и Россия стала другой: роковой 1914-й стер с лица земли его сказочно-прекрасную *необычайную Русь*... Блок в марте 1915-го это: «Петроградское небо мутилось дождем, на войну уходил эшелон»... Придавленное мутным и тяжелым небом, обезгლოსело в недрах народной души певчее золото, а в далях неоглядных обесцветилась, выцвела русская синь...

Однако ж и оставлять на улице подающих надежды молодых людей – не в правилах Александра Александровича, и он переправил, с соответствующей рекомендацией, сочинителя *голосистых стихов* к Сергею Городецкому, тоже поэту и художнику-любителю, а через месяц на просьбу «рязанского парня» о новой встрече ответил отказом: дескать, видеться нам не стоит, мне, мол, даже думать *про ваше* трудно. Холодную отчужденность

Блока и самый воздух его замкнутого дома Есенин истолковал как «снисходительность дворянства», и был не так уж сильно несправедлив: в процитированную выше дневниковую запись от 9 марта Александр Александрович внес еще и реплику жены Любови Дмитриевны, дочери создателя «Таблицы Менделеева», брошенную вслед непрошеному гостю: «Народ талантливый, но жулик». Дворянская снисходительность четы Блоков ранила Есенина столь глубоко, что рана эта не стала *былой* и не *улеглась* до самого смертного часа...

Зато Сергей Городецкий встретил рязанца восторженно. В ту пору в его маленьком ателье регулярно собирались питерские интеллигенты, увлекавшиеся наивным народным искусством; стык их собственных литературных мечтаний с поэтическими голосами, рожденными русской деревней, представлялся этим эстетам праздником какого-то нового народничества, а так как самым народным «голосом» в их специфической среде считался стремительно входящий в моду Николай Клюев, новоприбывшего тут же зачислили в подголоски к хранителю и охранителю север-

ной старины. Весной 1915-го Клюева в столице не было, Есенин, по совету Городецкого, отправил ему в Вытегру саморекомендательное письмо: пишу, дескать, как и вы, только на рязанском языке. Клюев откликнулся, завязалась переписка, и с осени того же года народный златоуст (роль Клюева) и народный златоцвет (амплуа Есенина) на всех неонароднических вечерах и посиделках выступают неразлучной парой. В странных их отношениях было много тяжелого, однако, по-видимому, все-таки именно к Клюеву обращено предсмертное послание Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...». Да и начало дружбы-вражды запомнилось лучезарным: «Тогда в веселом шуме/Игривых дум и сил/Апостол нежный Клюев/Нас на руках носил»...

Не без помощи Клюева (у «нежного апостола» были связи в придворных кругах) Есенину удалось избежать отправки в действующую армию, его пристроили санитаром в Царскосельский лазарет, который патронировала сама императрица.

Словом, несмотря на войну, дела у народ-

ного златоцвета шли как нельзя лучше: его нарасхват печатали, без него не обходилось ни одно из поэтических мероприятий, вот только отдельной книги, для которой он уже год как придумал красивое имя «Радуница», пока не было. Все обещали, старались, а потом конфузливо разводили руками: дескать, разруха... Наконец, и опять-таки с подачи Клюева, отыскался меценат-издатель богатый купец Аверьянов, и 1 февраля 1916 года «Радуница» вышла в свет. Тираж (3 тыс. экз., по тем временам огромный) поначалу расходился плохо, меценат хмурился, но практическая сторона ничуть не беспокоила юного автора. Книга, дававшая бессрочный пропуск на русский поэтический Парнас, была у него в руках, и он бросился одаривать своей радостью-«Радуницей» всех, кого уважал за талант: Горького, Алексея Толстого, Репина, Леонида Андреева...

Между тем положение на русско-германском фронте становилось все напряженнее, лазаретную команду расформировали, Есенина (приказом от 23 февраля 1917 г.) направили в Могилев, в действующий пехотный

полк, через четыре дня грянул февральский переворот, в середине марта рядовой Есенин вернулся в Петроград, получил направление в Школу прапорщиков, но по назначению не прибыл. Герой «Анны Снегиной», во многом *альтер эго* автора, объясняет этот поступок фактически, может быть, и неверно, но по существу, видимо, достаточно точно: «Свобода взметнулась неистово./И в розово-смордном огне/Тогда над странюю калифствовал/Керенский на белом коне./»Война до конца», «до победы».../И ту же сермяжную рать/Прохвосты и дармоеды/Сгоняли на фронт умирать./Но все же не взял я шпагу.../Под грохот и рев мортир/Другую явил я отвагу —/Был первый в стране дезертир».

Не меньшую отвагу проявил Есенин в сражениях за поэтическое первенство, развернувшихся на столичном литфронте в связи с новой, постреволюционной расстановкой политических и всяких прочих сил. Несмотря на ироническое отношение к главе Временного правительства (калиф на час) и презрение к окружавшим Керенского «прохвостам и дармоедам», Февральскую революцию Есенин

принял сочувственно, ибо верил, что, освободившись от самодержавной «крепи», Россия станет Великой Крестьянской республикой. А коли так, значит, и он, ее певец, пророк и глашатай, по праву претендует на роль первого поэта современности. Опьяненный «февральской метелью», Есенин, по свидетельству очевидцев, даже внешне переменялся, сбросил, словно лягушечью кожу, и тихость «ласкового послушника», и улыбочивость «вербного херувима»: «Надо было видеть его в те годы. Ему было тесно и не по себе, он исходил песенной силой, кружился в творческом неутомене. В нем развязались какие-то скрепы, спадали какие-то обручи. Из него ключом била мужицкая стихия, разбойная удаль. С обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко размахивая руками, в беспомысленном восторге декламировал он свою замечательную „Инонию“ (В. Полонский, „Памяти Есенина“).

Полагая, что наконец-то пришло его время, Есенин меняет и стиль личной жизни: женится в июле 1917 года (венчается в церкви) на Зинаиде Николаевне Райх, красивой и

энергичной девушке из трудовой провинциальной семьи. Да, он влюблен, но дело не столько в эмоциях, сколько в осознанной необходимости остепениться: негоже первому поэту обновленной России слыть бездомником и бродягой! Впервые в жизни снимает приличную квартиру, радуется рождению дочери (июнь 1918), дает ей как продолжательнице рода по женской линии имя матери: Татьяна. (Второй его ребенок от Зинаиды Райх родился уже после их разрыва, в марте 1920-го, однако и имя сыну выбрано не случайно, а по месту рождения отца: Константин – Константиново.)

«Замечательная» «Инония» – центральная часть грандиозного замысла. За неполные два года Есенин, почти забросив лирику, написал цикл маленьких поэм: «Певущий зов», «Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часослов», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор». Поэмный цикл 1917–1919 годов (практически целая книга из отдельных поэм) – создание небывалое, дерзко-новаторское. Это как бы и Новый Завет новой мужицкой веры,

и языческие игрища в честь телицы-Руси, «отелившейся» «в наш русский кров» новым солнцем, и своеобразная «философическая» эпопея, где с поразительной изобретательностью разыграны и одеты в плоть образов фольклорные представления о «назначении человека». Главная мысль цикла сформулирована уже в «Певущем зове»:

*Не губить пришли мы в мире, а
любить и верить!*

Лев Троцкий в знаменитом сборнике «Памяти Есенина» (1926) утверждал: Есенин погиб потому, что был «несроден революции». Маленькие поэмы 1917–1919 гг. опровергают это утверждение. Ни одно из созданных в те годы поэтических произведений, включая «Двенадцать» Блока, не может соперничать с ними, во всяком случае, по части органического сродства с мужицкой стихией, разбуженной эпохой революций. Недаром сам Есенин считал год 1919-й, год их завершения, лучшей порой своей жизни.

И вдруг, словно по причине гигантского тектонического толчка, удивительное постро-

ение рухнуло, и Есенин уже не пророчествует, как в «Инонии» («Так говорит по Библии/Пророк Есенин Сергей»), а ерничает и хулиганит на обломках им же возведенного храма – памятника буйственной Руси:

*О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Посмотрите, у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.*

*Вот он! Вылез, глядит луной,
Не увидит ли помясистой кости.
Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.*

Итак: первые годы революции – лучшая пора жизни, и сама революция – «чудесная гостья», а в конце 1920-го Есенин, подводя итоги тяжелейшего кризиса, пишет своему идейному наставнику, критику эсеровской ориентации Р. В. Иванову-Разумнику: «...Я потерял... все то, что радовало меня раньше от моего здоровья».

Что же случилось с ним в эти месяцы?

Во-первых, вместе с правительственным учреждением, где секретарствовала Зинаида

Николаевна, Есенин переехал в Москву и с удивлением обнаружил, что здесь его никто практически не знает; Москве нужно было доказывать, что он «знаменитый русский поэт», а не подголосок Клюева. Сделать это в одиночку, без поддержки единомышленников Есенин, избалованный опекой питерских литераторов, разумеется, не мог, и тут судьба, как лукавая сводня, подстроила случайную встречу с Анатолием Мариенгофом. Мариенгоф, недавно прибывший из Пензы, поразил Есенина: этот долговязый франт помнил наизусть чуть ли не все его стихи! Больше того, сам изобретал образы, почти похожие на есенинские, правда, называл их иначе, на французский лад: имажи. Чтобы не пропасть в одиночке, решили объединиться с еще одним коллекционером поэтических метафор – Вадимом Шершеневичем.

Вадим Габриэлович Шершеневич, посредственный поэт, но опытный и ловкий литератор, немедленно перевел полумальчишескую игру в имажи на солидные рельсы. Учредившись и сочинив хлесткую «Декларацию», магистры Великого Ордена имажинистов не

мешкая занялись делом: организовали свое издательство, свою книжную лавку, собственный журнал («Гостиница для путешественников в прекрасном») и, что самое важное, литературное кафе – с завлекательным названием «Стойло Пегаса» и на бойком месте (Тверская, неподалеку от нынешней Пушкинской площади).

В житейском плане на первых порах, казалось бы, противоестественный, удививший многих его сторонников альянс народного златоцвета с имажинистами вполне его устраивал. И это более чем понятно: шумно и беззастенчиво рекламируя себя, магистры «раскручивали» неизвестного в Москве Есенина. К тому же «Стойло Пегаса» приносило небольшой, но верный доход, а деньги Сергею Александровичу были нужны позарез. Кроме того, подписывая «Декларацию», он верил, что не теряет, а находит себя, и именно в творческом плане, ведь, по его теории, первым русским имажинистом был не кто иной, как автор «Слова о полку Игореве». Даже выйдя из Ордена, точнее, объявив – через заявление в газете «Правда» – группу распущенной

(в августе 1924 года), Есенин продолжал считать себя имажинистом: «Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах». Но это в теории, а на практике лидерствовал Шершеневич, что не могло не задевать самолюбие истинного, природного имажиниста. И дело было не только, как выражался Есенин, «в ущемлении первенством». Имажинизм по Шершеневичу не устраивал его по самой строчечной сути, он считал его механическим, мертворожденным, не имеющим ничего общего с органической фигуральностью русского языка и русской поэзии. Не пошел впрок Есенину и сложившийся в имажинистской среде грубо-богемный стиль бытового поведения. В «Стойле Пегаса» не только всю ночь напролет до зари читали стихи, здесь «хорошо» и «со вкусом» пили-гуляли и водку подносили Есенину безотказно. Как гонорар за выступления, которые делали главные сборы... Впрочем, много и со вкусом пили – правда, не водку – и в окружении Айседоры Дункан, с которой Есенина познакомили осенью

1921 года, вскоре после ее экстравагантного приезда в ярко-красную Россию.

Знаменитая балерина и «изумительный рязанский поэт» (М. Горький) влюбились друг в друга с первого взгляда. Есенина в «Изадоре» восхитила и пленила «имажность» – артистичность «самой высокой и лучшей марки». Да и чувством «гениальной босоножки» к «ласковому урусу» верховодили не только поздняя страсть и настырная ревность избалованной женщины, стремительно теряющей свою легендарную грацию и красоту... Были и нежность, которую «ни с чем не спутаешь», и щедрость, и суеверное изумление, и суеверная вечная тревога: белокурой своей кудрявостью и еще чем-то, неуловимым и несказанным, Есенин напоминал – и как бы заменял! – безутешной матери трагически погибшего сына... Не зная, чем развлечь возлюбленного, чем излечить от «злой грусти», а грусть день ото дня становилась все злей и безнадежней, Дункан решила подарить ему целый мир. Перед отъездом, дабы не шокировать людское предубеждение, они даже расписались в советском загсе.

Вне России Есенин прожил больше года – с мая 1922 по август 1923-го. Четырнадцать заграничных месяцев оказалось более чем достаточно, чтобы понять: и заморская жар-птица (как называл Айседору Дункан Б. Пастернак), и хваленое ее зарубежье ни капельки ему не нужны, хотя как законный супруг балерины с мировой славой он мог без всякого труда осесть в эмиграции, среди бывших своих соотечественников... Короче, вопреки надеждам «Изадоры» развлекательное – галопом по Европам с заездом в Северную Америку – турне душевного здоровья Сергею Александровичу не прибавило. Вообще-то настоящего крепкого, железного душевного здоровья у Есенина не было даже смолоду. В юности отец даже собирался везти сына к психиатру, но его успокоили: пройдет, мол, с годами. Увы, не прошло: в житейскую «стынь» врожденная, видимо, неуравновешенность начинала прогрессировать... Однако не только этими достаточно распространенными особенностями психики Есенина объясняется его душевный кризис 20-го года...

Той весной Сергей Есенин на пару с Анато-

лием Мариенгофом после невероятно голодной и холодной зимы решили проветриться-прокатиться по издательской якобы надобности в Харьков, благо у земляка «милого Толи», вышедшего в крупные чиновники, имелся собственный спецвагон. Ехали, правда, хоть и со всеми удобствами, но малой скоростью, и Есенин впервые в жизни увидел не на расстоянии, а вблизи, почти лицом к лицу мужицкий бунт:

*И в ответ партийной команде
За налоги на крестьянский труд
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора
острожная
И крестьянство так любят Мах-
но?*

И это не единственный сюрприз, преподнесенный певцу и глашатаю мужицкой правды страшной новью 1920 года... Пророческий образ, обращенный к повелителям новой жизни

*Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего,*

– возник в поэме «Кобыльи корабли» еще до поездки в Харьков. В Харькове отрубленные руки Есенин увидел воочию. Отловленных в степях Украины мятежников привозили в пыточные камеры здешней «лубянки», стоявшей на краю глубокого оврага, изуверченные пытками трупы сбрасывали в этот страшный овраг прямо из окон. Все выше сказанное изображено в поэме Велемира Хлебникова «Председатель чеки» (написана после возвращения имажинистов в Москву, но о событиях, предшествующих их приезду). Напоминаю: Есенин прибыл в Харьков весной, когда зловеший овраг стал оттаивать... А в августе того же года Сергей Александрович отослал молоденькой дочери приютившего имажинистов харьковчанина такое письмо:

«Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти

мосты из-под ног грядущих поколений... всегда ведь бывает жаль, если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают...»

Вернувшись из Харькова, Сергей Александрович, не мешкая, не дожидаясь июньской теплыни, кинулся в родную деревню. Картина, которую он там застал, была удручающей. Торговля прекратилась. Нет ни спичек, ни керосина, ни ниток-иглолок. Вместо хлеба – мякина, щавель, крапива и лебеда... А в придачу эпидемии: у людей – сыпной тиф. У скотины – сибирская язва. Предчувствие не обмануло Есенина:

Будут глад и мор...

Мариенгоф, провожая друга, предрек, что на этот раз Сергей на родине ничего не напишет. И ошибся. Во-первых, Есенин создал второй вариант «Кобыльих кораблей», где судьбоносный Октябрь, с которым было связано столько надежд, назван «злым». Во-вторых, написал стихотворение «Я последний поэт деревни». словно сам себе заказал панихиду и по вымирающей деревянной Руси, и по вели-

кой земледельческой культуре, и по себе, еще живому, но уже понимающему, что его время – миновало:

*Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить...*

В том же переломном 1920-м Есенин напишет трагический «Сорокоуст», где продолжит тему гибели крестьянского мира:

*Только мне как псаломщику петь
Над родимой страной аллилуйя...*

В те же месяцы тяжелых раздумий о судьбе своего «отчаря»-мужика возникает и замысел поэмы о Пугачеве, о роковой обреченности русского бунта (окончена осенью следующего, 1921-го).

Невероятно трагичны и частные письма поэта тех смутных переломных лет. Особенно «заграничные». Вопреки надеждам Айседоры, заграничное турне (хотя она не жалела денег, продала даже мебель из своего парижского ателье, чтобы ее юный супруг мог жить в самых шикарных отелях и кутить в самых фешенебельных ресторанах) не вылечило Есенина от злой тоски.

Москва, декабрь 1921-го, Н. А. Клюеву:
«Душа моя устала и смущена от самого себя и происходящего. Нет тех знаков, которыми бы можно было передать все, чем мыслю и отчего болею...»

Москва, март 1922-го, Иванову-Разумнику:
«В Москве себя я чувствую отвратительно. Безлюдье полное...»

Дюссельдорф, июль 1922-го, А. М. Сахарову:
«Взвейтесь, кони! Неси, мой ямщик... Матушка, пожалей своего бедного сына...» И приписка: *«...лучше б... повеситься...»*

Париж, весна 1923-го, А. Б. Мариенгофу:
«Господи! даже повеситься можно от такого одиночества. Ах, какое поганое время...»

В Россию Есенин вернулся в августе 1923 года, и на него тут же обрушилась масса бытовых, и не только бытовых, проблем. За че-

тырнадцать месяцев официального брака с «заморской жар-птицей» он смертельно устал: и от жадной ее последней любви, и от властной ревности, а пуще всего от унижительного для крестьянского сына и внука житья «на женин счет». Надо бежать! А бежать некуда... В комнате, которую Есенин когда-то купил на паях с Мариенгофом, появились еще три жильца: жена Мариенгофа, теща и новорожденный сын. Приобрести же другое жилье или хотя бы снять что-нибудь приличное, а не угол за занавеской, не на что. В прежние годы при жилищных затруднениях Сергей Александрович обычно удирал в Константиново, в год возвращения и этого, запасного выхода уже не было: в августе 1922-го почти полностью выгорело отчее село, сгорел и родительский дом.

Отчаявшись обрести крышу над головой, Есенин обратился в правительство, написал прошение – на имя Троцкого: согласен-де на любую жилплощадь. Есенину не отказали – ему просто ничего не ответили. Выручила Галина Бениславская (у нее, штатного сотрудника массовой газеты «Беднота», была комна-

та в ведомственной коммуналке). Эта незаурядная девушка оказалась в ближайшем окружении Есенина еще до его романа с Дункан и безоглядно в него влюбилась. И хоть Сергей Александрович ничего ей, как говорится, не обещал, потому что, ценя как друга и «большую заботницу», не любил «как женщину», Галина Артуровна взяла на себя и секретарские обязанности, и домашние хлопоты, и заботы, причем не только о нем самом, но и о его сестрах, сначала старшей Екатерине, а потом и младшей – Александре. Некоторые биографы называют союз Есенина и Бениславской гражданским браком. На самом деле отношения были и тоньше, и мучительнее, причем для обеих сторон. Бремя, которое стогряча взвалила на свои худенькие плечи «сестра и друг», становилось порой непосильным – ведь Галина любила Есенина совсем не по-сестрински. Чтобы обуздать и горе, и гордость, она завела себе серьезного поклонника, отношения с которым были отнюдь не платоническими. Узнав об этом, Есенин растерялся. Человек в высшей степени естественный, он мог понять, а следовательно, и

извинить «физическую измену» по страсти. Неверность по расчету была вне его разумения. Нет-нет, он не взревновал, он обиделся – навзрыд, до безрассудства. Забрал сестер, носильные вещи, рукописи и назло женился на внучке Толстого Софье Андреевне. Вообще-то жениться всерьез он, судя по всему, все-таки не собирался да и не мог это сделать чисто формально, так как по документам продолжал числиться законным супругом Айседоры Дункан. Но мать Сони, невестка Льва Толстого, не сочла регистрацию в советском загсе серьезным препятствием... В результате Сергей Александрович неожиданно для себя оказался двоеженцем... Бениславская через год после гибели Сергея Александровича покончила с собой на его могиле. В состоянии тяжелой депрессии. Не выдержав последнего унижения: законная вдова сделала все, чтобы отнять у незаконной спутницы единственное, что могло бы заставить ее жить на земле, на которой больше не было ее Сергея, – право на заботу о сохранности рукописей, хотя что-то, а роль литературного секретаря Галина Артуровна исполняла безусловно с того самого

дня, как (в сентябре 1923 года) Есенин перебрался вместе с нехитрым скарбом в коммунальное ее жилище, и была в курсе всех его литературных дел. Однако Софья Андреевна отстранила «соперницу» даже от консультации при доработке четырехтомного Собрания сочинений, затеянного еще при жизни поэта, а вышедшего после его смерти...

В сентябре 1924-го Есенин надолго уехал в Грузию. В ту осень резко обострилась борьба, фактически война на истребление, которую вот уже несколько лет с переменным успехом вели идеологи новой власти с не поддающейся перековке русской литературой. Пролеткульты, правда, все-таки распустили, но пролеткультовский дух оказался неистребимым: его унаследовали и МАПП, и РАПП, окопавшиеся в двух суперпролетарских журналах – «Октябре» и «На посту». Василий Наседкин, поэт и жених сестры Есенина Екатерины, вспоминает, что Сергей Александрович, обычно старавшийся в ту пору не афишировать своих литературных взглядов, попав как-то на поэтический вечер, где выступали главным образом «маповцы» (члены Московской

ассоциации пролетарских писателей), его и пригласила туда знакомая хорошенькая «мапповка», не дослушав выступления известного в этих кругах поэта, ушел – «нервно, решительно, молча, даже не попрощавшись со своей спутницей». О том, что эта реакция не случайность, свидетельствует первое же его письмо к сестре, написанное сразу по приезде в Тифлис, 17 сентября 1924 года:

«Узнай, как вышло дело с Воронским. Мне страшно будет неприятно, если напостовцы его съедят. Это значит тогда бей в барабан и открывай лавочку. По линии (имеется в виду пролетарская линия. – А. М.) писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска, что волки сдохнут».

Все теснее и теснее становилось творческой живой личности в том барачном доме, который не тот социализм засучив рукава спешно строил на месте золотой заповедной бревенчатой избы... Вот тут-то злая грусть и обернулась смертной тоской, которая в конце концов и затянула на певческом горле роковую удавку... Его первый петербургский опекун и гид Сергей Городецкий, видимо, лучше

других понял причину и природу этой опасной для жизни болезни: по его словам, Есенин был смертельно ранен советской деревней. И дело, конечно, не только в обиде за задушенного налогами и продразверсткой мужика. Это горе все не горе... Истинное горе нагрянуло оттуда, откуда беды никто вроде бы и не ждал.

Зачастив после возвращения из-за границы в родное село Константиново (родители начали строить новый дом, и он, как старший сын, считал себя обязанным помочь своим старикам), Есенин с тревогой убеждался: власть на земле забирают в ухватистые, но бестолковые руки бездельники и негодяи. Один такой новый советский выведен в поэме «Анна Снегина» (1925) под именем Лабутя и наделен убийственной характеристикой: «мужик что твой пятый туз» (пятый туз – шулерская карта в колоде).

Однако мы несколько опередили события: до тысяча девятьсот двадцать пятого года, последнего земного года Сергея Есенина, еще далеко, и от рокового шага – самоубийства в ленинградской гостинице «Англетер» его отде-

ляет последняя отчаянная попытка сломать себя, решиться на еще одно «перестроение», чтобы избавиться от унижительного амплуа – попутчик, чтобы стать настоящим, а «не сводным сыном в Великих Штатах СССР». Есенин называет эту последнюю попытку военным словом «прорыв» («Путь мой сейчас, конечно, очень извилист, но это прорыв...»). И он действительно почти прорывается, создав в 1924 году несколько вполне лояльных по отношению к власти негодяев вещей: «Песнь о Великом походе», «Балладу о двадцати шести», «Поэму о 36».

Нет-нет, он вовсе не подлаживается под общий тон. Ему действительно померещилось, будто сможет отдать строителям нового мира не только лиру, но и душу. Пример главного соперника – Маяковского, наступившего из высших государственных соображений на горло собственной песне, все-таки, видимо, впечатлял. Но чтобы прорваться всерьез, надо было создать произведение не просто лояльное, но и художественно значительное, и Есенин, удрав на Кавказ, принимается за «Анну Снегину»...

Вместо истинно революционной поэмы о славной советской нови получилась хроника гибели веками стоявшего крестьянского мира. Сам Есенин этого пока почему-то не понимает, даже не перебелив текст, спешит в Москву в полной уверенности, что теперь-то с него снимут унижительную метку: попутчик...

Первое публичное чтение «Анны Снежной» состоялось весной 1925 года в Москве в Доме Герцена и кончилось провалом. Совэксперты, заседавшие в президиуме, о прочитанном отозвались с холодком. Еще равнодушнее отреагировала пресса: за полгода – всего несколько беглых и невыразительных фраз в провинциальных изданиях... Неужели досадная случайность? Вряд ли. Контрреволюция – не как убеждение, а как состояние – сидела в Есенине глубже, чем его внешняя эмоциональная революционность. Они даже как-то сосуществовали. И. Оксенов, к примеру, вспомнил, что в апреле 1924 года, то есть именно тогда, когда Есенин отдавал в печать просоветские поэмы и революционную балладу, на, казалось бы, бытовой вопрос, часто ли ез-

дит на родину и видится ли с родителями, ответил: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под дерево, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией...»

Чувство трагедии, которая произошла с Россией, – нерв «Анны Снегиной», и критика это сразу своим безошибочно классовым чутьем угадала. А вот Есенин понял смысл того, что он написал в «прекраснейшей поэме», лишь несколько месяцев спустя...

Итак, на дворе год 1925-й. Безумного Капитана Земли нет в живых, но сконструированный им Корабль пролетарского социализма под управлением Великого Кормчего все упорнее и упорнее гребется в грядущее, по ватерлинию в человеческой крови...

«Не тот социализм», утесняя таинственный и древний мир крестьянской жизни, вытеснял глашатая несостоявшейся Великой земледельческой республики в «узкий промежуток» частной жизни:

*Я теперь скунее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась
мне?
Словно я весенней гулкой ранью*

Проскакал на розовом коне...

Того, что и эта часть его судьбы, преобразованная в пленительные стихи, станет национальной святыней, Есенин, конечно, и предположить не мог... И проводив отчалившую в небытие Голубую Русь, эмигрировал из несбывшейся Инонии, страны, текущей молоком и медом, в Русь Бесприютную:

*Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоника желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.*

*И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об
ином...*

А вскоре и вообще ушел «в ту страну, где тишь и благодать». Отлетел, как пушкинский Моцарт, «с земли на незримую сушу», так и не отдав заветной лиры ни современникам, орущим агитки бедного Демьяна, ни ближайшим потомкам, читавшим тайком его кабац-

кие запретные стихи. Ибо лира уже была завещана грядущим поколениям, тем, кому придется восстанавливать – взорванное, обогланное, но, кажется, еще живое...

Алла Марченко

Лирика

Был у нас в селе праведный человек,
отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна,
твой сын отмечен Богом».
Татьяна Федоровна Есенина

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечи.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

* * *

*Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.*

1910

Калики

*Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церкви пред затворами древни-
ми
Поклонялись Пречистому Спасу.*

*Пробирались странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Иисусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.*

*Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».*

Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».

1910

* * *

Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.

А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.

Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным

И злится все сильнее.

*И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.*

1910

** * **

*Выткнулся на озере алый свет за-
ри.
На бору со звонами плачут глуха-
ри.
Плачет где-то иволга, схоронясь в
дупло.
Только мне не плачется – на душе
светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо
дорог,
Сядем в копны свежие под сосед-
ний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как
цвет,
Хмельному от радости пересуду
нет.
Ты сама под ласками сбросишь*

шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глу-
хари.
Есть тоска веселая в аlostях за-
ри.

1910

* * *

Сылет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.

Радугой тайные вести
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.

Подражание песне

Ты пошла коня из горстей в пово-
ду,
Отражаясь, березы ломались в
пруду.
Я смотрел из окошка на синий
платок,
Кудри черные змейно трепал ве-
терок.
Мне хотелось в мерцании пени-
стых струй
С алых губ твоих с болью сорвать
поцелуй.
Но с лукавой улыбкой, брызнув на
меня,
Унеслася ты вскачь, удилами зве-
ня.
В пряже солнечных дней время
выткало нить...
Мимо окон тебя понесли хоро-
нить.
И под плач панихид, под кадь-
ный канон
Все мне чудился тихий раскован-
ный звон.

1910

* * *

Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.

Еду на баркасе.
Тычусь в берега.
Церквами у прясел
Рыжие стога.

Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.

Роща синим мраком
Кроет голытьбу...
Помолюсь украдкой
За твою судьбу.

1910

* * *

Хороша была Танюша, краше не
было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан

на подоле.

У оврага за плетнями ходит Таня
вечеру.

Месяц в облачном тумане водит
с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучеря-
вой головой:

«Ты прощай ли, моя радость, я
женюсь на другой».

Побледнела, словно саван, схоло-
дела, как роса.

Душегубкою-змеею развилась ее
коса.

«Ой ты, парень синеглазый, не в
обиду я скажу,

Я пришла тебе сказать: за дру-
гого выхожу».

Не заутренние звоны, а венчаль-
ный переклик,

Скачет свадьба на телегах, верхо-
вые прячут лик.

Не кукушки загрустили – плачет
Танина родня,

На виске у Тани рана от лихого
кистенья.

Алым венчиком кровинки запек-
лися на челе,

Хороша была Танюша, краше не

было в селе.

1911

* * *

Заиграй, сыграй, тальяночка, ма-
линовы меха.

Выходи встречать к околице, кра-
сотка, жениха.

Васильками сердце светится, го-
рит в нем бирюза.

Я играю на тальяночке про синие
глаза.

То не зори в струях озера свой вы-
ткали узор,

Твой платок, шитьем украшен-
ный, мелькнул за косогор.

Заиграй, сыграй, тальяночка, ма-
линовы меха.

Пусть послушает красавица при-
баски жениха.

1912

* * *

Матушка в купальницу по лесу хо-
дила,

Босая с подтыками по росе броди-
ла.

Травы ворожбинные ноги ей коло-
ли,
Плакала родимая в купырях от
боли.
Не дознамо печени судорга схва-
тила,
Охнула кормилица, тут и породила.
Родился я с песнями в травном
одеяле.
Зори меня вешние в радугу свива-
ли.
Вырос я до зрелости, внук купаль-
ской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне
пророчит.
Только не по совести счастье на-
готове,
Выбираю удалью и глаза и брови.
Как снежинка белая, в просини я
таю
Да к судьбе-разлучнице след свой
заметаю.

1912

Береза

*Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.*

*На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.*

*И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.*

*А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.*

<<1913>>

* * *

*На небесном синем блюде
Желтых туч медовый дым.
Грезит ночь. Уснули люди,*

Только я тоской томим.

*Облаками перекрещен,
Сладкий дым вдыхает бор.
За кольцо небесных трещин
Тянет пальцы косогор.*

*На болоте кричит цапля;
Четко хлюпает вода,
И из туч глядит, как капля,
Одинокая звезда.*

*Я хотел бы в мутном дыме
Той звезды поджечь леса
И погинуть вместе с ними,
Как зарница в небеса.*

1913 или 1914

Пороша

*Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.*

*Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.*

*Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.*

*Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.*

<<1914>>

С добрым утром!

*Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,
Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.*

*Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.*

*У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!»*

<<1914>>

* * *

*Зашумели над затоном тростни-
ки.*

Плачет девушка-царевна у реки.

*Погадала красна девица в семик.
Расплела волна венок из повилик.*

Ах, не выйти в жены девушке вес-

ной,
Запугал ее приметами лесной.

На березке пообъедена кора —
Выживают мыши девушку с дво-
ра.

Бьются кони, грозно машут голо-
вой, —
Ой, не любит черны косы домо-
вой.

Запах ладана от рощи ели льют,
Звонки ветры панихидную поют.

Ходит девушка по бережку груст-
на,
Ткет ей саван нежнопенная вол-
на.

1914

В хате

*Пахнет рыхлыми драченами,
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.*

*Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.*

*Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.*

*Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.*

*А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.*

1914

* * *

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.

По меже на переметке
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы, кроткие монашки.

Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.

Все встречаю, всю приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

1914

* * *

Пойду в скуфье смиренным ино-
ком
Иль белобрысым босяком
Туда, где льется по равнинам

Березовое молоко.

*Хочу концы земли измерить,
Доверюсь призрачной звезде,
И в счастье ближнего поверить
В звенящей рожью борозде.*

*Рассвет рукой прохлады росной
Сшибает яблоки зари.
Сгребая сено на покосах,
Поют мне песни косари.*

*Глядя за кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою укра-
сил
Бродяжной палкой и сумой.*

*Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.*

<<1914–1922>>

** * **

*Я – пастух, мои палаты —
Межи зыбистых полей.
По горам зеленым – скаты*

С гарком гулких дупелей.

*Вяжут кружево над лесом
В желтой пене облака.
В тихой дреме под навесом
Слышу шепот сосняка.*

*Святят зелено в сутёмы
Под росую тополя.
Я – пастух; мои хоромы —
В мягкой зелени поля.*

*Говорят со мной коровы
На кивливом языке.
Духовитые дубровы
Кличут ветками к реке.*

*Позабыв людское горе,
Сплю на вырублях сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.*

1914

** * **

*Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не лю-
бить.*

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благо-
дать.

Серым веретьем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпъ камыши.

Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах за-
ри,
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали на кукане реки
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты – русская
боль.

1914

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звенно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех.
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

* * *

Сторона ль моя, сторонка,
Горевая полоса.
Только лес, да посолонка,
Да заречная коса...

Чахнет старая церквушка,

*В облака закинув крест.
И забольная кукушка
Не летит с печальных мест.*

*По тебе ль, моей сторонке,
В половодье каждый год
С подожочка и котомки
Богомольный льется пот.*

*Лица пыльны, загорелы,
Веки выглодала даль,
И впилась в худое тело
Спаса кроткого печаль.*

1914

** * **

*Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь.*

*Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.*

*Под соломой-ризою
Выструги стропил,*

Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз —
Суховатой липой

Пахнет от колес.

*Слушают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной.*

1914

Осень

Р. В. Иванову

*Тихо в чаще можжевеля по обрыву.
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.*

*Над речным покровом берегов
Слышен синий лязг ее подков.*

*Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным*

*И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.*

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь и не всходят овсы.
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, Господи, люди твоя».

Открывались небесные двери,
Дьякон бавкнул из кряжистых
сил:
«Еще молимся, братья, о вере,
Чтобы Бог нам поля оросил».

Заливались веселые птахи,
Крапал брызгами поп из горстей,
Стрекотуньи-сороки, как свахи,
Накликали дождливых гостей.

Зыбко пенились зори за рощей,
Как холстины ползли облака,
И туманно по быльнице тощей
Меж кустов ворковала река.

Скинув шапки, молясь и вздыхая,
Говорили промеж мужики:
«Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки».

На коне – черной тучице в санках
—

Билось пламя-шлея... синь и
дрожь.

И кричали парнишки в еланках:
«Дождик, дождик, полей нашу
рожь!»

1914

* * *

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.

Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Зори пенились и таяли.
Все кричали, пяча грудь:
«До рекрутства горе маяли,

А теперь пора гульнуть».

*Размахнув кудрями русыми,
В пляс пускались весело.
Девки брякали им бусами,
Зазывали за село.*

*Выходили парни бравые
За гуменные плетни.
А девчоночки лукавые
Убегали, – догони!*

*Над зелеными пригорками
Развевались платки.
По полям бредя с кошелками,
Улыбались старики.*

*По кустам, в траве над лыками,
Под пугливый возглас сов,
Им смеялась роща зыками
С переливом голосов.*

*По селу тропинкой кривенькой,
Ободравшись о пеньки,
Рекрута играли в ливенку
Про остальные деньки.*

1914

*Не ветры осыпают пущи,
Не листопад златит холмы.
С голубизны незримой кущи
Струятся звездные псалмы.*

*Я вижу – в просиничном платке,
На легкокрылых облаках,
Идет возлюбленная Мати
С Пречистым Сыном на руках.*

*Она несет для мира снова
Распятъ воскресшего Христа:
«Ходи, мой сын, живи без крова,
Зорюй и полднью у куста».*

*И в каждом страннике убогом
Я визнавать пойду с тоской,
Не Помазуемый ли Богом
Стучит берестяной клюкой.*

*И может быть, пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях – крылья херувима,
А под пеньком – голодный Спас.*

1914

Шел Господь пытатъ людей в лю-
бови,
Выходил он нищим на кулижку.
Старый дед на пне сухом в дубро-
ве
Жамкал деснами зачерствелую
пышку.
Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою желез-
ной,
И подумал: «Вишь, какой убогой,
—
Знать, от голода качается, бо-
лезный».
Подошел Господь, скрывая скорбь
и муку:
Видно, мол, сердца их не разбу-
дишь...
И сказал старик, протягивая ру-
ку:
«На, пожуй... маленько крепче бу-
дешь».

1914

* * *

Троицыно утро, утренний канон,
В роце по березкам белый пере-
звон.

Тянется деревня с праздничного
сна,
В благовесте ветра хмельная вес-
на.

На резных окошках ленты и ку-
сты.
Я пойду к обедне плакать на цве-
ты.

Пойте в чаще, птахи, я вам под-
пою,
Похороним вместе молодость
мою.

Троицыно утро, утренний канон.
В роще по березкам белый пере-
звон.

1914

* * *

Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опенок.
Пляшет ветер по равнинам,
Рыжий ласковый осленок.

Пахнет вербой и смолою,
Синь то дремлет, то вздыхает.

У лесного аналоя
Воробей псалтырь читает.

Прошлогодний лист в овраге
Средь кустов, как ворох меди.
Кто-то в солнечной сермяге
На осленке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,
Но лицо его туманно.
Никнут сосны, никнут ели
И кричат ему: «Осанна!»

1914

* * *

Чую радуницу Божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во царствие небес,
И горит в парче лиловой

Облаками крытый лес.

*Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.*

*Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов.
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.*

1914

** * **

*По дороге идут богомолки,
Под ногами полынь да комли.
Раздвигая щипульные колки,
На канавах звенят костыли.*

*Топчут лапти по полю кукольной,
Где-то ржанье и храп табуна,
И зовет их с большой колокольни
Гулкий звон, словно зык чугуна.*

*Отряхают старухи дулейки,
Вяжут девки косицы до пят.
Из подворья с высокой келейки
На платки их монахи глядят.*

На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне»,
А в саду разбрехались собаки,
Словно чуя воров на гумне.

Лижут сумерки золото солнца,
В дальних рощах аукает звон...
По тени от ветлы-веретенца
Богомолки идут на канон.

1914

* * *

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.
Солнца струганные дранки
Загораживают синь.

Балаганы, пни и колья,
Карусельный пересвист.
От вихлистого приволья
Гнутся травы, мнется лист.

Дробь копыт и хрип торговок,
Пьяный пах медовых сот.
Берегись, коли не ловок:
Вихорь пылью разметет.

За лещужною сурьюмою —

Бабий крик, как поутру.
Не твоя ли шаль с каймою
Зеленеет по ветру?

Ой, удал и многосказен
Лад веселый на пыжну.
Запевай, как Стенька Разин
Утопил свою княжну.

Ты ли, Русь, тропой-дорогой
Разметала ал наряд?
Не суди молитвой строгой
Напоенный сердцем взгляд.

1915

* * *

Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман.
Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян.

Лес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сос-
ной.
Сердце гложет плакучая дума...
Ой, не весел ты, край мой родной.

Пригорюнились девушки-ели,

И поет мой ямщик наумяк:
«Я умру на тюремной постели,
Похоронят меня кое-как».

1915

* * *

За темной прядью перелесиц,
В неколебимой синеве,
Ягненок кудрявый – месяц
Гуляет в голубой траве.

В затихшем озере с осокой
Бодаются его рога,
И кажется с тропы далекой —
Вода качает берега.

А степь под пологом зеленым
Кадит черемуховый дым
И за долинами по склонам
Свивает полымя над ним.

О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.

И ты, как я, в печальной требе,
Забыв, кто друг тебе и враг,

*О розовом тоскуешь небе
И голубиных облаках.*

*Но и тебе из синей шири
Пугливо кажется темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.*

<<1915>>

Корова

*Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.*

*Сердце не ласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.*

*Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.*

Скоро на гречневом сее,

*С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.*

*Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.*

1915

Впервые я увидел Есенина в Петербурге... Он показался мне мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором...

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце...

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

– Если вы не устали...

– Я не устаю от стихов... А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой

искренней любовью пишет о животных.

– Да, я очень люблю всякое зверье, – молвил Есенин задумчиво и тихо. И когда произнес последние строки:

*Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —*

на его глазах тоже сверкнули слезы. После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия...

Максим Горький

Песнь о собаке

*Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.*

*До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.*

*А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.*

*По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.*

*А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.*

*В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.*

*И глухо, как от подачи,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.*

1915

* * *

*В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.*

*Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.*

*Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.*

Все они убийцы или воры,

Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты.
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шею
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.

1915

* * *

Алый мрак в небесной черни
Начертил пожаром грань.

*Я пришел к твоей вечерне,
Полевая глухомань.*

*Нелегка моя кошница,
Но глаза синее дня.
Знаю, мать-земля черница,
Все мы тесная родня.*

*Разошлись мы в даль и шири
Под лазоревым крылом.
Но зовет нас из псалтыри
Заревой заре псалом.*

*И придем мы по равнинам
К правде сошъего креста
Светом книги Голубиной
Напоить свои уста.*

<<1915>>

* * *

*Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.*

*Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймленные синью рога.*

*Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.*

*Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет.*

*Не силен тот, кто радости про-
сит:*

*Только гордые в силе живут;
А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырью хомут.*

*Не с тоски я судьбы поджидаю;
Будет злобно крутить пороша,
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.*

*Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.*

<<1916>>

** * **

*Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.*

Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка,
И на известку колоколен
Невольню крестится рука.

О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

<<1916>>

* * *

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам.
Покину хижину мою,

Уйду бродягою и воров.

*Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.*

*Весной и солнцем на лугу
Обвита желтая дорога,
И та, чье имя берегу,
Меня прогонит от порога.*

*И вновь вернуся в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.*

*Седые вербы у плетня
Нежнее головы наклонят.
И необмытого меня
Под лай собачий похоронят.*

*А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам...
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.*

<<1916>>

День ушел, убавилась черта,
Я опять подвинулся к уходу.
Легким взмахом белого перста
Тайны лет я разрезаю воду.

В голубой струе моей судьбы
Накипи холодной бьется пена,
И кладет печать немого плена
Складку новую у сморщенной гу-
бы.

С каждым днем я становлюсь чу-
жжим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.

Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.

Может быть, склоняясь к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.

Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами,
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.

<<1916>>

* * *

Прячет месяц за овинами
Желтый лик от солнца яркого.
Высоко над луговинами
По востоку пышет зарево.

Пеной рос заря туманится,
Словно глубь очей невестиных.
Прибрела весна, как странница,
С посошком в лаптях берестяных.

На березки в роще теневой
Серьги звонкие повесила
И с рассветом в сад сиреневый
Мотыльком порхнула весело.

<<1916>>

— У нас гости в столовой, — сказал Толстой, заглянув в мою комнату. — Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занят-

ный.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Ключев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.

Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда – фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.

На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный пруттик из вазы.

– Что мышата на жердочке, – сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, как он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и все в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью скрывается что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поцеловала его в лоб, прямо в льяную бабочку, ставшую вдруг такою же милой мне, как и все в его облике.

Н. В. Крандиевская-Толстая

Голубень

*В прозрачном холоде заголубели
долы,
Отчетлив стук подкованных ко-
пыт,
Трава поблекшая в расстеленные
полы
Сбирает медь с обветренных ра-
кит.*

*С пустых лощин ползет дугою
тощей
Сырой туман, курчаво свившись в
мох,
И вечер, свесившись над речкою,
полощет
Водю белой пальцы синих ног.*

* * *

*Осенним холодом расцвечены на-
дежды,
Бредет мой конь, как тихая судь-
ба,
И ловит край махающей одежды
Его чуть мокрая буланая губа.*

*В дорогу дальнюю, ни к битве, ни
к покою,
Влекут меня незримые следы,
Погаснет день, мелькнув пятой
златою,
И в короб лет улягутся труды.*

** * **

*Сыпучей ржавчиной краснеют по
дороге
Холмы плешивые и слегшийся пе-
сок,
И пляшет сумрак в галочьей тре-
воге,
Согнув луну в пастушеский ро-
жок.*

*Молочный дым качает ветром
села,
Но ветра нет, есть только лег-
кий звон.
И дремлет Русь в тоске своей ве-
селой,
Вцепивши руки в желтый кру-
тосклон.*

** * **

Манит ночлег, недалеко до хаты,

Укропом вялым пахнет огород.
На грядки серые капуста волнова-
той
Рожок луны по капле масло льет.

Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость
хлеба
И с хрустом мысленно кусаю
огурцы,
За ровной гладью вздрогнувшее
небо
Выводит облако из стойла под
узды.

* * *

Ночлег, ночлег, мне издавна зна-
кома
Твоя попутная разымчивость в
крови,
Хозяйка спит, а свежая солома
Примята ляжками вдовеющей
любви.

Уже светает, краской тараканьей
Обведена божница по углу,
Но мелкий дождь своей молитвой
ранней

Еще стучит по мутному стеклу.

* * *

Опять передо мною голубое поле,
Качают лужи солнца рдяный лик.
Иные в сердце радости и боли,
И новый говор липнет на язык.

Водою зыбкой стынет синь во взо-
рах,
Бредет мой конь, откинув удила,
И горстью смуглою листвы по-
следний ворох
Кидает ветер вслед из подола.

<<1916>>

* * *

Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.
Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Под окном от скользких вётел
Перепёльи звоны ветра.
Тихий сумрак, ангел теплый,
Напоен нездешним светом.

Сон избы легко и ровно

Хлебным духом сеет притчи.
На сухой соломе в дровнях
Слаще меда пот мужичий.

Чей-то мягкий лих за лесом,
Пахнет вишнями и мохом...
Друг, товарищ и ровесник,
Помолись коровьим вздохам.

Июнь 1916

* * *

Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.

Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.

Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!

В забвеньи канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.

*И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.*

*И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.*

Июнь 1916

Лисица

А. М. Ремизову

*На раздробленной ноге приковы-
ляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежева-
ла
На снегу дремучее лицо.*

*Ей все бластился в колючем дыме
выстрел,
Кольхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер
взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.*

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель по-
жаром,
На губах – как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ошур сочилась тихо кровь.

<<1916>>

* * *

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее польмя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными гла-
вами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными трава-
ми
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь —

Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

1916

* * *

Не бродить, не мять в кустах
багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук.
Но остался в складках смятой
шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий
вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий
стан
и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах
багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

<<1916>>

* * *

Опять раскинулся узорно
Над белым полем багрянец,
И заливаётся задорно
Нижегородский бубенец.

Под затуманенною дымкой
Ты кажешь девичью красу,
И треплет ветер под косынкой
Рыжеволосую косу.

Дуга, раскальваясь, пляшет,
То вынырять, то пропасть,
Не заморозит, не обмахнет
Твой разукрашенный рукав.

Уже давно мне стала сниться
Полей малиновая ширь,
Тебе – высокая светлица,
А мне – далекий монастырь.

Там синь и полымя воздушней
И легкодымней пелена.
Я буду ласковый послушник,
А ты – разгульная жена.

И знаю я, мы оба станем
Грустить в упругой тишине:
Я по тебе – в глухом тумане,

А ты заплачешь обо мне.

Но и познав, я не приемлю
Ни тихих ласк, ни глубины.
Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены.

1916

* * *

О красном вечере задумалась до-
рога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному дво-
ру;
Сквозь синь стекла желтоволо-
сый отрок
Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в
ночи.

Кому-то пятками уже не мять
по рощам
Щербленый лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном то-
щим,
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и
дрема,
Дорога белая узорит скользкий
ров...
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.

<<1916>>

* * *

О товарищах веселых,
О полях посеребренных
Загрустила, словно голубь,
Радость лет уединенных.

Ловит память тонким клювом
Первый снег и первопуток.
В санках озера над лугом
Запоздалый окрик уток.

Под окном от скользких елей
Тень протягивает руки,

Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.

Легким дымом к дальним по-
жням
Шлет поклон день ласк и вишен.
Запах трав от бабьей кожи
На губах моих я слышу.

Мир вам, рощи, луг и липы,
Литии медовый ладан!
Все приявшему с улыбкой
Ничего от вас не надо.

1916

* * *

Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.

У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.

Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,

*Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.*

*И долго, долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.*

1916

* * *

*Прощай, родная пуща,
Прости, золотой родник.
Плывут и рвутся тучи
О солнечный сошник.*

*Сияй ты, день погожий,
А я хочу грустить.
За голенищем ножик
Мне больше не носить.*

*Под брюхом жеребенка
В глухую ночь не спать
И радостию звонкой
Лесов не оглашать.*

*И не избежать бури,
Не миновать утрат,
Чтоб прозвенеть в лазури*

Кольцом незримых врат.

1916

* * *

Покраснела рябина,
Посинела вода.
Месяц, всадник унылый,
Уронил поводя.

Снова выплыл из роши
Синим лебедем мрак.
Чудотворные мощи
Он принес на крылах.

Край ты, край мой родимый,
Вечный пахарь и вой,
Словно Вольга под ивой,
Ты поник головой.

Встань, пришло исцеленье,
Навестил тебя Спас.
Лебединое пенье
Нежит радугу глаз.

Дня закатного жертва
Искупила весь грех.
Новой свежестью ветра
Пахнет зреющий снег.

Но незримые дожди
Все теплей и теплей...
Помяну тебя в дождик
Я, Есенин Сергей.

1916

* * *

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,

*В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.*

1916

* * *

*О край дождей и непогоды,
Кочующая тишина,
Ковригой хлебную под сводом
Надломлена твоя луна!*

*За перепаханною нивой
Малиновая лебеда.
На ветке облака, как слива,
Златится спелая звезда.*

*Опять дорогой верстовою,
Наперекор твоей беде,
Бреду и чую яровое
По голубеющей воде.*

*Клубит и пляшет дым болот-
ный...
Но и в кошме певучей тьмы
Неизреченностью животной
Напоены твои холмы.*

<<1916–1917>>

Синее небо, цветная дуга,
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол.

Снова я вижу знакомый обрыв
С красною глиной и сучьями ив,
Грезит над озером рыжий овес,
Пахнет ромашкой и медом от ос.

Край мой! Любимая Русь и Морд-
ва!
Притчею мглы ты, как прежде,
жива.
Нежно под трепетом ангельских
крыл
Звонят кресты безымянных мо-
гил.

Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сы-
рым.
Много мечтает их, сильных и
злых,
Выкусить ягоды персей твоих.

Только я верю: не выжить тому,

Кто разлюбил твой острог и
тюрьму...
Вечная правда и гомон лесов
Радуют душу под звон кандалов.

<<1916>>

* * *

То не тучи бродят за овином
И не холод.
Замесила Божья Матерь сыну
Колоб.

Всякой снадобью она пошла жито
В масле.
Испекла и положила тихо
В ясли.

Заигрался в радости младенец,
Пал в дрему,
Уронил он колоб золоченый
На солому.

Покатился колоб за ворота
Рожью.
Замутили слезы душу голубую
Божью.

Говорила Божья Матерь сыну

Советы:

«Ты не плачь, мой лебеденочек,
Не сетуй.

На земле все люди человеки,
Чада.
Хоть одну им малую забаву
Надо.

Жутко им меж темных
Перелесиц,
Назвала я этот колоб —
Месяц».

1916

* * *

Ночь и поле, и крик петухов...
С златной тучки глядит Саваоф.
Хлесткий ветер в равнинную синь
Катит яблоки с тощих осин.

Вот она, невеселая рябь
С журавлиной тоской сентября!
Смолкшим колоколом над прудом
Опрокинулся отчий дом.

Здесь все так же, как было тогда,

Те же реки и те же стада.
Только ивы над красным бугром
Обветшалым трясут подолом.

Кто-то сгиб, кто-то канул во
тьму,
Уж кому-то не петь на холму.
Мирно грезит родимый очаг
О погибших во мраке плечах.

Тихо, тихо в божничном углу,
Месяц месит кутью на полу...
Но тревожит лишь помино́м
тишь
Из запечья пугливая мышь.

<<1916–1922>>

* * *

Твой глас незримый, как дым в из-
бе.
Смирненным сердцем молюсь те-
бе.

Овсяным ликом питаю дух,
Помощник жизни и тихий друг.

Рудою солнца посеян свет,
Для вечной правды названья нет.

*Считает время песок мечты,
Но новых зерен прибавил ты.*

*В незримых пашнях растут слова,
Смешалась с думой ковыль-трава.*

*На крепких сгибах вздетых рук
Возводит церкви строитель звук.*

*Есть радость в душах – топтать
твой цвет,
На первом снеге свой видеть след.*

*Но краше кротость и стихший
пыл
Склонивших веки пред звоном
крыл.*

1916

Пропавший месяц

Облак, как мышь,
подбежал и взмахнул
В небо огромным хвостом.
Словно яйцо,
расколовшись, скользнул
Месяц за дальним холмом.

Солнышко утром в колодезь озер
Глянуло —
месяца нет...
Свесило ноги оно на бугор,
Кликнуло —
месяца нет.

Клич тот услышал с реки рыбо-
лов,
Вздумал старик подшутить.
Отраженье от солнышка
с утренних вод
Стал он руками ловить.

Выловил.
Крепко скрутил бечевой,
Уши коленом примял.
Вылез и тихо на луч золотой

Солнечных век
привязал.

Солнышко к Богу глаза подняло
И сказало:
«Тяжеск мой труд!»
И вдруг солнышку
что-то веки свело,
Оглянулося – месяц как тут.

Как белка на ветке, у солнца в
глазах
Запрыгала радость...
Но вдруг...
Луч оборвался, и по скользким
холмам
Отраженье скатилось в луг.

Солнышко испугалось...
А старый дед,
Смеясь, грохотал, как гром.
И голубем синим
вечерний свет
Махал ему в рот крылом.

<<1917?>>

* * *

Колокольчик среброзвонный,

*Ты поешь? Иль сердцу снится?
Свет от розовой иконы
На золотых моих ресницах.*

*Пусть не я тот нежный отрок
В голубином крыльев плеске,
Сон мой радостен и кроток
О нездешнем перелеске.*

*Мне не нужен вздох могилы,
Слову с тайной не обняться.
Научи, чтоб можно было
Никогда не просыпаться.*

<<1917>>

* * *

*Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?*

*За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.*

Время – мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время – мельница с крылом.

Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

1917

* * *

Песни, песни, о чем вы кричите?
Иль вам нечего больше дать?
Голубого покоя нити
Я учусь в мои кудри вплетать.

Я хочу быть тихим и строгим.
Я молчанью у звезд учусь.
Хорошо ивняком при дороге
Сторожить задремавшую Русь.

Хорошо в эту лунную осень
Бродить по траве одному
И собирать на дороге колосья
В обнищалую душу-суму.

Но равнинная синь не лечит.
Песни, песни, иль вас не стрях-
нуть?..

Золотистой метелкой вечер
Расчищает мой ровный путь.

И так радостен мне над пущей
Замирающий в ветре крик:
«Будь же холоден ты, живущий,
Как осеннее золото лип».

1917

* * *

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольню в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

<<1917>>

* * *

Отвори мне, страж заоблачный,
Голубые двери дня.
Белый ангел этой полночью
Моего увел коня.

Богу лишнего не надобно,
Конь мой – мощь моя и крепь.
Слышу я, как ржет он жалобно,
Закусив золотую цепь.

Вижу, как он бьется, мечется,
Теребя тугой аркан,
И летит с него, как с месяца,
Шерсть буланая в туман.

1917

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917

* * *

Я по первому снегу бреду.
В сердце ландыши вспыхнувших
сил.
Вечер синюю свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.

Я не знаю – то свет или мрак?
В чаще ветер поет иль петух?
Может, вместо зимы на полях,

Это лебеди сели на луг.

*Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз.
Так и хочется к телу прижаться
Обнаженные груди берез.*

*О лесная, дремучая муть!
О веселье оснеженных нив!
Так и хочется руки сомкнуть
Над древесными бедрами ив.*

1917

** * **

*О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.*

*Как птицы, свищут версты
Из-под копыт коня.
И брызжет солнце горстью
Свой дождик на меня.*

*О край разливов грозных
И тихих вешних сил,
Здесь по заре и звездам
Я школу проходил.*

И мыслил и читал я
По библии ветров,
И пас со мной Исая
Моих золотых коров.

1917

* * *

О Матерь Божья,
Спади звездой
На бездорожье,
В овраг глухой.

Пролей, как масло,
Власа луны
В мужичьи ясли
Моей страны.

Срок ночи долог.
В них спит твой сын.
Спусти, как полог,
Зарю на синь.

Окинь улыбкой
Мирскую весь
И солнце зыбкой
К кустам привесь.

И да взыграет

В ней, славя день,
Земного рая
Святой младень.

1917

* * *

Тучи с ожерёба
Ржут, как сто кобыл,
Плещет надо мною
Пламя красных крыл.

Небо словно вымя,
Звезды как сосцы.
Пухнет Божье имя
В животе овцы.

Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.

Новое восславят
Рождество поля,
И, как пес, пролает
За горой заря.

Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,

Отрекутся люди
Славить новый лик.

Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли...
И со щек заката
Спрыгнут скульпы-дни.

Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.

<<1917>>

* * *

Гляну в поле, гляну в небо,
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.

О, я верю – знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки

Проливает молоком.

15 августа 1917

** * **

*О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.*

*По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов.*

*В руках – краюха хлеба,
Уста – вишневый сок.
И вызвездило небо
Пастушеский рожок.*

*За ним, с снегов и ветра,
Из монастырских врат,
Идет одетый светом
Его середний брат.*

*От Вытегры до Шуи
Он избродил весь край
И выбрал кличку – Клюев,
Смиранный Миколай.*

Монашья мудр и ласков,
Он весь в резьбе молвы,
И тихо сходит пасха
С бескудрой головы.

А там, за взгорьем смолым,
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.

Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор.

Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь,
Из голенища нож.

За мной незримым роем
Идет кольцо других,
И далеко по селам
Звенит их бойкий стих.

Из трав мы вяжем книги,
Слова трясем с двух пол.
И сродник наш, Чапыгин,

Певуч, как снег и дол.

Сокройся, сгинь ты, племя
Смердящих снов и дум!
На каменное темя
Несем мы звездный шум.

Довольно гнить и ноять,
И славить взлетом гнусь —
Уж смыла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Уж повела крылами
Ее немая крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

1917

* * *

О муза, друг мой гибкий,
Ревнивица моя.
Опять под дождик сыпкий
Мы вышли на поля.

Опять весенним гулом
Приветствует нас дол,
Младенцем завернула
Заря луну в подол.

Теперь бы песню ветра
И нежное баю
За то, что ты окрепла,
За то, что праздник светлый
Влила ты в грудь мою.

Теперь бы брызнуть в небо
Вишневым соком стих
За отческую щедрость
Наставников твоих.

О мед воспоминаний!
О звон далеких лип!
Звездой нам пел в тумане
Разумниковский лик.

Тогда в веселом шуме
Игривых дум и сил
Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Теперь мы стали зрелей
И весом тяжелей...
Но не заглушит трелью
Тот праздник соловей.

И этот дождик шальный
Его не смоем в нас,

Чтоб звон твоей лампы
Под ветром не погас.

<<1917>>

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной ку-
щей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчит-
ся,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,

Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.
И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?
Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидать рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

* * *

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь.
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил – печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленыя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубоко,

Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».

15 августа 1918

* * *

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Здравствуй, золотое затишье
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.

Где-то за садом, несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

1918

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь.
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьяв целует дождь,
Оттого что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

Хорошо под осеннюю свежесть
Душу-яблоню ветром стряхать
И смотреть, как над речкою ре-
жет
Воду синюю солнца соха.

Хорошо выбивать из тела
Накаляющий песни гвоздь
И в одежде празднично белой
Ждать, когда постучится гость.

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства гре-
ются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впусу я в горницу,
Никому не открою дверь.

1918

* * *

Закружилась листва золотая.
В розоватой воде на пруду
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец.
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец,

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть.
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

1918

Хулиган

Дождик мокрыми метлами чи-
стит
Ивняковый помет по лугам.
Плюйся, ветер, охапками ли-
сьев,
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой вольты,
Животами, листвой хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, мое стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут
Следы человеческих ног.

Русь моя! Деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берез!
Словно хочет кого придушить

Руками крестов погост!

*Бродит черная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.*

*Кто видал, как в ночи кипит
Кипяченых черемух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенем стоять.*

*Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.*

*Но не бойся, безумный ветер,
Плюй спокойно листвой по лугам.
Не сотрет меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.*

1919

** * **

*Ветры, ветры, о снежные ветры,
Заметьте мою прошлую жизнь.
Я хочу быть отроком светлым
Иль цветком с луговой межи.*

*Я хочу под гудок пастуший
Умереть для себя и для всех.
Колокольчики звездные в уши
Насыпает вечерний снег.*

*Хороша бестуманная трель его,
Когда топит он боль в пурге.
Я хотел бы стоять, как дерево,
При дороге на одной ноге.*

*Я хотел бы под конские храпы
Обниматься с соседним кустом.
Подымайте ж вы, лунные лапы,
Мою грусть в небеса ведром.*

<<1919–1920>>

* * *

*Душа грустит о небесах,
Она не здешних нив жилища.
Люблю, когда на деревьях
Огонь зеленый шевелится.*

*То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звезды слов
На их листве первоначальной.*

Понятен мне земли глагол,

Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.

1919

* * *

Мариенгофу

Я последний поэт деревни,
Скромнен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость,
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

<<1920>>

* * *

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодет,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,

*В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветер,
По-осеннему шепчут листья.*

1920

Исповедь хулигана

*Не каждый умеет петь,
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.
Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа,
на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Мне нравится, когда каменья брани
Летят в меня, как град рыгающей
грозы,
Я только крепче жму тогда руками
Моих волос качнувшийся пузырь.
Так хорошо тогда мне вспоминать*

Заросший пруд и хриплый звон
ольхи,
Что где-то у меня живут отец и
мать,
Которым наплевать на все мои
стихи,
Которым дорог я, как поле и как
плоть,
Как дождик, что весной взрыхля-
ет зеленыя.
Они бы вилами пришли вас зако-
лоть
За каждый крик ваш, брошенный в
меня.
Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь Бога и болотных
недр.
О, если б вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!
Вы ль за жизнь его сердцем не ин-
девели,
Когда босые ноги он в лужах осен-
них макал?
А теперь он ходит в цилиндре
И лакированных башмаках.
Но живет в нем задор прежней

вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной
лавки
Он кланяется издалека.
И, встречаясь с извозчиками на
площади,
Вспоминая запах навоза с родных
полей,
Он готов нести хвост каждой ло-
шади,
Как венчального платья шлейф.
Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая
ржавь.
Приятны мне свиней испачканные
морды
И в тишине ночной звенящий го-
лос жаб.
Я нежно болен вспоминаньем
детства,
Апрельских вечеров мне снится
хмарь и сырь.
Как будто бы на корточки по-
греться
Присел наш клен перед костром
зари.

О, сколько я на нем яиц из гнезд
вороньих,
Карабкаясь по сучьям, воровал!
Все тот же ль он теперь, с вер-
хушкой зеленой?
По-прежнему ль крепка его кора?
А ты, любимый,
Верный пегий пес?!

От старости ты стал визглив и
слеп
И бродишь по двору, влача обвис-
ший хвост,
Забыв чутьем, где двери и где
хлев.

О, как мне дороги все те проказы,
Когда, у матери стянув краюху
хлеба,
Кусали мы с тобой ее по разу,
Ни капельки друг другом не погре-
бав.

Я все такой же.
Сердцем я все такой же.
Как васильки во ржи, цветут в ли-
це глаза.
Стеля стихов злаченные рогожи,
Мне хочется вам нежное сказать.
Спокойной ночи!
Всем вам спокойной ночи!

Отзвенела по траве сумерек зари
коса...

Мне сегодня хочется очень
Из окошка луну обоссать.

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не
жаль.

Ну так что ж, что кажусь я цин-
ником,
Прицепившим к заднице фонарь!
Старый, добрый, заезженный Пе-
гас,
Мне ль нужна твоя мягкая рысь?

Я пришел, как суровый мастер,
Воспеть и прославить крыс.
Башка моя, словно август,
Льется бурливых волос вином.

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

<<Ноябрь 1920>>

* * *

Сторона ль ты моя, сторона!
Дождевое, осеннее олово.
В черной луже продрогший фо-

нарь

Отражает беззубую голову.

Нет, уж лучше мне не смотреть,
Чтобы вдруг не увидать хужего.
Я на всю эту ржавую мреть
Буду щурить глаза и суживать.

Так немного теплей и безбольней.
Посмотри: меж скелетов домов,
Словно мельник, несет колоколь-
ня
Медные мешки колоколов.

Если голоден ты – будешь сытым,
Коль несчастен – то весел и рад.
Только лишь не гляди открыто,
Мой земной неизвестный брат.

Как подумал я – так и сделал,
Но увь! Все одно и то ж!
Видно, слишком привыкло тело
Ощущать эту стужу и дрожь.

Ну, да что же! Ведь много прочих,
Не один я в миру живой!
А фонарь то мигнет, то захохо-
чет

Беззубой своей головой.

Только сердце под ветхой одеждой

*Шепчет мне, посетившему
твердь:*

*«Друг мой, друг мой, прозревшие
вежды*

Закрывает одна лишь смерть».

1921

** * **

*Мир таинственный, мир мой
древний,*

Ты, как ветер, затих и присел.

Вот сдавили за шею деревню

Каменные руки шоссе.

*Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.*

*Здравствуй ты, моя черная ги-
бель,*

Я навстречу к тебе выхожу!

*Город, город, ты в схватке жесто-
кой*

Окрестил нас как пададь и мразь.

Стынет поле в тоске волоокой,

Телеграфными столбами давясь.

*Жилист мускул у дьявольской
выи*

*И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впер-
вые*

И расшатываться и пропадать.

*Пусть для сердца тягуче колко,
Это песня звериных прав!..*

*...Так охотники травят волка,
Зажимая в тиски облав.*

*Зверь припал... и из пасмурных
недр*

*Кто-то спустит сейчас курки...
Вдруг прыжок... и двуногого
недруга*

Раздирают на части клыки.

*О, привет тебе, зверь мой люби-
мый!*

*Ты не даром даешься ножу!
Как и ты, я, отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.*

Как и ты, я всегда наготове,

*И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный
прыжок.*

*И пускай я на рыхлую выбель
Упаду и зарююсь в снегу...
Все же песню отмщенья за гибель
Пропеют мне на том берегу.*

1921

Песнь о хлебе

*Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл страдания людей.
Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.*

*Наше поле издавна знакомо
С августовской дрожью поутру.
Перевязана в снопы солома,
Каждый сноп лежит, как жел-
тый труп.*

*На телегах, как на катафалках,
Их везут в могильный склеп –
овин.*

Словно дьякон, на кобылу гаркнув,
Чтит возница погребальный чин.

А потом их бережно, без злости,
Головами стелют по земле
И цепами маленькие кости
Выбивают из худых телес.

Никому и в голову не встанет,
Что солома – это тоже плоть.
Людоедке-мельнице – зубами
В рот суют те кости обмолоть.

И, из мелева заквашивая тесто,
Выпекают груды вкусных яств...
Вот тогда-то входит яд белесый
В жбан желудка яйца злобы
класть.

Все побои ржи в припек окрасив,
Грубость жнущих сжав в духмя-
ный сок,
Он вкушающим соломенное мясо
Отравляет жернова кишок.

И свистят по всей стране, как
осень,
Шарлатан, убийца и злодей...

*Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.*

1921

*Живи Есенин триста лет тому назад,
сложил бы он триста чудесных песен,
выплакал бы радостные, как весенний
сок, слезы умиленной души; народил
бы сынов и дочерей и у порога земных
дней зажег бы вечерний огонь – вкушал
бы где-нибудь в лесном скиту в молча-
нии кроткую и светлую печаль.*

*Но судьба сулила ему родиться в наши
дни, живет он в Москве, в годы сата-
нинского искушения, среди мерзлых
луж крови и гниющих трупов, среди
граммофонов, орущих на площадях
проклятия, среди вшей, тухлой капу-
сты и лихорадочного бреда о стеклян-
но-бетонных городах, вращающихся
башнях Татлина и электрификации
земного шара...*

Алексей Толстой

* * *

*Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь
дым.*

Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь
биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась
мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тлен-
ны,
Тихо льется с кленов листьев
медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процветать и уме-
реть.

1921

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипяtkовая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...

Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

Февраль 1922

Литературный стол был чрезмерно
обутылен. Оркестр играл непрерывно.
Рядом был А. Толстой. Напротив – Н.
Крандиевская и Есенин... Она что-то
говорила... Но Есенин не слышал. Он
вскидывал головой, чему-то улыбался
и синими глазами смотрел в пьяное
пространство...

Я сказал Есенину:

– Чего вы уставились?

Дальше должна была быть брань, дра-
ка, бутылкой в голову. Но Есенин улыб-
нулся тихо и жалобно... И сказал, про-
тягивая руку:

– Я – ничего. Я – Есенин, давайте позна-
комимся...

Средь цветов и бутылок Есенин, обло-
котившись на стол, стал читать сти-
хи. За столом замолчали, наклонив-

шись к нему.

Когда Есенин читал, я смотрел на его лицо... Такие лица бывают хороши в отрочестве. Сейчас оно было болезненное, мертвенное, с впалым голубым румянцем. Золотые волосы и синие глаза были словно от другого лица, забытого в Рязани...

Он казался скакуном, потерявшим бровку и бросившимся вскачь целиной ипподрома. Я заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, «с подмывом». Мы стали просить Есенина. Он прошел несколько шагов. Остановился. Улыбнулся в пол. Но темп был хорош. И Есенин заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник. С коленцем. С вывертом.

– Вприсядку, Сережа! – кричали мы. Смокинг легко и низко опустился. Есенин шел присядкой по залу. Оркестр ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Есенина подхватили под руки. Гром аплодисментов. И мы опять пришли к столу, где в тортах стояли окурки и цветы валялись, как измятые лошадьми...

Толстой с Крандиевской уехали... Я

шел, качаясь, пустым залом... И вме-
сто комнаты, где сидели мы, – вошел,
где лакеи составляли посуду. Тут на
столе сидел Есенин. Он сидя спал. Смо-
кинг был смят. Лицо – отчаянной
бледности. А сидел так, как в ночном
у костра сидят крестьянские маль-
чишки, поджав под себя ноги.

Роман Гуль

* * *

Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к горо-
ду,
Как же смог я ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому.

Провоняю я редькой и луком

*И, тревожа вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться в руку
И во всем дурака валять.*

*И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств
Я прожить на земле не могу.*

1922

* * *

*Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглиц-
стом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?*

*Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по
темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.*

*Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.*

Каждая задрюпанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя ле-
чит.

Я хожу в цилиндре не для женщин
—
В глупой страсти сердце жить не
в силе, —
В нем удобней, грусть свою умень-
шив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший гал-
стук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омутъ в сердце
мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандали-
стом.

1922

Да! Теперь решено. Без возврата
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой
Надо мною звенеть тополя.

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Сердце бьется все чаще и чаще,

*И уж я говорю невпопад:
Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад.*

*Низкий дом без меня ссутилится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.*

1922

* * *

*Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.*

*И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об
ином.*

*Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвя-
чиной
Над пропащею этой гульбой.*

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся но-
сом
Им про Волгу поет и про Чека.

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Жалко им, что октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.

Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис ле-
чит,
Что в киргизских степях получил.

Нет! таких не поднять, не рассе-
ять!
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя... Рас... сея...
Азиатская сторона!

1922

Сыпь, гармоника! Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали,
Невтерпеж!
Что ж ты смотришь так синими
брызгами,
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя, на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника! Сыпь, моя
частая!
Пей, выдра! Пей!
Мне бы лучше вон ту, сисястую,
—
Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую,
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стер-
вою

Лишь в первый раз.

*Чем больше, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.*

*К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая... я плачу...
Прости... прости...*

<<1922>>

** * **

*Пой же, пой. На проклятой гита-
ре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный
друг.*

*Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.*

*Я не знал, что любовь – зараза,
Я не знал, что любовь – чума.*

Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Наведай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова,
Молодая, красивая дрянь.

Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляню.
Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.

Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижис-
мал.

Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь – простыня да кро-
вать.

Наша жизнь – поцелуй да в омут.

*Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.*

*Только знаешь, пошли их на хер...
Не умру я, мой друг, никогда.*

<<1922>>

Прощание с Мариенгофом

*Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств —
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.*

*Возлюбленный мой! дай мне руки
—*

*Я по-иному не привык, —
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.*

*Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.*

Прощай, прощай. В пожарах лун-

ных

Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может,
вновь...

Мне страшно, – ведь душа прохо-
дит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли – в лад речам —
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай. В пожарах лун-
ных
Не зреть мне радостного дня.
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

<<1922>>

* * *

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.

*Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.*

*Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.*

*Дар поэта – ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.*

*Пусть не сладились, пусть не сбы-
лись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились
—
Значит, ангелы жили в ней.*

*Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со*

мною, —

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубаш-
ке
Под иконами умирать.

1923

* * *

Я усталым таким еще не был.
В эту серую морозь и слизь
Мне приснилось рязанское небо
И моя непутевая жизнь.

Много женщин меня любило,
Да и сам я любил не одну,
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.

Бесконечные пьяные ночи
И в разгуле тоска не впервые!
Не с того ли глаза мне точит,
Словно синие листья червь?

Не больна мне ничья измена,
И не радуется легкость побед, —
Тех волос золотое сено

Превращается в серый цвет.

*Превращается в пепел и воды,
Когда цедит осенняя муть.
Мне не жаль вас, прошедшие годы,
—
Ничего не хочу вернуть.*

*Я устал себя мучить без цели,
И с улыбкою странной лица
Полюбил я носить в легком теле
Тихий свет и покой мертвеца...*

*И теперь даже стало не тяжело
Ковылять из притона в притон,
Как в смирительную рубашку,
Мы природу берем в бетон.*

*И во мне, вот по тем же законам,
Умиряется бешеный пыл.
Но и все ж отношусь я с покло-
ном
К тем полям, что когда-то лю-
бил.*

*В те края, где я рос под кленом,
Где резвился на желтой траве, —
Шлю привет воробьям, и воро-*

нам,
И рыдающей в ночь сове.

Я кричу им в весенние дали:
«Птицы милые, в синюю дрожь
Передайте, что я отскандалил, —
Пусть хоть ветер теперь начина-
ет
Под микитки дубасить рожь».

<<1923>>

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь сканда-
лить.

Был я весь как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без огляд-
ки.

Мне бы только смотреть на те-
бя,
Видеть глаз златокарий омут,
И чтоб, прошлое не любя,

Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упор-
ным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я воспел про любовь,
В первый раз отрекаюсь сканда-
лить.

1923

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.

Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.

1923

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.

*Иною кажется мне Русь,
Иными кладбища и хаты.*

*Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то
ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.*

*Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.*

1923

** * **

*Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.*

*Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.*

*Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.*

В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости.

Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

9 октября 1923

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой оста-
лась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сы-
рость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

* * *

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет.
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал, как желтый ске-
лет.

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески – в
дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиб-
лет.

И известность моя не хуже,
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,

Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жемчуг.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвести.

Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть – не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту мест-
ность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвест-
ность
И мечтать по-мальчишески – в
дым.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

1923

* * *

Вечер черные брови насупил.

Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храни, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-друго-
му
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была.
Голова ль ты моя удалая,

До чего ж ты меня довела?

1923

* * *

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная
мощь,
Наша печь как-то дико и странно

Завывала в дождливую ночь.

*Голос громкий и всхлипень зыч-
ный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюды кирпич-
ный,
В завывании дождевом?*

*Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.*

*Ах, и я эти страны знаю.
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повер-
нуть.*

*Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе – полевая солома,
Мир тебе – деревянный дом!*

1923

Папиросники

Улицы печальные,
Сугробы да мороз.
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.
Грязных улиц странники
В забаве злой игры,
Все они – карманники,
Веселые воры.
Тех площадь – на Никитской,
А этих – на Тверской.
Стоят с тоскливым свистом
Они там день-деньской.
Снуют по всем притонам
И, улучив досуг,
Читают Пинкертон
За кружкой пива вслух.
Пускай от пива горько,
Они без пива – вдрызг.
Все бредят Нью-Йорком,
Всех тянет в Сан-Франциск.
Потом опять печально
Выходят на мороз
Сорванцы отчаянные
С лотками папирос.

1923

Пушкину

*Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.*

*Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.*

*Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.*

*А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.*

*Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.*

26 мая 1924

Сукин сын

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче – юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом
в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И как друга введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в бе-
лом,
Но теперь я люблю в голубом.

31 июля 1924

* * *

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лоша-
денка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогоди-
ной,
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать

Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

1924

* * *

Низкий дом с голубыми ставня-
ми,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавни-
ми
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской ду-
ши.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветъ,
Да ракитник кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года.
Низкий дом с голубыми ставня-
ми,
Не забыть мне тебя никогда.

<<1924>>

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

*Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Со-
ветов,
Не пишут старым языком.*

*И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь, —
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.*

<<1924>>

Возвращение на Родину

*Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без кре-
ста.
Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.
Отцовский дом
Не мог я распознать:
Приметный клен уж под окном*

не машет
И на крыльчке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатую кашей.
Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность.
Какая незнакомая мне местность!
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.
Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвечи,
Застыли с распростертыми руками.
По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...

Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбя-
ще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..
«Ах, дедушка, ужели это ты?»
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные
цветы.

•

«Тебе, пожалуй, скоро будет
тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться».
Он говорит, а сам все морщит
лоб.

«Да!.. Время!..

Ты не коммунист?»

«Нет!..»

«А сестры стали комсомолки.

Такая гадость! Просто удавись!

Вчера иконы выбросили с полки,

На церкви комиссар снял крест.

Теперь и Богу негде помолиться.

Уж я хожу украдкой нынче в лес,

Молюсь осинам...

Может, пригодится...

Пойдем домой —

Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольной.

Я улыбаюсь пашням и лесам,

А дед с тоской глядит на колокольню.

.

.

«Здорово, мать! Здорово!»

И я опять тяну к глазам платок.

Тут разрыдаться может и коро-

ва,
Глядя на этот бедный уголок.

На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя, —
Но все ж готов упасть я на коле-
ни,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребенком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не преж-
ний.
Чем мать и дед грустней и безна-
дежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...

Но отчего-то все-таки с покло-
ном
Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый
«Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет...

.

.

По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

1 июня 1924

Русь Советская

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница – бревенчатая птица
С крылом единственным – стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют

И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.

Они, пожалуй, будут интересней,

—
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.

На щеки впалые летит сухой румянец.

Язык сограждан стал мне как чужой,

В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:

Воскресные сельчане

У волости, как в церковь, собрались.

Корявыми, неммытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой

Закат обрызгал серые поля.

И ноги босые, как телки под ворота,

Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,

*В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Пере-
коп.*

*«Уж мы его – и этак и раз-этак, —
Буржуя этого... которого... в
Крыму...»*

*И клены морщатся ушами длин-
ных веток,
И бабы охают в немую полутьму.*

*С горы идет крестьянский комсо-
мол,
И под гармонику, наявивая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.*

*Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом
дружен?
Моя поэзия здесь больше не нуж-
на,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь
не нужен.*

Ну что ж! Прости, родной приют.

Чем сослужил тебе – и тем уж я доволен.

Пускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю всё.

Как есть всё принимаю.

Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,

Ни матери, ни другу, ни жене.

Лишь только мне она свои вверя-
ла звуки

И песни нежные лишь только пе-
ла мне.

Цветите, юные, и здоровейте те-
лом!

У вас иная жизнь. У вас другой на-
пев.

А я пойду один к неведомым пре-
делам,

Душой бунтующей навеки присми-
рев.

Но и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

Русь уходящая

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и
мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,

Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.

Что видел я?
Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.

Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатле-
нья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной но-
гою,
Стремясь догнать стальную
рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей.
Они, как отрувь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человеческих мирных дел,

Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!

Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий
взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит
оголь.
«С Советской властью жить нам
по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей
немного...»

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь та-
кое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и
мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

<<1924>>

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.

Немолчный топот, громкий
стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.

Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

(Фрагмент из поэмы «Гуляй-поле»)

<<1924>>

Стансы

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи – не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан
сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демья-
нам.

Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу всё
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут,
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.

*В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.*

*«Смотри, – он говорит, —
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов,
Довольно с нас мистических ту-
манов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».*

*Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.*

*Я полон дум об индустриальной мо-
щи,
Я слышу голос человеческих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил —
Нам на земле
Устроить это проще.*

И, самого себя
По шее глядя,
Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».
1924

Поэтам Грузии

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но нынче, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,

Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я – северный ваш друг
И брат!
Поэты – все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века все смелют,

Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дрались сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем,
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,

Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

1924

На Кавказе

*Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.*

*Здесь Пушкин в чувственном огне
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».*

*И Лермонтов, тоску леча,
Нам рассказал про Азамата,
Как он за лошадь Казбича
Давал сестру заместо злата.*

*За грусть и желчь в своем лице
Кипенья желтых рек достоин,
Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.*

*И Грибоедов здесь зарыт,
Как наша дань персидской хмари,
В подножии большой горы
Он спит под плач зурны и тари.*

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончи-
ны!

Мне все равно! Я полон дум
О них, ушедших и великих.
Их исцелял гортанный шум
Твоих долин и речек диких.

Они бежали от врагов
И от друзей сюда бежали,
Чтоб только слышать звон ша-
гов
Да видеть с гор глухие дали.

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой,
Зане созрел во мне поэт
С большой эпической темой.

Мне мил стихов российский жар,
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

И Клюев, ладожский дьячок,

Его стихи как телогрейка,
Но я их вслух вчера прочел —
И в клетке сдохла канарейка.

Других уж нечего считать,
Они под хладным солнцем зреют.
Бумаги даже замарать
И то как надо не умеют.

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забить ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой.

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час про-
щальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

Сентябрь 1924
Тифлис

Письмо матери

*Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей из-
бушкой
Тот вечерний несказанный свет.*

*Пишут мне, что ты, тая трево-
гу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.*

*И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой
драке
Саданул под сердце финский нож.*

*Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.*

*Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,*

Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,
—

Слишком раннюю утрату и уста-
лость
Испытать мне в жизни приве-
лось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

<<1924>>

Письмо к женщине

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму

Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянье.

Земля – корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гушу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе больш-
шой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,

Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

.

Теперь года прошли.

Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную уста-
лость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною случилось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш

Сергей Есенин.
<<1924>>

* * *

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благо-
дать.
Может быть, и скоро мне в доро-
гу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих

Я не в силах скрыть моей тоски.

*Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облакает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду!*

*Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и
жил.*

*Счастлив тем, что целовал я
женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших мень-
ших,
Никогда не бил по голове.*

*Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.*

*Знаю я, что в той стране не бу-
дет
Этих нив, златящихся во мгле...*

Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

* * *

Годы молодые с забубенной сла-
вой,

Отравил я сам вас горькою отра-
вой.

Я не знаю: мой конец близок ли,
далек ли,

Были синие глаза, да теперь по-
блекли.

Где ты, радость? Темь и жуть,
грустно и обидно.

В поле, что ли? В кабаке? Ничего
не видно.

Руки вытяну и вот – слушаю на
ощупь:

Едем... кони... сани... снег... проез-
жаем рошу.

«Эй, ямицк, неси вовсю! Чай, рож-
ден не слабым!

Душу вытрясти не жаль по та-
ким ухабам».

А ямицк в ответ одно: «По такой
метели

Очень страшно, чтоб в пути ло-

шади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»

Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.

Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт – вместо бойкой тройки...

Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской

Бью я жесткую кровать мокрую повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.

Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,

Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем: твой конец близок ли, далек ли.

Синие твои глаза в кабаках про-

мокли».

1924

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в ми-
ре странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит
дом.
О всех ушедших грезит конопля-
ник
С широким месяцем над голубым
прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в
даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не
жаль.

Не жаль мне лет, растраченных
напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.

*В саду горит костер рябины крас-
ной,
Но никого не может он согреть.*

*Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет тра-
ва.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.*

*И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный
ком...
Скажите так... что роща золо-
тая
Отговорила милым языком.*

1924

Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовывался передо мной. Еще до революции, в 1916 году, меня поразила необычайная доброта, необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность... Таким я видел его в 1916 году, таким я с ним встретился в 18–19 годах, таким, заболевшим, я видел его в 1921 году, и таким был наш последний разговор...
Андрей Белый

Персидские мотивы

Ни в настоящий Шираз, как и в реально-географический Хороссан, Есенин, как и его великие предшественники Пушкин и Лермонтов, тоже мечтавшие о путешествии в страну чудес – Персию, не попал и все-таки проскакал её всю – от границы до границы – на розовом коне воображения, потому что искал и находил «Персию» и в Баку, и в Тифлисе, и в Батуми, он и свою комнату в убогой московской коммуналке умел превратить в

бирюзовую чайхану, разбросав и развесив всюду восточные ткани и персидские, привезенные с Кавказа, купленные на последние деньги сказочной красоты шали...

* * *

*Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет сердце
мне.*

*Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.*

*Сам чайханик с круглыми пле-
чами,
Чтобы славилась пред русским
чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.*

*Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоём саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.*

*Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и*

драк.

Ну а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не
очень,
Все равно калитка есть в саду...
Нездаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по руб-
лю,
Как сказать мне для прекрасной
Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы

Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной
Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной
Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
 Потому, что я с севера, что ли,
 Я готов рассказать тебе поле,
 Про волнистую рожь при луне.
 Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
 Что луна там огромней в сто
 раз,
 Как бы ни был красив Шираз,
 Он не лучше рязанских раздолий.
 Потому, что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
 Эти волосы взял я у ржи,
 Если хочешь, на палец вяжи —
 Я нисколько не чувствую боли.
 Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
 По кудрям ты моим догадайся.
 Дорогая, шути, улыбайся,
 Не буди только память во мне
 Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
 Там, на севере, девушка тоже,

На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

1924

* * *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, Бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

19 декабря 1924

* * *

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым ста-
ном,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени – Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий, синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,

Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно – глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

21 декабря 1924

* * *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,

Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеньет своя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердицу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.

1924

* * *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,

*Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.*

*Лугом пройдешь, как садом,
Садом в цветенье диком,
Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.*

*Шепот ли, шорох иль шелест —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.*

*Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.*

*Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.*

<<1925>>

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травой.
Ты же, путник, мертвым не внем-
ли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тя-
нет.
Помиришь лишь в сердце со врагом
—
И тебя блаженством ошафра-
нит.

Жить – так жить, любить – так
уж
влюбляться.

*В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым
поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.*

*Это пела даже Шахразада, —
Так вторично скажет листьев
медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.*

<<1925>>

* * *

*В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.*

*У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.*

*Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,*

*Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.*

*Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстанюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.*

*До свиданья, пери, до свиданья.
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.*

Март 1925

** * **

*Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью про-
стыв,
Позабыть о ласковом уресе
И глазах задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.*

*Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.*

Хороша ты, Персия, я знаю.

*Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как бра-
га.*

*И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.*

*Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.*

*Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрю-
мый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...*

Март 1925

** * **

*Быть поэтом – это значит то
же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,*

Кровью чувств ласкать чужие души.

*Быть поэтом – значит петь раз-
дольно,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет – ему не больно,
У него одна и та же песня.*

*Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягуш-
ка.*

*Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.*

*И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ло-
же,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит но-
жик.*

Но, горя ревнивою отвагой,

*Будет вслух насвистывать до до-
ма:*

*«Ну и что ж, помру себе бродягой.
На земле и это нам знакомо».*

Август 1925

** * **

*Руки милой – пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.*

*Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.*

*Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.*

*Я не знаю, как мне жизнь про-
жить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно ту-
жить
О прошедшей песенной отваге?*

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что – для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

<<1925>>

* * *

«Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы завывив.

«Отчего луна так светит грустно?» —
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: «Ты почувствуй
По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала.

Говорила: «Русский не заметит...»
Сердцу – песнь, а песне – жизнь и
тело...
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела».

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не
хочет.

Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

Август 1925

* * *

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участия...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склоняясь на шальвары,

Я под чадрую укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду.
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой нальемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

Август 1925

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнет-
ся —
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты ребенок, в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе, ты и я,
За такие милые края.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.

Пусть вся жизнь моя за песню
продана,
Но за Гелию в тенях ветвей
Обнимает розу соловей.

1925

* * *

Море голосов воробьиных,
Ночь, а как будто ясно.
Так ведь всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно,
И на устах невинных
Море голосов воробьиных.

Ах, у луны такое
Светит – хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит – хоть кинься в воду.

Милая, ты ли? та ли?
Эти уста не устали.
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолят в поцелуях.
Милая, ты ли? та ли?
Розы ль мне то нашептали?

*Сам я не знаю, что будет.
Близко, а может, гдей-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта,
Сам я не знаю, что будет.*

1925

Стихи двадцать пятого года

Еще в конце 1920-го Есенин писал Иванову-Разумнику: «...Перестроение внутреннее было велико. Я благодарен всему, что вытянуло мое нутро, положило в формы и дало ему язык».

Тогда, после «Сорокоуста», «Кобыльих кораблей» и перед «Пугачевым», поэту показалось, что перестроение кончилось, а оказалось, что в 1920-м он еще только начинал искать и формы и язык, адекватные его нутру, а нашел только теперь, в стихах-песнях 1925 года. Отныне он и «цветок неповторимый», и – безо всяких скидок – народный поэт, и никакие гонения не страшны его живым песням, ибо они, как и песни фольклорные, не нужда-

ются ни в печатном станке, ни в цензурном разрешении. Этот новый стиль был «нащупан» еще в 1924-м, в стихах на смерть Ширяева и в первых «главках» «Персидских мотивов», но тогда Есенин еще надеялся, что сможет прорваться из попутчиков в советские классики с большой эпической темой. Не прорвался. «Анна Снегина», как и маленькие поэмы 17–19 гг., как и «Пугачев», «в прицел» не «угодила». И он свернул со столбовой дороги на свою тропу. Теперь он уже не читал стихи, как прежде, он их пел – мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя особо выразительные места жестами...

*Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком...*

*Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?*

Особенно часто и охотно исполнял Есенин в 1925-м «Песню» («Есть одна хорошая песня у соловушки...»), для которой приспособил популярный «кавказский» мотив, причем не

только пел его, но и плясал – выплясывал именно песню, а не плясал под песню! Один из современников оставил такое описание этого уникального исполнения (на мальчишнике, летом, перед свадебным путешествием с Софьей Андреевной Толстой на Кавказ):

«Волосы на голове были спутаны, глаза вдохновенно горели, и, заложив левую руку за голову, а правую вытянув, словно загребая воздух, пошел в тихий пляс и запел... Как грустно и как красиво пел безголосый, с огрубевшим от вина голосом Сергей! Как выворачивало душу это пение...»

* * *

*Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после
гроз,
И душа моя – поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.*

*Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляню.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.*

Напылили кругом. Накопытили.

*И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.*

*Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа! Мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.*

*Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что стало в
стране,
И простим, где нас горько обиде-
ли
По чужой и по нашей вине.*

*Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году*

*—
Слишком мало я в юности требо-
вал,
Забываясь в кабацком чаду.*

*Но ведь дуб молодой, не разжелу-
дьясь,
Так же гнется, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная моло-
дость,*

Золотая сорвиголова!

1925

** * **

*Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.*

*Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.*

*И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.*

*Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.*

*Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.*

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне – чем сгнивать на ветках

—
Уж лучше сгореть на ветру.

<<1925>>

* * *

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие што-
ры
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне ми-
ла,

Как приятная память о друге.

Сад польщит, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дро-
жал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю – приди и явись,
Все явись, в чем есть боль и отра-
да...
Мир тебе, отшумевшая жизнь,
Мир тебе, голубая прохлада.

1925

* * *

Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует конопляник.

Пусть неровные луга
Обо мне поют крапивой, —

*Брызжет полночью дуга,
Колокольчик говорливый.*

*Высоко стоит луна,
Даже шапки не докинуть.
Песне тайна не дана,
Где ей жить и где погинуть.*

*Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.*

*Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.*

*Ворочусь я в отчий дом,
Жил и не жил бедный странник...*

*В синий вечер над прудом
Прослезится конопляник.*

1925

** * **

*Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в ду-*

ше испуг.
И сердце под рукой теперь боль-
ней и ближе,
И чувствую сильнее простое сло-
во: друг.
Прощай, Баку! Синь тюркская,
прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский
май.
Прощай, Баку! Прощай, как песнь
простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золо-
тая,
Кивала нежно мне в сиреновом
дыму.

Май 1925

* * *

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не воьет мне в грудь мою теп-
лынь.

Знать, у всех у нас такая участь.

И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны таинственный и длин-
ный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым све-
том
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголо-
вью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет но-
вью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

Июль 1925

Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только нелюбимая.

Эх, береза русская!
Путь-дорога узкая.
Эту милую, как сон,
Лишь для той, в кого влюблен,
Удержи ты ветками,
Как руками меткими.

Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.
Но и все ж за эту прить,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.

2 июля 1925

* * *

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить,
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюб-
ленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели.
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опросте-
ли
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестья-
нин,
И теперь рассказываю сам,

Соглядатай праздный, я ль не
странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над боло-
том,
В душу плачут чибис и кулик.

12 июля 1925

* * *

Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебежась,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.

Милая, мне скоро стукнет трид-
цать,
И земля милей мне с каждым
днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сго-
рая,
И недаром в липовую цветъ
Вынул я кольцо у попугая —

Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

14 июля 1925

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.

Далеко сияют розовые степи,
Широко синее тихая река.

Я – беспечный парень. Ничего не
надо.

Только б слушать песни – сердцем
подпевать,

Только бы струилась легкая прохлада,

Только б не сгибалась молодая
стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы —

Сколько там нарядных мужиков
и баб!

Что-то шепчут грабли, что-то
свищут косы...

«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль
не слаб?

На земле милее. Полно плавать в
небо.

Как ты любишь доли, так бы
труд любил.

Ты ли деревенским, ты ль крестьянским
не был?

Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо – не грабли, ах, коса – не ручка —

Но косою выводят строчки хоть куда.

Под весенним солнцем, под весенней тучкой

Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу —

Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по долам травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках – песня, в этих строчках – слово.

Потому и рад я в думах ни о ком,

Что читать их может каждая корова,

Отдавая плату теплым моло-

КОМ.

18 июля 1925

* * *

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

И, голову вздымая выше,
Не то за рощей – за холмом
Я снова чью-то песню слышу
Про отчий край и отчий дом.

И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.

Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.

Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.

Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

17 августа 1925

* * *

Жизнь – обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письма.

Я всегда, когда глаза закрою,
Говорю: «Лишь сердце потревожь,
Жизнь – обман, но и она порою
Украшает радостями ложь».

Обратись лицом к седому небу,
По луне гадая о судьбе,
Успокойся, смертный, и не требуй
Правды той, что не нужна тебе».

*Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь –
стезя.*

*Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменяют легкие друзья.*

*Пусть меня ласкают нежным
словом,
Пусть острее бритвы злой язык,*

*—
Я живу давно на все готовым,
Ко всему безжалостно привык.*

*Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклись,
Кем я жил – забыли про меня.*

*Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и люби-
мой,
Эту жизнь за все благодарю.*

17 августа 1925

** * **

*Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,*

Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?

С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою но-
шею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковы-
ми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под эту белую лунностью,

Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млея
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.

Август 1925

* * *

Над окошком месяц. Под окош-
ком ветер.
Облетевший тополь серебрист и
светел.
Дальний плач тальянки, голос
одинокий —
И такой родимый, и такой дале-
кий.
Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?
Я и сам когда-то в праздник спо-
заранку
Выходил к любимой, развернув
тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и пла-
чу.

Август 1925

* * *

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.
Пусть она услышит, пусть она поплачет,
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну а если значит – проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?
Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

8 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.

Ты мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куде-
лью?
Я навеки покинул село,
Только знаю – багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вме-
сте
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть нико-
гда.

Сердцу снится душистый горо-
шек,

И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабуку,
А еще через несколько лет

*Из коты того сделали шапку,
А ее износил наш дед.*

13 сентября 1925

** * **

Сестре Шуре

*В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.*

*В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.*

*Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.*

*Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не
врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.*

13 сентября 1925

* * *

Сестре Шуре

*Ты запой мне ту песню, что
прежде
Напевала нам старая мать,
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.*

*Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь,
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.*

*Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою,
Вижу вновь дорогие черты.*

*Ты мне пой, ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.*

*Ты мне пой, ну, а я припомню
И не буду забывчиво хмур:*

Так приятно и так легко мне
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотистые косы,
И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко

Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.

13 сентября 1925

* * *

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес.
В заливчатском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая
В далеке, в стороне, в пустыре.
Поддержись, моя жизнь удалая,
Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи,
Хочешь, сам я тебе подпою

Про лукавые девичьи очи,
Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломил шапку,
Да заложил в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку, —
Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка,
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,
Так приятны мне снег и мороз,
Потому что над всем, что было,
Колокольчик хохочет до слез.

19 сентября 1925

* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали

Разливные бубенцы.

Непроглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец – крестьянин,
Ну, а я крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,

Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

21/22 октября 1925

* * *

Снежная замять дробится и ко-
лется,
Сверху озябшая светит луна.
Снова я вижу родную околицу,
Через метель огонек у окна.

Все мы бездомники, много ли
нужно нам.
То, что далось мне, про то и пою.
Вот я опять за родительским
ужином,
Снова я вижу старушку мою.

Смотрит, а очи слезятся, слезят-
ся,
Тихо, безмолвно, как будто без
мук.

Хочет за чайную чашку взяться

—
Чайная чашка скользит из рук.

Милая, добрая, старая, нежная,

С думами грустными ты не дру-
жись,
Слушай, под эту гармонику снеж-
ную
Я расскажу про свою тебе жизнь.

Много я видел и много я стран-
ствовал,
Много любил я и много страдал,
И оттого хулиганил и пьянство-
вал,
Что лучше тебя никого не видал.

Вот и опять у лежанки я греюсь,
Сбросил ботинки, пиджак свой
раздел.
Снова я ожил и снова надеюсь
Так же, как в детстве, на лучший
удел.

А за окном под метельные всхли-
пы,
В диком и шумном метельном
чаду,
Кажется мне – осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду.

20 сентября 1925

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних
лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.
Вот при такой же луне без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобу-
чив,
Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник го-
нимый,
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я
бабку,
Вспомнил кладбищенский рыхлый
снег.

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей,

—
Вот почему так тянусь я к лю-
дям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не запла-
кал

И, улыбаясь, душой погас, —
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

24 сентября 1925

Песня

Есть одна хорошая песня у соло-
вушки —

Песня панихидная по моей голо-
вушке.

Цвела – забубенная, росла – ноже-
вая,

А теперь вдруг свесилась, словно
неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и
темени.

Промотал я молодость без поры,
без времени.

Как случилось-стало, сам не по-

нимаю,
Ночью жесткую подушку к сердцу
прижимаю.
Лейся, песня звонкая, вылей трель
унылую,
В темноте мне кажется – обни-
маю милую.
За окном гармоника и сиянье ме-
сяца.
Только знаю – милая никогда не
встретится.
Эх, любовь-калинушка, кровь – за-
ря вишневая,
Как гитара старая и как песня
новая.
С теми же улыбками, радостью и
муками,
Что певалось дедами, то поется
внуками.
Пейте, пойте в юности, бейте в
жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет че-
ремухой.
Я отцвел, не знаю где. В пьянстве,
что ли?
В славе ли?
В молодости нравился, а теперь
оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела – забубенная, была – ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

1925

* * *

Я помню, любимая, помню,
Сиянье твоих волос...
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней...
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,

Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

<<1925>>

Собаке Качалова

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не ли-
жись.
Пойми со мной хоть самое про-
стое.
Ведь ты не знаешь, что такое
жизнь,
Не знаешь ты, что жить на све-
те стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,

И у него гостей бывает в доме
много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потро-
гать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такую милою доверчивой при-
ятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь цело-
ваться.

Мой милый Джим, среди твоих
гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и
грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был вино-
ват.

1925

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли,
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз!

Оглядишь спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно желтый ворон,
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!
Умирать так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,
Не стыдясь и не тая,
В нежном шелесте черемух

Раздавалось: «Я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пей и пой, мой подружка:
На земле живут лишь раз!

1925

* * *

Слышишь – мчатся сани, слы-
шишь – сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле зате-
ряться.
Ветерок веселый робок и застен-
чив,
По равнине голой катится бубен-
чик.
Эх вы, сани, сани! Конь ты мой бу-
ланный!
Где-то на поляне клен танцует
пьяный.
Мы к нему подъедем, спросим –
что такое?
И станцуем вместе под тальянку
трое.

3 октября 1925

* * *

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не ска-
зал.

Милая спросила: «Крутит ли ме-
тель?
Затопить бы печку, постелить
постель».

Я ответил милой: «Нынче с высо-
ты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели по-
стель,
У меня на сердце без тебя ме-
тель».

3 октября 1925

* * *

Снежная замять крутит бойко,
По полю мчится чужая тройка.

Мчится на тройке чужая мла-
дость.
Где мое счастье? Где моя ра-
дость?

*Все укатилось под вихрем бойким
Вот на такой же бешеной трой-
ке.*

4/5 октября 1925

** * **

*Плачет метель, как цыганская
скрипка.*

*Милая девушка, злая улыбка,
Я ль не робею от синего взгляда?
Много мне нужно и много не на-
до.*

*Так мы далеки и так не схожи —
Ты молодая, а я все прожил.
Юношам счастье, а мне лишь па-
мять
Снежною ночью в лихую замять.*

*Я не заласкан – буря мне скрипка.
Сердце метелит твоя улыбка.*

4/5 октября 1925

** * **

*Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.*

*Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...*

*Сердце остыло, выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!*

4/5 октября 1925

** * **

*Не криви улыбку, руки беребя, —
Я люблю другую, только не тебя.*

*Ты сама ведь знаешь, знаешь хоро-
шо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.*

*Проходил я мимо, сердцу все рав-
но —
Просто захотелось заглянуть в
окно.*

4/5 октября 1925

** * **

*Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по ле-
сам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я*

ли сам?

4/5 октября 1925

* * *

Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине.

Ах, луна влезает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза...
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

4/5 октября 1925

* * *

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного
шума.
В первый раз я в себе заметил,
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сы-
рость,
Я не жалею, я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюби-
лась,

Так полюбилась, как будто вначале.
ле.

Взглянет ли женщина с тихой
улыбкой —
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыб-
кой —
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи!
Счастье людское землей любимо.
Тот, кто хоть раз на земле запла-
чет, —
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно
проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.

14 октября 1925

* * *

Цветы мне говорят – прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой ми-
мо, —
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно – придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

27 октября 1925

* * *

Кто я? Что я? Только лишь меч-
татель,
Перстень счастья ищущий во
мгле,
Эту жизнь живу я словно кста-

ти,
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навек»,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в челове-
ке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко
Ни желать, ни требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.

Кто я? Что я? Только лишь меч-
татель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,

Заодно с другими на земле.

<<1925>>

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь нагнувшись под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.
И, как пьяный сторож, выйдя на дорожку,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а всюю зеленым.

И, утратив скромность, одурев-
ши в доску,
Как жену чужую, обнимал берез-
ку.

28 ноября 1925

* * *

Какая ночь! Я не могу...
Не спится мне. Такая лунность!
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,

Что в этот отсвет лунный, си-
ний
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты – не меня, а я – другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

30 ноября 1925

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распро-
стертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мерт-
вой,
Ловит воронов и воронят.

Ну и что же, лови, я не струшу,
Только как бы твой пыл не погас,
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты – лишь отзвук, лишь только
тень.
Мне в лице твоём снится другая,
У которой глаза – голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откруюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1 декабря 1925

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти
млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я – они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи,
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспльчивая связь, —
Как случайно встретился с то-

бою,
Улыбнусь, спокойно разойдьясь.

Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.

И когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогул-
ку,
И с тобою встретимся мы вновь.

Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый
вечер...»
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь, —
Кто любил, уж тот любить не
может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

4 декабря 1925

* * *

Может, поздно, может, слишком
рано,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною
сталось?
Каждый день я у других колен.
Каждый день к себе теряю жа-
лость,
Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце мень-
ше
Билось в чувствах нежных и про-
стых,
Что ж ищу в очах я этих женщин
—
Легкодумных, лживых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

На душе – лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь ту-

ман, —
За свободу в чувствах есть рас-
плата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить метель за синий цветень
мая,
Звать любовью чувственную
дрожь.

Так случилось, так со мною ста-
лось,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.

13 декабря 1925

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки,
без слова,

*Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.*

1925

Маленькие поэмы

Всю свою короткую романтическую бесшабашную жизнь Есенин возбуждал в окружающих бурные, противоречивые страсти и сам раздирался страстями столь же бурными и противоречивыми...

Он мертв уже четверть века, но все связанное с ним, как будто выключенное из общего закона умирания, умиротворения, забвения, продолжает жить. Живут не только его стихи, а все «есенинское». Есенин «вообще», если можно так выразиться. Все, что его окружало, волновало, мучило, радовало, все, что с ним как-нибудь соприкасалось, до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня...

Георгий Адамович

Русь

1

*Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.*

*Воют в сумерки долгие, зимние
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в погорающем инее
Над застрехами храп лошадей.*

*Как совиные глазки, за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.*

*Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь – везде колдуны.
В злую заморозь в сумерки мглы-
стые
На березках висят галуны.*

2

Но люблю тебя, родина кроткая!

А за что – разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальян-
кою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все сторо-
ны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколо-
та,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

*Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.*

*Собирались мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.*

*По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молод-
цы,
Вся опора в годину невзгод.*

4

*Затомилась деревня невесточкой
—*

*Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой —
Не погибли ли в жарком бою?*

*В роще чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки ко-
стей.
И пришли к ним неожиданно-нега-
данно*

С дальней волости груди вестей.

*Сберегли по ним пахари памятку,
С потом вывели всем по письму.
Подхватили тут родные грамот-
ку,
За ветловую сели тесьму.*

*Собралися над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.*

5

*Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.*

*Припаду к лапоточкам берестя-
ным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.*

*Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у во-
ды.*

Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в далях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

*В начале 1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал поэму «Инония», на которую было много резких нападок и из-за которой за мной утвердилась кличка хулигана.
Есенин. О себе (черновик)*

Инония

Пророку Иеремии

1

*Не утрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое пришло,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплываю изо рта.
Не хочу воспринять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие —*

Где не пляшет над правдой
смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь.
Подыму свои руки к месяцу,
Раскушу его, как орех,
Не хочу я небес без лестницы,
Не хочу, чтобы падал снег.
Не хочу, чтоб умело хмуриться
На озерах зари лицо.
Я сегодня снесся, как курица,
Золотым словесным яйцом.
Я сегодня рукой упругою
Готов повернуть весь мир...
Грозовой расплескались вьюгою
От плечей моих восемь крыл.

2

Лай колоколов над Русью грозный

Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыхливаю тебя, земля!
Протянусь до незримого города,
Млечный прокушу покров.
Даже Богу я выщиплю бороду
Оскалом моих зубов.
Ухвачу его за гриву белую

И скажу ему голосом вьюг:
Я иным тебя, Господи, сделаю,
Чтобы зрел мой словесный луг!
Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытя-
же

Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет Божество живых!
Плачь и рыдай, Московия!
Новый пришел Индикоплов.
Все молитвы в твоём часослове я
Проклюю моим клювом слов.
Уведу твой народ от упования,
Дам ему веру и мощь,
Чтобы плугом он в зори ранние
Распахивал с солнцем ночь.
Чтобы поле его словесное
Выращало ульями злак,
Чтобы зерна под крышей небес-
ною
Озлащали, как пчелы, мрак.
Проклинаю тебя я, Радонеж,
Твои пятки и все следы!
Ты огня золотого залежи

Разрыхлял киркою воды.
Стая туч твоих, по-волчьи лающих,
Словно стая злющих волков,
Всех зовущих и всех дерзающих
Прободала копьем клыков.
Твое солнце когтистыми лапами
Прокогтялось в душу, как нож.
На реках вавилонских мы плакали,
И кровавый мочил нас дождь.
Ныне ж бури воловьим голосом
Я кричу, сняв с Христа штаны:
Мойте руки свои и волосы
Из лоханки второй луны.
Говорю вам – вы все погибнете,
Всех задушит вас веры мох.
По-иному над нашей выгибью
Вспух незримой коровой Бог.
И напрасно в пещеры селятся
Те, кому ненавистен рев.
Все равно – он иным отелится
Солнцем в наш русский кров.
Все равно – он спалит телением,
Что ковало реке берега.
Разгвоздят мировое кипение
Золотые его рога.
Новый сойдет Олимпий

Начертать его новый лик.
Говорю вам – весь воздух выпью
И кометой вытяну язык.
До Египта раскорячу ноги,
Раскую с вас подковы мук...
В оба полюса снежнорогие
Вопьюся клещами рук.
Коленом придавлю экватор
И под бури и вихря плач
Пополам нашу землю-матерь
Разломлю, как золотой калач.
И в провал, отененный бездною,
Чтобы мир весь слышал тот
треск,
Я главу свою власозвездную
Просуну, как солнечный блеск.
И четыре солнца из облачья,
Как четыре бочки с горы,
Золотые рассыпав обручи,
Скатясь, всколыхнут миры.

3

И тебе говорю, Америка,
Отколотая половина земли, —
Страшись по морям безверия
Железные пускать корабли!
Не отягивай чугунной радугой
Нив и гранитом – рек.

Только водью свободной Ладоги
Просверлит бытие человек!
Не вбивай руками синими
В пустошь потолок небес:
Не построить шляпками гвозди-
ными
Сияние далеких звезд.
Не залить огневого брожения
Лавой стальной руды.
Нового вознесения
Я оставлю на земле следы.
Пятками с облаков свесюсь,
Прокопытлю тучи, как лось;
Колесами солнце и месяц
Надену на земную ось.
Говорю тебе – не пой молебствия
Проволочным твоим лучам.
Не осветят они пришествия,
Бегущего овцой по горам!
Сыщется в тебе стрелок еще
Пустить в его грудь стрелу.
Словно полымя, с белой шерсти
его
Брызнет теплая кровь во мглу.
Звездами золотые копытца
Скатятся, взбороздив ночь.
И опять замелькает спицами
Над чулком ее черным дождь.

Возгремлю я тогда колесами
Солнца и луны, как гром;
Как пожар, размечу волосья
И лицо закрою крылом.
За уши встряхну я горы,
Копьями вытяну ковыль.
Все тыны твои, все заборы
Горстью смету, как пыль.
И вспашу я черные щеки
Нив твоих новой сохой;
Золотой пролетит сорокой
Урожай над твоей страной.
Новый он сбросит жителям
Крыл колосистых звон.
И, как жерди золотые, вытянет
Солнце лучи на дол.
Новые вырастут сосны
На ладонях твоих полей.
И, как белки, желтые вёсны
Будут прыгать по сучьям дней.
Синие забрезжут реки,
Просверлив все преграды глыб.
И заря, опуская веки,
Будет звездных ловить в них рыб.
Говорю тебе – будет время,
Отплетут уста громов;
Прободят голубое темя
Колосья твоих хлебов.

И над миром с незримой лестницы,
Оглашая поля и луг,
Проклевавшись из сердца месяца,
Кукарекнув, взлетит петух.

4

По тучам иду, как по ниве, я,
Свесься головою вниз.
Слышу плеск голубого ливня
И светил тонноклювых свист.
В синих отражаюсь затонах
Далеких моих озер.
Вижу тебя, Инония,
С золотыми шапками гор.
Вижу нивы твои и хаты,
На крылечке старушку мать;
Пальцами луч заката
Старается она поймать.
Прищемит его у окошка,
Схватит на своем горбе, —
А солнышко, словно кошка,
Тянет клубок к себе.
И тихо под шепот речки,
Прибрежному эху в подол,
Каплями незримой свечи
Капает песня с гор:
«Слава в вышних Богу

И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи прободил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды —
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук,
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера – в силе.
Наша правда – в нас!»

Январь 1918

Пантократор

1

*Славь, мой стих, кто ревет и бе-
сится,
Кто хоронит тоску в плече,
Лошадиную морду месяца
Схватить за узду лучей.*

*Тысчи лет те же звезды славят-
ся,
Тем же медом струится плоть.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.*

*За седины твои кудрявые,
За копейки с золотых осин
Я кричу тебе: «К черту старое!»,
Непокорный, разбойный сын.*

*И за эти щедроты теплые,
Что сочишь ты дождями в муть,
О, какими, какими метлами
Это солнце с небес стряхнуть?*

2

Там, за млечными холмами,

*Средь небесных тополей,
Опрокинулся над нами
Среброструйный Водолей.*

*Он Медведицей с лазури —
Как из бочки черпаком.
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.*

*В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад,
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.*

*Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок?
Знать, недаром в сердце мукал
Издыхающий телок.*

3

*Кружися, кружися, кружися,
Чекань твоих дней серебро!
Я понял, что солнце из выси —
В колодезь золотое ведро.*

*С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу мою душу*

На это горящее дно.

*Но знаю – другими очами
Умершие чуют живых.
О, дай нам с земными ключами
Предстать у ворот золотых.*

*Дай с нашей овсяною волей
Засовы чугунные сбить,
С разбега по ровному полю
Заре на закорки вскочить.*

4

*Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.*

*Пролей, пролей нам над водой
Твое глухое ржанье
И колокольчиком-звездой
Холодное сиянье.*

*Мы радугу тебе – дугой,
Полярный круг – на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.*

*Хвостом земле ты прицепись,
С зари отчалься гривой.
За эти тучи, эту высь
Скачи к стране счастливой.*

*И пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.*

<<1919>>

Кобыльи корабли

1

*Если волк на звезду завыл,
Значит, небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов.*

*Не просунет когтей лазурь
Из пургового кашля-смирада;
Облетает под ржанье бурь
Черепов златохвойный сад.*

*Слышите ль? Слышите звонкий
стук?
Это грабли зари по пущам.*

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

Плывите, плывите в высь!
Лейте с радуги крик вороний!
Скоро белое дерево сронит
Головы моей желтый лист.

2

Поле, поле, кого ты зовешь?
Или снится мне сон веселый —
Синей конницей скачет рожь,
Обгоняя леса и села?
Нет, не рожь! Скачет по полю
стужа,
Окна выбиты, настезьь двери.
Даже солнце мерзнет, как лужа,
Которую напрудил мерин.

Кто это? Русь моя, кто ты?
Кто?
Чей черпак в снегов твоих накупь?
На дорогах голодным ртом
Сосут край зари собаки.

Им не нужно бежать в «туда»,
Здесь, с людьми бы теплей
ужиться.

Бог ребенка волчице дал,
Человек съел дитя волчицы.

3

О, кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Посмотрите: у женищин третий
Вылупляется глаз из пупа.

Вот он! Вылез, глядит луной,
Не увидит ли помясистой кости.
Видно, в смех над самим собой
Пел я песнь о чудесной гостье.

Где же те? Где еще одиннадцать,
Что светильники сисек жгут?
Если хочешь, поэт, жениться,
Так женись на овце в хлеву.

Причащайся соломой и шерстью,
Тепли песней словесный воск.
Злой октябрь осыпает перстни
С коричневых рук берез.

4

Звери, звери, приходите ко мне,
В чашки рук моих злобу выпла-
кать!

Не пора ль перестать луне
В небесах облака лакать?

Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.
Не нужны мне кобыл корабли
И паруса вороньи.

Если голод с разрушенных стен
Вцепится в мои волосы, —
Половину ноги моей сам съем,
Половину отдам вам высасывать.

Никуда не пойду с людьми,
Лучше вместе издохнуть с вами,
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего ка-
мень.

5

Буду петь, буду петь, буду петь!
Не обижу ни козы, ни зайца.
Если можно о чем скорбеть,
Значит, можно чему улыбаться.

Все мы яблоко радости носим,
И разбойный нам близок свист.
Срежет мудрый садовник осень

Головы моей желтый лист.

*В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветер.
Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.*

*Он пришел целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст.
Глубже, глубже, серпы стихов!
Сыпь черемухой, солнце-куст!*

<<Сентябрь 1919>>

Сорокоуст

А. Мариенгофу

1

*Трубит, трубит погибельный рог!
Как же быть, как же быть те-
перь нам
На измызганных ляжках дорог?*

*Вы, любители песенных блох,
Не хотите ль.*

Полно кротостью мордищ празд-

ниться,
Любо ль, не любо ль – знай бери.
Хорошо, когда сумерки дразнятся
И всыпают нам в толстые задни-
цы
Окровавленный венник зари.

Скоро заморозь известью выбе-
лит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гibe-
ли,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брю-
хом,
Тянет к глоткам равнин пятер-
ню,

Водит старая мельница ухом,
Наострив мукомольный нюх,
И дворový молчальник бык,
Что весь мозг свой на телок про-
лил,
Вытирая о прясло язык,
Почуял беду над полем.

2

Ах, не с того ли за селом

Так плачет жалостно гармони-
ка:

Таля-ля-ля, тили-ли-гом
Висит над белым подоконником.
И желтый ветер осеницы
Не потому ль, синь рябью тронув,
Как будто бы с коней скребницей,
Очесывает листья с кленов.
Идет, идет он, страшный вест-
ник,
Пятой громоздкой чащи ломит.
И все сильнее тоскуют песни
Под лягушиный писк в соломе.
О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка,
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

3

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных го-

нок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых
коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях
бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных рос-
сиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах пере-
красила
Наш разбуженный скрежетом
плес,
И за тысячи пудов конской кожи и
мяса
Покупают теперь паровоз.

4

Черт бы взял тебя, скверный
гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не при-

шлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелу-
ях, —
Только мне, как псаломщику,
петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую ск-
лень
На сухой и холодный суглинок,
Головой разmozжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то выросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

<<1920>>

Мой путь

Жизнь входит в берега,
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот...
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мережились кресты.

Тогда не знал я
Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В Бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.

От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело...
Ну, а если тянет —
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжато,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет
Влюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,

Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.

.

Года текли.
Года меняют лица —
Другой на них
Ложится свет.
Мечтатель сельский —
Я в столице
Стал первокласснейший поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрав.

На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!

Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворян-
ства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.

Посмотрим —
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы —
Привычка к Лориган
И к розам...

Но этот хлеб,
Что жрете вы, —
Ведь мы его того-с...
Навозом...

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего не рассказать:
На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокося,
В юбчонке белой,
Стоит береза над прудом.

Уж и береза!
Чудная... А груди...
Таких грудей
У женщин не найдешь.
С полей обрызганные солнцем
Люди
Везут навстречу мне

В телегах рожь.

*Им не узнать меня,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.
Какой-то ток
Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.*

*Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну и пускай,
Пускай себе пройдет...
И без меня ей
Горечи немало —
Недаром лег
Страдальчески так рот.*

*По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей,
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.*

*Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.*

*И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,
Как раньше
К славе привела
Родная русская кобыла.*

<1925>>

Автограф С. Есенина.
Из поэмы «Черный человек»

Пугачев

Анатолию Мариенгофу

1. Появление Пугачева в Яицком городке

Пугачев

Ох, как устал и как болит нога!..

Ржет дорога в жуткое пространство.

*Ты ли, ты ли, разбойный Чаган,
Приют дикарей и оборванцев?*

*Мне нравится степей твоих медь
И пропахшая солью почва.*

*Луна, как желтый медведь,
В мокрой траве ворочается.*

Наконец-то я здесь, здесь!

Рать врагов цепью волн распалась,

*Не удалось им на осиновый шест
Водрузить головы моей парус.*

Яик, Яик, ты меня звал

Стоном придавленной черни!

Пучились в сердце жабы глаза

*Грустящей в закат деревни.
Только знаю я, что эти избы —
Деревянные колокола,
Голос их ветер хмарью съел.*

*О, помоги же, степная мгла,
Грозно свершить мой замысел!*

Сторож

*Кто ты, странник? Что бродишь
долом?
Что тревожишь ты ночи гладь?
Отчего, словно яблоко тяжелое,
Виснет с шеи твоя голова?*

Пугачев

*В солончаковое ваше место
Я пришел из далеких стран —
Посмотреть на золото телесное,
На родное золото славян.
Слушай, отче! Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ль здесь, сломав зари за-*

стенки,
Гонится овес на водопой рысцой
И на грядках, от капусты пенных,
Челноки ныряют огурцов?
Так же ль мирен труд домохозя-
ек,
Слышен прялки ровный разговор?

Сторож

Нет, прохожий! С этой жизнью
Яик
Раздружился с самых давних пор.

С первых дней, как оборвались
вожжи,
С первых дней, как умер третий
Петр,
Над капустой, над овсом, над ро-
жью
Мы задаром проливаем пот.

Нашу рыбу, соль и рынок,
Чем сей край богат и рьян,
Отдала Екатерина
Под надзор своих дворян.

И теперь по всем окраинам
Стонет Русь от цепких лапщ.

*Воском жалоб сердце Каина
К состраданью не окапишь.*

*Всех связали, всех вневолили,
С голоду хоть жри железо.
И течет заря над полем
С горла неба перерезанного.*

Пугачев

*Невеселое ваше житье!
Но скажи мне, скажи,
Неужель в народе нет суровой
хватки
Вытащить из сапогов ножи
И всадить их в барские лопатки?*

Сторож

*Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
Ртом железным перекусывая но-
ги трав?
Оттого что стоит трава на ко-
рячках,
Под себя коренья подобрал.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы,
Потому что не может она, как
птица,*

Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в
избы,
Что нам первый ряд подкошенной
травы?
Только лишь до нас не добрались
бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы.
Но теперь как будто пробудились,
И березами заплаканный наш
тракт
Окружает, как туман от сырости,
Имя мертвого Петра.

Пугачев

Как Петра? Что ты сказал, старик?

Иль это взвыли в небе облака?

Сторож

Я говорю, что скоро грозный крик,
Который избы словно жаб влакал,
Сильней громов раскатится над
нами.

*Уже мятеж вздымает паруса.
Нам нужен тот, кто б первый
бросил камень.*

Пугачев

Какая мысль!

Сторож

О чем вздыхаешь ты?

Пугачев

*Я положил себе зарок молчать до
срока.*

*Клещи рассвета в небесах
Из пасти темноты
Выдергивают звезды, словно зубы,
А мне еще нигде вздремнуть не
удалось.*

Сторож

*Я мог бы предложить тебе
Тюфяк свой грубый,
Но у меня в дому всего одна кро-
вать,
И четверо на ней спит ребячи-
шек.*

Пугачев

*Благодарю! Я в этом граде гость.
Дадут приют мне под любую
крышей.*

Прощай, старик!

Сторож

Храни тебя Господь!

*Русь, Русь! И сколько их таких,
Как в решето просеивающих
плоть,*

*Из края в край в твоих просторах
шляется?*

Чей голос их зовет,

*Вложив светильником им посох в
пальцы?*

*Идут они, идут! Зеленый славя
гул,*

*Купая тело в ветре и в пыли,
Как будто кто сослал их всех на
каторгу*

Вертеть ногами

Сей шар земли.

Но что я вижу?

*Колокол луны скатился ниже,
Он словно яблоко увянувшее, мал.*

Благовест лучей его стал глух.

*Уж на нашесте громко заиграл
В куриную гармонику петух.*

2. Бегство калмыков

Первый голос

*Послушайте, послушайте, по-
слушайте,
Вам не снился тележный свист?
Нынче ночью на заре жидкой
Тридцать тысяч калмыцких ки-
биток
От Самары проползло на Иргиз.
От российской чиновничьей нево-
ли,
Оттого что, как куропаток, их
щипали
На наших лугах,
Потянулись они в свою Монголию
Стадом деревянных черепах.*

Второй голос

*Только мы, только мы лишь мед-
лим,
Словно страшен нам захлестнув-
ший нас шквал.
Оттого-то шлет нам каждую*

неделю
Приказы свои Москва.
Оттого-то, куда бы ни шел ты,
Видишь, как под усмирителей меч
Прыгают кошками желтыми
Казацкие головы с плеч.

Кирпичников

Внимание! Внимание! Внимание!
Не будьте ж трусливы, как овцы,
Сюда едут на страшное дело вас
сманивать
Траубенберг и Тамбовцев.

Казаки

К черту! К черту предателей!

.

Тамбовцев

Сми-ирно-о!
Сотники казачьих отрядов,
Готовьтесь в поход!
Нынче ночью, как дикие звери,
Калмыки всем скопом орд
Изменили Российской империи
И угнали с собой весь скот.
Потопленную лодку месяца
Чаган выплескивает на берег дня.

Кто любит свое отечество,
Тот должен слушать меня.
Нет, мы не можем, мы не мо-
жем, мы
не можем
Допустить сей ущерб стране:
Россия лишилась мяса и кожи,
Россия лишилась лучших коней.
Так бросимтесь же в погоню
На эту монгольскую мразь,
Пока она всеми ладонями
Китаю не предалась.

Кирпичников

Стой, атаман, довольно
Об ветер язык чесать.
За Россию нам, конечно, больно,
Оттого что нам Россия – мать.
Но мы ничуть, мы ничуть не ис-
пугались,
Что кто-то покинул наши поля,
И калмык нам не желтый заяц,
В которого можно, как в пищу,
стрелять.
Он ушел, этот смуглый монго-
лец,
Дай же Бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц

Он без боли сумел повернуть.

Траубенберг

Что это значит?

Кирпичников

*Это значит то,
Что, если б
Наши избы были на колесах,
Мы впрягли бы в них своих коней
И гужом с солончаковых плесов
Потянулись в золото степей.
Наши б кони, длинно выгнув шею,
Стадом черных лебедей
По водам ржи
Понесли нас, буйно хорошея,
В новый край, чтоб новой жизнью
жить.*

Казаки

Замучили! Загрызли, прохвосты!

Тамбовцев

*Казаки! Вы целовали крест!
Вы клялись...*

Кирпичников

Мы клялись, мы клялись Екатери-

не
Быть оплотом степных границ,
Защищать эти пастбища синие
От налета разбойных птиц.
Но скажите, скажите, скажите,
Разве эти птицы не вы?
Наших пашен суровых житель
Не найдет, где прикрыть головы.

Траубенберг

Это измена!..
Связать его! Связать!

Кирпичников

Козаки, час настал!
Приветствую тебя, мятеж сви-
репый!
Что не могли в словах сказать
уста,
Пусть пулями расскажут писто-
леты.

(Стреляет.)

Траубенберг падает мертвым.
Конвойные разбегаются. Козаки
хватают
лошадь Тамбовцева под уздцы и
стаскивают его на землю.

Голоса

Смерть! Смерть тирану!

Тамбовцев

О Господи! Ну что я сделал?

Первый голос

*Мучил, злодей, три года,
Три года, как коршун белый,
Ни проезда не давал, ни прохода.*

Второй голос

*Откушай похлебки метелицы.
Отгулял, отстегал и отхвастал.*

Третий голос

Черта ли с ним канителиться?

Четвертый голос

Повесить его – и баста!

Кирпичников

*Пусть знает, пусть слышит
Москва —
На расправы ее мы взбыстрим.
Это только лишь первый раскат,
Это только лишь первый вы-*

стрел.
Пусть помнит Екатерина,
Что если Россия – пруд,
То черными лягушками в тину
Пушки мечут стальную икру.
Пусть носится над страной,
Что казак не ветла на прогоне
И в луны мешок травяной
Он башку незадаром сронит.

3. Осенней ночью

Караваев

Тысячу чертей, тысячу ведьм
и тысячу дьяволов!
Экий дождь! Экий скверный
дождь!
Скверный, скверный!
Словно вонючая моча волов
Льется с туч на поля и деревни.
Скверный дождь!
Экий скверный дождь!

Как скелеты тощих журавлей,
Стоят ощипанные вербы,
Плавя ребер медь.
Уж золотые яйца листьев на зем-
ле
Им деревянным брюхом не со-

греть,
Не вывести птенцов – зеленых
вербеныт,
По горлу их скользнул сентябрь,
как нож,
И кости крыл ломает на щербняк
Осенний дождь.
Холодный, скверный дождь!

О осень, осень!
Голые кусты,
Как оборванцы, мокнут у дорог.
В такую непогодь собаки, сжав
хвосты,
Боятся головы просунуть за по-
рог,
А тут вот стой, хоть сгинь,
Но тьму глазами ешь,
Чтоб не пробрался вражеский ла-
зутчик.
Проклятый дождь!
Расправу за мятеж
Напоминают мне рыгающие ту-
чи.
Скорей бы, скорей в побег, в побег
От этих кровью выдоенных
стран.
С объятьями нас принимает всех

*С Екатериною воюющий султан.
Уже стекается придушенная
чернь
С озиркой, словно полевые мыши.
О солнце-колокол, твое ти-
ли-ли-день,
Быть может, здесь мы больше не
услышим!
Но что там? Кажется, шаги?
Шаги... Шаги...
Эй, кто идет? Кто там идет?*

Пугачев

Свой... свой...

Караваев

Кто свой?

Пугачев

Я, Емельян.

Караваев

*А, Емельян, Емельян, Емельян!
Что нового в этом мире, Еме-
льян?
Как тебе нравится этот дождь?*

Пугачев

Этот дождь на счастье Богом
дан,
Нам на руку, чтоб он хлестал всю
ночь.

Караваев

Да, да! Я тоже так думаю, Еме-
льян.
Славный дождь! Замечательный
дождь!

Пугачев

Нынче вечером, в темноте скры-
ваясь,
Я правительственные посты
осмотрел.
Все часовые попрятались, как зай-
цы,
Боясь замочить шинели.
Знаешь? Эта ночь, если только
мы выступим,
Не кровью, а зарею окрасила б на-
ши ножи,
Всех бы солдат без единого вы-
стрела
В сонном Яике мы могли уло-
жить...
Завтра ж к утру будет ясная по-

года,
Сивым табуном проскачет
хмарь.
Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной ди-
карь!
Я умею, на сутки и версты не
трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого что в груди у меня, как в
берлоге,
Ворочается зверенышем теплым
душа.

Мне нравится запах травы, холо-
дом подожженной,
И сентябрьского листоleta про-
тяжный свист.
Знаешь ли ты, что осенью медве-
жонок
Смотрит на луну,
Как на вьющийся в ветре лист?
По луне его учит мать
Мудрости своей звериной,
Чтобы смог он, дурашливый,
знать
И призванье свое и имя.

.

Я значенье мое разгадал...

Караваев

Тебе ж недаром верят!

Пугачев

*Долгие, долгие тяжкие года
Я учил в себе разуму зверя...
Знаешь? Люди ведь все со звериной
душой —
Тот медведь, тот лиса, та волчи-
ца,
А жизнь – это лес большой,
Где заря красным всадником
мчится.
Нужно крепкие, крепкие иметь
клыки.*

Караваев

*Да, да! Я тоже так думаю, Еме-
льян...
И если б они у нас были,
То московские полки
Нас не бросали, как рыб, в Чаган.*

*Они б побоялись нас жать
И карать так легко и просто
За то, что в чаду мятежа*

Убили мы двух прохвостов.

Пугачев

Бедные, бедные мятежники!
Вы цвели и шумели, как рожь.
Ваши головы колосьями нежны-
ми
Раскачивал июльский дождь.
Вы улыбались тварям...

Послушай, да ведь это ж позор,
Чтоб мы этим поганым харям
Не смогли отомстить до сих
пор?
Разве это когда прощается,
Чтоб с престола какая-то б...
Протягивала солдат, как пальцы,
Непокорную чернь умерщвлять!
Нет, не могу, не могу!
К черту султана с туретчиной,
Только на радость врагу
Этот побег опрометчивый.
Нужно остаться здесь!
Нужно остаться, остаться,
Чтобы вскипела месть,
Золотою пургой акаций,

*Чтоб пролились ножи
Железными струями люто!*

*Слушай! Бросай сторожить,
Беги и буди весь хутор.*

4. Происшествие на таловом умёте

Оболяев

*Что случилось? Что случи-
лось? Что случилось?*

Пугачев

*Ничего страшного. Ничего
страшного. Ничего страшного.
Там на улице жолклая сырость
Гонит туман, как стада бараш-
ковые.*

*Мокрою цаплей по лужам полей
бороздя,
Ветер заставил все живое,
Как жаб по их гнездам, скрыться,
И только порою,
Привязанная к нитке дождя,
Черным крестом в воздухе
Проболтнется шальная птица.
Это осень, как старый оборван-
ный монах,
Пророчит кому-то о погибели ве-*

ще.

Послушайте, для наших благ
Я придумал кой-что похлеще.

Караваев

Да, да! Мы придумали кой-что по-
хлеще

Пугачев

Знаете ли вы,
Что по черни ныряет весть,
Как по гребням волн лодка с парусом
низким?
По-звериному любит мужик наш
на корточки сесть
И сосать эту весть, как коровьи
большие сиськи.
От песков Джигильды до Алатыря
Эта весть о том,
Что какой-то жестокий пово-
дырь
Мертвую тень императора
Ведет на российскую ширь.
Эта тень с веревкой на шее безмя-
сой,
Отвалившуюся челюсть теребя,

Скрипящими ногами приплясывая,
Идет отомстить за себя,
Идет отомстить Екатерине,
Подымая руку, как желтый кол,
За то, что она с сообщниками
своими,
Разбив белый кувшин
Головы его,
Взошла на престол.

Оболяев

*Это только веселая басня!
Ты, конечно, не за этим пришел,
Чтоб рассказать ее нам?*

Пугачев

*Напрасно, напрасно, напрасно
Ты так думаешь, брат Степан.*

Караваев

Да, да! По-моему, тоже напрасно.

Пугачев

*Разве важно, разве важно, разве
важно,
Что мертвые не встают из могил?*

Но зато кой-где почву безвлаж-
ную

Этот слух словно плугом взрыл.
Уже слышится благовест бунтов,
Рев крестьян оглашает зенит,
И кустов деревянный табун
Безлиственной ковкой звенит.
Что ей Петр? – Злой и дикой ора-
ве? —

Только камень желанного случая,
Чтобы колья погромные правили
Над теми, кто грабил и мучил.
Каждый платит за лепту леп-
тою,
Месть щенками кровавыми ще-
нится.

Кто же скажет, что это свиреп-
ствуют

Бродяги и отщепенцы?

Это буйствуют россияне!

Я ж хочу научить их под хохот
сабель

Обтянуть тот зловещий скелет
парусами

И пустить его по безводным сте-
пям,

Как корабль.

А за ним

*По курганам синим
Мы живых голов двинем бурливый
флот.*

*·
·*

*Послушайте! Для всех отныне
Я – император Петр!*

Казаки

Как император?

Оболяев

Он с ума сошел!

Пугачев

*Ха-ха-ха!
Вас испугал могильщик,
Который, череп разложив как гор-
шок,
Варит из медных монет щи,
Чтоб похлебать в черный срок.
Я стращать мертвецом вас не
стану,
Но должны ж вы, должны по-
нять,
Что этим кладбищенским пла-*

ном

*Мы подыдем монгольскую рать!
Нам мало того простолюдства,
Которое в нашем краю,
Пусть калмык и башкирец бьют-
ся
За бараньи костры средь юрт!*

Зарубин

*Это верно, это верно, это верно!
Кой нам черт умышлять побег?
Лучше здесь всем им головы сквер-
ные
Обломать, как колеса с телег.
Будем крыть их ножами и ма-
том,
Кто без сабли – так бей кирпи-
чом!
Да здравствует наш император,
Емельян Иванович Пугачев!*

Пугачев

*Нет, нет, я для всех теперь
Не Емельян, а Петр...*

Караваев

Да, да, не Емельян, а Петр...

Пугачев

*Братья, братья, ведь каждый
зверь
Любит шкуру свою и имя...
Тяжко, тяжело моей голове
Опушать себя чуждым инеем.
Трудно сердцу светильником ме-
сти
Освещать корявые чащи.
Знайτε, в мертвое имя влезть —
То же, что в гроб смердящий.*

*Больно, больно мне быть Пет-
ром,
Когда кровь и душа Емельянова.
Человек в этом мире не бревенча-
тый дом,
Не всегда перестроишь наново...
Но... к черту все это, к черту!
Прочь жалость телячьих нег!*

*Нынче ночью в половине четвер-
того
Мы устроить должны набег.*

5. Уральский каторжник

Хлопуша

Сумасшедшая, бешеная крова-

вая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье
калекам?
Проведите, проведите меня к
нему,
Я хочу видеть этого человека.
Я три дня и три ночи искал ваш
умёт,
Тучи с севера сыпались каменной
грудой.
Слава ему! Пусть он даже не
Петр!
Чернь его любит за буйство и
удаль.
Я три дня и три ночи блуждал по
тропам,
В солонце рыл глазами удачу,
Ветер волосы мои, как солому,
трепал
И цепами дождя обмолачивал.
Но озлобленное сердце никогда не
заблудится,
Эту голову с шеи сшибить нелег-
ко.
Оренбургская заря красношерст-
ной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот мо-
локо.

И холодное корявое вымя сквозь
тьму
Прижимал я, как хлеб, к исто-
щенным векам.
Проведите, проведите меня к
нему,
Я хочу видеть этого человека.

Зарубин

Кто ты? Кто? Мы не знаем тебя!
Что тебе нужно в нашем лагере?
Отчего глаза твои,
Как два цепных кобеля,
Беспокойно ворочаются в соленой
влаге?
Что пришел ты ему сообщить?
Злое ль, доброе ль светится из па-
сти воспурга?
Прорубились ли в Азию бунтовщи-
ки?
Иль, как зайцы, бегут от Оренбур-
га?

Хлопуша

Где он? Где? Неужель его нет?
Тяжелее, чем камни, я нес мою
душу.
Ах, давно, знать, забыли в этой

стране
Про отчаянного негодяя и жулика
Хлопушу.
Смейся, человек!
В ваш хмурый стан
Посылаются замечательные раз-
ведчики.
Был я каторжник и арестант,
Был убийца и фальшивомонет-
чик.

Но всегда ведь, всегда ведь, рано
ли, поздно ли,
Расставляет расплата капканы
терний.
Заковали в колодки и вырвали
ноздри
Сыну крестьянина Тверской губер-
нии.
Десять лет —
Понимаешь ли ты, десять лет? —
То острожничал я, то бродяжил.
Это теплое мясо носил скелет
На общипку, как пух лебяжий.

Черта ль с того, что хотелось
мне жить?
Что жестокостью сердце устало

хмуриться?
Ах, дорогой мой,
Для помещика мужик —
Все равно что овца, что курица.
Ежесдневно молясь на зари жел-
тый гроб,
Кандалы я сосал голубыми рука-
ми...

Вдруг... три ночи назад... губерна-
тор Рейнсдорн,
Как сорвавшийся лист,
Взлетел ко мне в камеру...
«Слушай, каторжник!
(Так он сказал.)
Лишь тебе одному поверю я.
Там в ковыльных просторах ре-
вет гроза,
От которой дрожит вся империя,
Там какой-то пройдоха, мошен-
ник и вор
Вздумал вздыбить Россию ордой
грабителей,
И дворянские головы сечет топор

Как березовые купола
В лесной обители.
Ты, конечно, сумеешь всадить в

него нож?

(Так он сказал, так он сказал мне.)

Вот за эту услугу ты свободу найдешь

И в карманах зазвякает серебро, а не камни».

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,

Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.

Проведите ж, проведите меня к нему.

Я хочу видеть этого человека!

Зарубин

Странный гость.

Подуров

Подозрительный гость.

Зарубин

Как мы можем тебе довериться?

Подуров

Их немало, немало, за червонцев горсть

Готовых пронзить его сердце.

Хлопуша

Ха-ха-ха!

Это очень неглупо.

Вы надежный и крепкий щит.

Только весь я до самого пупа —

*Местью вскормленный бунтов-
щик.*

Каплет гноем смола прогорклая

Из разодранных ребер изб.

Завтра ж ночью я выбегу волком

Человеческое мясо грызть.

*Все равно ведь, все равно ведь, все
равно ведь,*

*Не сожрешь – так сожрут тебя
ж.*

Нужно вечно держать наготове

Эти руки для драки и краж.

Верьте мне!

Я пришел к вам как друг.

Сердце радо в пурге расколоться

Оттого, что без Хлопуши

Вам не взять Оренбург

Даже с сотней лихих полководцев.

Зарубин

Так открой нам, открой, открой

Тот план, что в тебе хоронится.

Подуров

*Мы сейчас же, сейчас же пошлем
тебя в бой
Командиром над нашей конницей.*

Хлопуша

*Нет!
Хлопуша не станет биться.
У Хлопуши другая мысль.
Он хотел бы, чтоб гневные лица
Вместе с злобой умом налились.
Вы бесстрашны, как хищные зве-
ри,
Грозен лязг ваших битв и побед,
Но ведь все ж у вас нет артилле-
рии?
Но ведь все ж у вас пороху нет?*

*Ах, в башке моей, словно в бочке,
Мозг, как спирт, хлебной едко-
стью лют.
Знаю я, за Сакмарой рабочие
Для помещиков пушки льют.
Там найдется и порох, и ядра,
И наводчиков зоркая рать.
Только надо сейчас же, не откла-*

дывая,
Всех крестьян в том краю взбун-
товать.
Стыдно медлить здесь, стыдно
медлить,
Гнев рабов – не кобылий фырк...
Так давайте ж по липовой меди
Трахнем вместе к границам Уфы.

6. В стане Зарубина

Зарубин

Эй ты, люд честной да веселый,
Забубенная трын-трава!
Подружилась с твоими селами
Скуломордая татарва.
Свищут кони, как вихри, по полю,
Только взглянешь – и след про-
стыл.
Месяц, желтыми крыльями хло-
пая,
Раздирает, как ястреб, кусты.
Загляжусь я по ровной голи
В синью стынущие луга,
Не березовая ль то Монголия?
Не кибитки ль киргиз – стога?..

Слушай, люд честной, слушай,
слушай

Свой кочевнический пересвист!
Оренбург, осажденный Хлопушей,
Ест лягушек, мышей и крыс.
Треть страны уже в наших руках,
Треть страны мы как войско вы-
ставили.
Нынче ж в ночь потеряет враг
По Приволжью все склады и при-
стани.

Шигаев

Стоп, Зарубин!
Ты, наверное, не слышал,
Это видел не я...
Другие...
Многие...
Около Самары с пробитой башкой
ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей
отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и у прохожих.
Но никто ей не бросит даже кам-
ня.

*В испуге крестясь на звезду,
Все считают, что это страшное
знамение,
Предвещающее беду.
Что-то будет.
Что-то должно случиться.
Говорят, наступит глад и мор,
По сту раз на лету будет склевы-
вать птица
Желудочное свое серебро.*

Торнов

*Да-да-да!
Что-то будет!
Повсюду
Воят слухи, как псы у ворот,
Дует в души суровому люду
Ветер сырью и вонью болот.
Быть беде!
Быть великой потере!
Знать, не зря с луговой стороны
Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слю-
ны.*

Зарубин

*Врете! Врете вы,
Нож вам в спины!*

С детства я не видал в глаза,
Чтоб от такой чертовщины
Хуже бабы дрожал казак.

Шигаев

Не дрожим мы, ничуть не дро-
жим!
Наша кровь – не башкирские хля-
би.
Сам ты знаешь ведь, чьи ножи
Пробивали дорогу в Челябинск.
Сам ты знаешь, кто брал Осу,
Кто разбил наголо Сарапуль.
Столько мух не сидело у тебя на
носу,
Сколько пуль в наши спины вцара-
пали.
В стужу ль, в сырость ли,
В ночь или днем —
Мы всегда наготове к бою,
И любой из нас больше дорожит
конем,
Чем разбойной своей головою.
Но кому-то грозитя, грозитя
беда,
И ее ль казаку не слышать?
Посмотри, вон сидит дымовая
труба,

Как наездник, верхом на крыше.
Вон другая, вон третья,
Не счесть их рыл
С захватской тоской остоло-
пов,
И весь дикий табун деревянных
кобыл
Мчится, пылью клубя, галопом.
Ну куда ж он? Зачем он?
Каких дорог
Оголенные всадники ищут?
Их стегают, стегают переполох
По стеклянным глазам кнутови-
щем.

Зарубин

Нет, нет, нет!
Ты не понял...
То слышится звань,
Звань к оружию под каждой окон-
ницей.
Знаю я, нынче ночью идет на Ка-
зань
Емельян со свирепой конницей.
Сам вчера, от восторга едва ды-
ша,
За горой в предрассветной мгле
Видел я, как тянулись за Черем-

шан
С артиллерией тыщи телег.
Как торжественно с хрипом ко-
лесным обоз
По дорожным камням грохотал.
Рев верблюдов сливался с бляени-
ем коз
И с гортанною речью татар.

Торнов

Что ж, мы верим, мы верим,
Быть может,
Как ты мыслишь, все так и есть;
Голос гнева, с бедою схожий,
Нас сзывает на страшную месть.
Дай Бог!
Дай Бог, чтоб так и случилось.

Зарубин

Верьте, верьте!
Я вам клянусь!
Не беда, а нежданная радость
Упадет на мужицкую Русь.
Вот взвенел, словно сабли о пан-
цири,
Синий сумрак над ширью равнин,
Даже рощи —
И те повстанцами

Подымают хоругви рябин.
Зреет, зреет веселая сеча.
Взвоят в небо кровавый туман.
Гудом ядер и свистом картечи
Будет завтра их крыть Емельян.
И чтоб бунт наш гремел безыс-
ходней,
Чтоб вконец не сосала тоска, —
Я сегодня ж пошлю вас, сегодня,
На подмогу его войскам.

7. Ветер качает рожь

Чумаков

Что это? Как это? Неужель
мы разбиты?
Сумрак голодной волчицей выбе-
жал кровь зари лакать.
О, эта ночь! Как могильные пли-
ты,
По небу тянутся каменные обла-
ка.
Выйдешь в поле, зовешь, зовешь,
Кличешь старую рать, что легла
под Сарептой,
И глядишь и не видишь – то ли зы-
бится рожь,
То ли желтые полчища пляшу-
щих скелетов.

Нет, это не август, когда осыпа-
ются овсы,
Когда ветер по полям их коло-
тит дубинкой грубой.
Мертвые, мертвые, посмотрите,
кругом мертвецы,
Вон они хохочут, выплевывая
сгнившие зубы.
Сорок тысяч нас было, сорок ты-
сяч,
И все сорок тысяч за Волгой лег-
ли, как один.
Даже дождь так не смог бы тра-
ву иль солому высечь,
Как осыпали саблями головы на-
ши они.
Что это? Как это? Куда мы бе-
жим?
Сколько здесь нас в живых оста-
лось?
От горящих деревень бьющий ла-
пами в небо дым
Расстилает по земле наш позор и
усталость.
Лучше б было погибнуть нам
там и лечь,
Где кружит воронье беспокой-
ным, зловещим свадьбищем,

Чем струить эти пальцы пятер-
ками пылающих свеч,
Чем нести это тело с гробами
надежд, как кладбище!

Бурнов

Нет! Ты не прав, ты не прав, ты
не прав!
Я сейчас чувством жизни, как ни-
когда, болен.
Мне хотелось бы, как мальчишке,
кувыркаться по золоту трав
И сшибать черных галок с кре-
стов голубых колоколен.
Все, что отдал я за свободу черни,
Я хотел бы вернуть и поверить
снова,
Что вот эту луну,
Как керосиновую лампу в час ве-
черний,
Зажигает фонарищик из города
Тамбова.
Я хотел бы поверить, что эти
звезды – не звезды,
Что это – желтые бабочки, ле-
тящие на лунное пламя...
Друг!..
Зачем же мне в душу ты ропо-

том слезным
Бросаешь, как в стекла часовни,
камнем?

Чумаков

Что жалеть тебе смрадную хо-
лодную душу —
Околевшего медвежонка в тесной
берлоге?
Знаешь ли ты, что в Оренбурге за-
резали Хлопушу?
Знаешь ли ты, что Зарубин в Та-
бинском остроге?
Наше войско разбито вконец Ми-
хельсоном,
Калмыки и башкиры удрали к
Аральску в Азию.
Не с того ли так жалобно
Суслики в поле притоптанном
стонут,
Обрызгивая мертвые головы, как
кленовые листья, грязью?
Гибель, гибель стучит по дерев-
ням в колотушку.
Кто ж спасет нас? Кто даст нам
укрыться?
Посмотри! Там опять, там
опять за опушкой

*В воздух крылья крестами броса-
ют крикливые птицы.*

Бурнов

*Нет, нет, нет! Я совсем не хочу
умереть!
Эти птицы напрасно над нами
вьются.
Я хочу снова отроком, отряхая с
осинника медь,
Подставляя ладони, как белые
скользкие блюда.
Как же смерть?
Разве мысль эта в сердце поме-
стится,
Когда в Пензенской губернии у ме-
ня есть свой дом?
Жалко солнышко мне, жалко ме-
сяц,
Жалко тополь над низким окном.
Только для живых ведь благосло-
венны
Рощи, потоки, степи и зеленыя.
Слушай, плевать мне на всю все-
ленную,
Если завтра здесь не будет меня!
Я хочу жить, жить, жить,
Жить до страха и боли!*

Хоть карманником, хоть золото-
ротцем,
Лишь бы видеть, как мыши от ра-
дости прыгают в поле,
Лишь бы слышать, как лягушки
от восторга поют в колодце.
Яблоневым цветом брызжется
душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради Бога, научите меня,
Научите меня, и я что угодно сде-
лаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть
в человеческом саду!

Творогов

Стойте! Стойте!
Если б знал я, что вы не трусли-
вы,
То могли б мы спастись без тру-
да.
Никому б не открыли наш заго-
вор безъязыкие ивы,
Сохранила б молчанье одинокая в
небе звезда.
Не пугайтесь!
Не пугайтесь жестокого плана.
Это не тяжелее, чем хруст лома-

*емых в теле костей,
Я хочу предложить вам:
Связать на заре Емельяна
И отдать его в руки грозящих
нам смертью властей.*

Чумаков

Как, Емельяна?

Бурнов

Нет! Нет! Нет!

Творогов

*Хе-хе-хе!
Вы глупее, чем лошади!
Я уверен, что завтра ж,
Лишь золотом плюнет рассвет,
Вас развезят солдаты, как туш,
на какой-нибудь площади,
И дурак тот, дурак, кто жалеть
будет вас,
Оттого что сами себе вы придумали тернии.
Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светит юность, как
месяц в родной губернии.
Слушай, слушай, есть дом у тебя*

на Суре,
Там в окно твое тополь стучит-
ся багряными листьями,
Словно хочет сказать он хозяину
в хмурой октябрьской поре,
Что изранила его осень холодны-
ми меткими выстрелами.
Как же сможешь ты тополю по-
мочь?
Чем залечишь ты его деревянные
раны?
Вот такая же жизни осенняя гул-
кая ночь
Общипала, как тополь зубами до-
ждей, Емельяна.
Знаю, знаю, весной, когда лает во-
да,
Тополь снова покроется мягкой
зеленой кожей.
Но уж старые листья на нем не
взойдут никогда —
Их растащит зверье и потопчут
прохожие.
Что мне в том, что сумеет Еме-
льян скрыться в Азию?
Что, набравши кочевников, мо-
жет снова удариться в бой?
Все равно ведь и новые листья па-

дут и покроются грязью.
Слушай, слушай, мы старые ли-
стья с тобой!
Так чего ж нам качаться на го-
лых корявых ветвях?
Лучше оторваться и броситься в
воздух кружиться,
Чем лежать и струить золотое
гниенье в полях,
Чем глаза твои выключают черные
хищные птицы.
Тот, кто хочет за мной, – в доб-
рый час!
Нам башка Емельяна – как челн
Потопающим в дикой реке...
Только раз ведь живем мы, толь-
ко раз!
Только раз славит юность, как
парус, луну вдалеке.

8

Конец Пугачева

Пугачев

Вы с ума сошли! Вы с ума со-
шли! Вы с ума сошли!
Кто сказал вам, что мы уничто-
жены?
Злые рты, как с протухшею пи-

щей кошли,
Зловонно рыгают бесстыдной ло-
жью.
Трижды проклят тот трус, него-
дьяй и злодей,
Кто сумел окормить вас такою
дурью.
Нынче ж в ночь вы должны осед-
лать лошадей
И попасть до рассвета со мною в
Гурьев.
Да, я знаю, я знаю, мы в страшной
беде,
Но затем-то и злей над туман-
ной вязью
Деревянными крыльями по кас-
пийской воде
Наши лодки заплещут, как лебе-
ди, в Азию.
О Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и из-
весткой.
Там так медленно по небу едет
луна,
Поскрипывая колесами, как кир-
гиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо
и гордо

Скачут там шерстожелтые гор-
ные реки!
Не с того ли так свищут мон-
гольские орды
Всем тем диким и злым, что си-
дит в человеке?
Уж давно я, давно скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочую-
щим станам,
Чтоб разящими волнами их свер-
кающих скул
Стать к преддверьям России, как
тень Тамерлана.
Так какой же мошенник, про-
хвост и злодей
Окормил вас бесстыдной трусли-
вой дурью?
Нынче ж в ночь вы должны осед-
лать лошадей
И попасть до рассвета со мною в
Гурьев.

Крямин

О смешной, о смешной, о смешной
Емельян!
Ты все такой же сумасбродный,
слепой и вкрадчивый;
Расплескалась удаль твоя по по-

лям,
Не вскипеть тебе больше ни в ка-
кой азиатчине.
Знаем мы, знаем твой монголь-
ский народ,
Нам ли храбрость его неизвест-
на?
Кто же первый, кто первый, как
не этот сброд
Под Сакмарой ударился в бег-
ство?
Как всегда, как всегда, эта дикая
гнусь
Выбирала для жертвы самых сла-
бых и меньших,
Только б грабить и жечь ей погра-
ничную Русь
Да привязывать к седлам добычей
женщин.
Ей всегда был приятней набег и
разбой,
Чем суровые походы с житейской
хмурью.

Нет, мы больше не можем идти
за тобой,
Не хотим мы ни в Азию, ни на
Каспий, ни в Гурьев.

Пугачев

Боже мой, что я слышу?
Казак, замолчи!
Я заткну твою глотку ножом
иль выстрелом...
Неужели и вправду отзвенели мечи?
Неужель это плата за все, что я
выстрадал?
Нет, нет, нет, не поверю, не может
быть!
Не на то вы возрастали в степных
станицах,
Никакие угрозы суровой судьбы
Не должны вас заставить сми-
риться.
Вы должны разжигать еще боль-
ше тот взвой,
Когда ветер метелями с наших
стран дул...
Смело ж к Каспию! Смело за
мною!
Эй вы, сотники, слушать коман-
ду!

Крямин

Нет! Мы больше не слуги тебе!
Нас не взманит твое сумасброд-

ство.
Не хотим мы в ненужной и глупой борьбе
Лечь, как толпы других, по погостам.
Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь,
Что прочнее канатов и проволок...
Не пора ли тебе, Емельян, сложить
Перед властью мятежную голову?!Все равно то, что было, назад не вернешь,
Знать, недаром листвою октябрь заплакал...

Пугачев

Как? Измена?
Измена?
Ха-ха-ха!..

*Ну так что ж!
Получай же награду свою, собака!*

(Стреляет.)

Крямин падает мертвым. Казаки с криком обнажают сабли. Пугачев, отмахиваясь кинжалом, пятится к стене.

Голоса

Вяжите его! Вяжите!

Творогов

Бейте! Бейте прямо саблей в морду!

Первый голос

Натерпелись мы этой прыти...

Второй голос

Тащите его за бороду...

Пугачев

*...Дорогие мои... Хор-рошие...
Что случилось? Что случилось?
Что случилось?
Кто так страшно визжит и хoho-*

чет
В придорожную грязь и сырость?
Кто хихикает там исподтишка,
Злобно отплевываясь от солнца?

•
...Ах, это осень!
Это осень вытряхивает из мешка
Чеканенные сентябрем червонцы.
Да! Погиб я!
Приходит час...
Мозг, как воск, каплет глухо, глухо...
...Это она!
Это она подкупила вас,
Злая и подлая оборванная старуха.
Это она, она, она,
Разметав свои волосы зарею зыбкой,
Хочет, чтоб сгибла родная страна
Под ее невеселой холодной улыбкой.

Творогов

Ну, рехнулся... чего ж глазеть?
Вяжите!
Чай, не выбьет стены головою.

Слава Богу! конец его зверской рез-
не,
Конец его злобному волчьему вою.
Будет ярче гореть теперь осени
медь,
Мак зари черпаками ветров не вы-
хлестать.
Торопитесь же!
Нужно скорей поспеть
Передать его в руки правитель-
ства.

Пугачев

Где ж ты? Где ж ты, бывшая
мощь?
Хочешь встать – и рукою не мо-
жешь двинуться!
Юность, юность! Как майская
ночь,
Отзвенела ты черемухой в степ-
ной провинции.
Вот всплывает, всплывает синь
ночная над Доном,
Тянет мягкой гарью с сухих пере-
лесиц.
Золотою известкой над низень-
ким домом
Брызжет широкий и теплый ме-

сяц.

Где-то хрипло и нехотя кукарек-
нет петух,

В рваные ноздри пылью чихнет
околица,

И все дальше, все дальше, встрево-
живши сонный луг,

Бежит колокольчик, пока за го-
рой не расколется.

Боже мой!

Неужели пришла пора?

Неужель под душой так же пада-
ешь, как под ношей?

А казалось... казалось еще вчера...

Дорогие мои... дорогие... хор-ро-
шие...

Март – август 1921

Анна Снегина

А. Воронскому

1

*«Село, значит, наше – Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодию
Рассажены тополя.*

*Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.*

*Оброки платили мы к сроку,
Но – грозный судья – старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.*

*И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягот.
Раз – власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.*

*Но люди – все грешные души.
У многих глаза – что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.*

*Каких уж тут ждать обилий, —
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.*

*В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.
На нашей быдластой сходке*

Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья возжжа,
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар».

* * *

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.

Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
И понял, что я – игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушка-
ми,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу», [1] и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-ый год.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над странюю калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

* * *

Дорога довольно хорошая,
Приятная хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
«Ну, вот оно, наше Радово, —
Промолвил возница, —
Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норы ее и спесь.
Позволь, гражданин, на чаишко.
Вам к мельнику надо?
Так вон!..
Я требую с вас без излишка
За дальний такой прогон».

Даю сороковку.
«Мало!»
Даю еще двадцать.
«Нет!»
Такой отвратительный мальй.
А малому тридцать лет.
«Да что ж ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?»
И мне отвечает туша:
«Сегодня плохая рожь.
Давайте еще незвонких
Десяток иль штукек шесть —
Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...»

* * *

И вот я на мельнице...
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может сказать двух слов:
«Голубчик! Да ты ли?
Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог!»

*В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.*

*Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.
Объятья мельника круты,
От них заревет и медведь,
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.*

«Откуда? Надолго ли?»

«На год».

*«Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец, до черта,
Сама так под порох и прет.
Подумай ведь только...*

Четвертый

Тебя не видали мы год...»

Беседа окончена...

Чинно

*Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,*

Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим
взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были.
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

2

«Ну что же! Вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной...
Ей
Вчера настрелял я к обеду
Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдаёт росяница
На яблонях белых в саду.

Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароят еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала...»
И слышу сквозь кашель глухо:
«Дела одолели, дела.
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны —
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,

То радовцы бьют криушан.
И все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криу-
ши...
Их нужно б в тюрьму за тюрь-
мой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
И нагло в третьёвом годе,
Когда объявили войну,
При всем честном народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь...»

Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость.

* * *

Иду голубою дорожкой
И вижу – навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
«Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу!
Сейчас! Дай поправить возжжу,
Потом и тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк:
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудака.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужняя Анна
Спросила:
– Не тот ли, поэт?
– Ну, да, – говорю, – он самый.
– Блондин?
– Ну, конечно, блондин!
– С кудрявыми волосами?
– Забавный такой господин!

– Когда он приехал?
– Недавно.
– Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз:
«Ну, ладно! Прощай до обеда!
Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленыя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!»
«Э, охотник!
Здорово, здорово!
Садись!
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты – свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рья-

ным,
Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».

3

На корточках ползали слухи,
Судили, решали, шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар,
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, знать, спя-
тил.
Поехал,
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
«А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,

А вы – знаменитый поэт.

Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой.

Да...
Не вернуть, что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я очень любила
Сидеть у калитки вдвоем.
Мы вместе мечтали о славе...
И вы угодили в прицел,
Меня же про это заставил
Забыть молодой офицер...»

* * *

Я слушал ее и невольно
Оглядывал стройный лик.
Хотелось сказать:
«Довольно!
Найдемте другой язык!»

Но почему-то, не знаю,
Смущенно сказал невпопад:

«Да... Да...
Я сейчас вспоминаю...
Садитесь.
Я очень рад.
Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго.
По чувству – цыганская грусть».
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?»
«Не знаю».
«Кому же знать?»
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».
«Шутник вы...»
«Вы тоже, Анна».
«Кого-нибудь любите?»
«Нет».
«Тогда еще более странно
Губить себя с этих лет:
Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль...
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.

Луна хохотала, как клоун.
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

* * *

Мой мельник...
Ох, этот мельник!
С ума меня сводит он.
Устроил волынку, бездельник,
И бегаёт, как почтальон.
Сегодня опять с запиской,
Как будто бы кто-то влюблен:
«Придите.
Вы самый близкий.
С любовью
Оглоблин Прон».

Иду.

Прихожу в Криушу.

Оглоблин стоит у ворот
И спьяну в печенки и в душу
Костит обнищальный народ.

«Эй, вы!

Тараканье отродье!

Все к Снегиной!..

Р-раз и квас!

Даешь, мол, твои угодыя

Без всякого выкупа с нас!»

И тут же, меня завидя,

Снижая сварливую прыть,

Сказал в неподдельной обиде:

«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»

«Конечно, ни жать, ни косить.

Сейчас я достану лошадь

И к Снегиной... вместе...

Просить...»

И вот запрягли нам клячу.

В оглоблях мосластая шкетъ —

Таких отдают с придачей,

Чтоб только самим не иметь.

Мы ехали мелким шагом,

И путь нас смешил и злил:

В подъемах по всем оврагам

Телегу мы сами везли.

Приехали.

Дом с мезонином

Немного присел на фасад.

Волнующе пахнет жасмином

Плетневый его палисад.

Слезаем.

Подходим к террасе

И, пыль отряхая с плеч,

О чем-то последнем часе

Из горницы слышим речь:

«Рыдай – не рыдай, – не помога...

Теперь он холодный труп...

Там кто-то стучит у порога.

Припудрись...

Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама

Откинула добрый засов.

И Прон мой ей брякнул прямо

Про землю,

Без всяких слов.

«Отдай!.. —

Повторял он глухо. —

Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха

Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте...
Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе,
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы – жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»
Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенести.
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочъ,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц,
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.

Мой мельник вовсю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!

Теперь мы всех р-раз – и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин – старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть!
Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуны
Устрою в своем селе».

У Прона был брат Лабутя,
Мужик – что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наградил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул, заходя в кабак:
«Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак...»
Потом, насосавшись до дури,

Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо.
«Голубчик! —
Кричал он. —
Петя!
Мне больно... Не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Нерчинск и Турухан:
«Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...»

•

Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.

Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:
– Даешь! Разберем потом!
Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом.
А мельник...

Мой старый мельник
Хозяек привез к себе,
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.
И снова нахлынуло что-то...
Тогда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.

Я помню —
Она говорила:
«Простите... Была не права...
Я мужа безумно любила.
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...
Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.

Конечно,
До этой осени
Я знала б счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутылку...
Поэтому было не надо...
Ни встреч... ни вообще продол-
жать...
Тем более с старыми взглядами
Могла я обидеть мать».

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза,
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор.

•
«Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...
Но что?..

Я понять не могу...
Ах!.. Да...
Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:
«Ну, ладно...
Пора на покой...»

Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю куда.
В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

5

Суровые, грозные годы!

Ну разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон, —
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.

Шли годы
Размашисто, пылко...
Удел хлебороба гас.
Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец землей и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.

Ну, ладно.
Довольно стонов!
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет!
Утешь!
Соберись, на милость!
Прижваривай по весне!
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме.
Теперь стал спокой в народе,
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.

Расея...
Дуровая зыкъ она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрязнул на криушан.
Вот тут и пошла потеха...
С потехи такой – околеть.
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.

Тогда вот и чикнули Проню,
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
«Мне нужно бы красный орден
За храбрость мою носить».
Совсем прокатились тучи...
И хоть мы живем не в раю,
Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою...»

* * *

И вот я опять в дороге.
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...

Ельник

Усыпан свечьми светляков.

По-старому старый мельник

Не может связать двух слов:

«Голубчик! Вот радость! Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог.

Сергунь! Золотой! Послушай!

.

И ты уж старик по годам...

Сейчас я за милую душу

Подарок тебе передам».

«Подарок?»

«Нет...

Просто письмишко.

Да ты не спеши, голубок!

Почти что два месяца с лишком

Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!

Откуда же больше ждать!

И почерк такой беспечный,

И лондонская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада...

Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далёко...
В России теперь апрель.
И синюю заволокой
Покрыта береза и ель.
Сейчас вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в
страх,
Гляжу среди судов все присталь-
ней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна».

·

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим
взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

Январь 1925
Батум

Черный человек

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта
боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный, черный,
Черный человек
На кровать ко мне садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.

Черный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь

Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх.
Черный человек,
Черный, черный!

«Слушай, слушай, —
Бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших
Мыслей и планов.
Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных
Громил и шарлатанов.

В декабре в той стране
Снег до дьявола чист,
И метели заводят
Веселые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.

Был он изящен,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женищину,
Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой
И свою милою».

«Счастье, – говорил он, —
Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты.

В грозы, в бури,
В житейскую стынь,
При тяжелых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым
—
Самое высшее в мире искусство».

«Черный человек!
Ты не смеешь этого!
Ты ведь не на службе
Живешь водолазовой.
Что мне до жизни
Скандалного поэта.
Пожалуйста, другим
Читай и рассказывай».

Черный человек
Глядит на меня в упор.
И глаза покрываются
Голубой блевотой, —
Словно хочет сказать мне,
Что я жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.

.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта
боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рошу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

Ночь морозная.
Тих покой перекрестка.
Я один у окошка,
Ни гостя, ни друга не жду.
Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду.

Где-то плачет
Ночная зловещая птица.
Деревянные всадники
Сеют копытливый стук.
Вот опять этот черный
На кресло мое садится,
Приподняв свой цилиндр
И откинув небрежно сюртук.

«Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится. —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

Ах, положим, ошибся!
Ведь нынче луна.
Что же нужно еще
Напоенному дремой миру?
Может, с толстыми ляжками
Тайно придет «она»,
И ты будешь читать
Свою дохлую томную лирику?

Ах, люблю я поэтов!

Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...

И вот стал он взрослым,
К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».

«Черный человек!
Ты прескверный гость.

Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

.

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...
<<1923 – 14 ноября 1925>>

Страна негодяев (Драматическая поэма)

Персонал

Комиссар из охраны железнодорожной линии **Чекистов**. **Замарашкин** – сочувствующий коммунистам. Доброволец. Бандит **Номах**.

Рассветов.

Комиссары приисков **Чарин**.

Лобок.

Комендант поезда.

Красноармейцы.

Рабочие.

Советский сыщик **Литза-Хун**.

Повстанец **Барсук**.

Повстанцы.

Милиционеры.

Часть первая

На карауле

Снежная чаща. Железнодорожная будка Уральской линии. **Чекистов**, охраняющий линию, ходит с одного конца в другой.

Чекистов

*Ну и ночь! Что за ночь!
Черт бы взял эту ночь
С б..... холодом
И такой темнотой,
С тем, что нужно без устали
Бельма перить.*

*Стой!
Кто идет?
Отвечай!..
А не то
Мой наган размозжит твой че-
реп!
Стой, холера тебе в живот.*

Замарашкин

*Тише... тише...
Легче бранись, Чекистов!
От ругательств твоих
Даже у будки краснеют стены.
И с чего это, брат мой,
Ты так неистов?
Это ж... я... Замарашкин...
Иду на смену...*

Чекистов

Черт с тобой, что ты Замараш-

кин!
Я ведь не собака,
Чтоб слышать носом.

Замарашкин

Ох, и зол же ты, брат мой!..
Аж до печенок страшно...
Я уверен, что ты страдаешь
Кровавым поносом...

Чекистов

Ну конечно, страдаю!..
От этой проклятой селедки
Может вконец развалиться брю-
хо.
О!
Если б теперь... рюмку водки...
Я бы даже не выпил...
А так...
Понюхал...

Знаешь? Когда эту селедку берешь
за хвост,
То думаешь,
Что вся она набита рисом...
Разломаешь,
Глядь:
Черви... Черви...

*Жирные белые черви...
Дьявол нас, зная, занес
К этой грязной мордве
И вонючим черемисам!*

Замарашкин

*Что ж делать,
Когда выпал такой нам год?
Скверный год! Отвратительный
год!
Это еще ничего...
Там... За Самарой... Я слышал...
Люди едят друг друга...
Такой выпал нам год!
Скверный год!
Отвратительный год!
И к тому же еще чертова вьюга.*

Чекистов

*Мать твою в эт-твою!
Ветер, как сумасшедший мель-
ник,
Крутит жерновами облаков
День и ночь...
День и ночь...
А народ ваш сидит, бездельник,
И не хочет себе ж помочь.
Нет бездарней и лицемерней,*

Чем ваш русский равнинный му-
жик!
Коль живет он в Рязанской губер-
нии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

Замарашкин

Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты еврей,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей..
Все равно в Могилеве твой дом.

Чекистов

Ха-ха!
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно

Проклинать вас хоть тысячи
лет,
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин...

Замарашкин

Черт-те что ты городишь, Чеки-
стов!

Чекистов

Мне нравится околёсина.
Видишь ли... я в жизни
Был бедней церковного мыша
И глодал вместо хлеба камни.
Но у меня была душа,
Которая хотела быть Гамле-

том.
Глупая душа, Замарашкин!
Ха-ха!
А когда я немного подрос,
Я увидел...

Слышатся шаги.

Тише... Помолчи, голубчик...
Кажется... кто-то... кажется...
Черт бы взял этого мерзавца Но-
маха
И всю эту банду повстанцев!
Я уверен, что нынче ночью
Ты заснешь, как плаха,
А он опять остановит поезд
И разграбит станцию.

Замарашкин

Я думаю, этой ночью он не при-
дет.
Нынче от холода в воздухе
Дошли птицы.
Для конницы нынче
Дорога скользка, как лед,
А с пехотой прийти
Он и сам побоится.
Нет! этой ночью он не придет!

*Будь спокоен, Чекистов!
Это просто с мороза проскрипело
дерево...*

Чекистов

*Хорошо! Я спокоен. Сейчас уйду.
Продрог до костей от волчьей
стужи.
А в казарме сегодня,
Как на беду,
Из прогнившей картошки
Холодный ужин.
Эх ты, Гамлет, Гамлет!
Ха-ха, Замарашкин!..
Прощай!
Карауль в оба!..*

Замарашкин

*Хорошего аппетита!
Спокойной ночи!*

Чекистов

Мать твою в эт-твою!

(Уходит.)

Ссора из-за фонаря

Некоторое время **Замарашкин** расхаживает около будки один. Потом неожиданно

подносит руку к губам и издает в два пальца осторожный свист. Из чащи, одетый в русский полушубок и в шапку-ушанку, выскакивает **Номах**.

Номах

Что говорил тебе этот коммунист?

Замарашкин

*Слушай, Номах! Оставь это дело. Они за тебя по-настоящему взылись.
Как бы не на столбе
Очутилось твое тело.*

Номах

*Ну так что ж!
Для ворон будет пища.*

Замарашкин

Но ты должен щадить других.

Номах

*Что другие?
Свора голодных нищих.
Им все равно...*

В этом мире немытом
Душу человеческую
Ухорашивают рублем,
И если преступно здесь быть бан-
дитом,
То не более преступно,
Чем быть королем...
Я слышал, как этот прохвост
Говорил тебе о Гамлете.
Что он в нем смыслит?
Гамлет восстал против лжи,
В которой варился королевский
двор.
Но если б теперь он жил,
То был бы бандит и вор.
Потому что человеческая жизнь
Это тоже двор,
Если не королевский, то скотный.

Замарашкин

Помнишь, мы зубрили в школе?
«Слова, слова, слова...»
Впрочем, я вас обоих
Слушаю неохотно.
У меня есть своя голова.
Я только всему свидетель,
В тебе ж люблю старого друга.
В час несчастья с тобой на свете

Моя помощь к твоим услугам.

Номах

*Со мною несчастье всегда.
Мне нравятся жулики и воры.
Мне нравятся груди,
От гнева спертые.
Люди устраивают договоры,
А я посылаю их к черту.
Кто смеет мне быть правите-
лем?
Пусть те, кому дорог хлеб,
Называются гражданами и жи-
телями
И жиреют в паршивом тепле.
Это все твари тленные!
Предмет для навозных куч!
А я – гражданин вселенной,
Я живу, как я сам хочу!*

Замарашкин

*Слушай, Номах... Я знаю,
Быть может, ты дьявольски
прав,
Но все ж... Я тебе желаю
Хоть немного смирить свой нрав.
Подумай... Не завтра, так после...
Не после... Так после опять...*

Слова ведь мои не кости,
Их можно легко прожевать.
Ты понимаешь, Номах?

Номах

Ты думаешь, меня это страшит?
Я знаю мою игру.
Мне здесь на все наплевать.
Я теперь вконец отказался от
многого,
И в особенности от государства,
Как от мысли праздной,
Оттого что постиг я,
Что все это договор,
Договор зверей окраски разной.
Люди обычаи чтут как науку,
Да только какой же в том смысл
и прок,
Если многие громко сморкаются
в руку,
А другие обязательно в носовой
платок.
Мне до дьявола противны
И те и эти.
Я потерял равновесие...
И знаю сам —
Конечно, меня подвесят
Когда-нибудь к небесам.

Ну так что ж!
Это еще лучше!
Там можно прикуривать о звездах...
Но...
Главное не в этом.
Сегодня проходит экспресс,
В 2 ночи —
46 мест.
Красноармейцы и рабочие.
Золото в слитках.

Замарашкин

Ради Бога, меня не впутывай!

Номах

Ты дашь фонарь?

Замарашкин

Какой фонарь?

Номах

Красный.

Замарашкин

Этого не будет!

Номах

Будет хуже.

Замарашкин

Чем хуже?

Номах

Я разберу рельсы.

Замарашкин

*Номах! Ты подлец!
Ты хочешь меня под расстрел...
Ты хочешь, чтоб трибунал...*

Номах

*Не беспокойся! Ты будешь цел.
Я 200 повстанцев сюда пригнал.
Коль боишься расстрела,
Бежим со мной.*

Замарашкин

*Я? С тобой?
Да ты спятил с ума!*

Номах

*В голове твоей бродит
Непроглядная тьма.
Я думал – ты смел,
Я думал – ты горд,*

*А ты только лишь лакей
Узаконенных держиморд.
Ну так что ж!
У меня есть выход другой,
Он не хуже...*

Замарашкин

*Я не был никогда слугой.
Служит тот, кто трус.
Я не пленник в моей стране,
Ты меня не заманишь к себе.
Уходи! Уходи!
Уходи, ради дружбы.*

Номах

Ты, как сука, скулишь при луне...

Замарашкин

*Уходи! Не заставь скорбеть...
Мы ведь товарищи старые...
Уходи, говорю тебе...*

(Трясет винтовкой.)

*А не то вот на этой гитаре
Я сыграю тебе разлуку.*

Номах

(смеясь)

Слушай, защитник коммуны,
Ты, пожалуй, этой гитарой
Оторвешь себе руку.
Спрячь-ка ее, бесструнную,
Чтоб не охрипла на холоде.
Я и сам ведь сонату лунную
Умею играть на кольте.

Замарашкин

*Ну и играй, пожалуйста.
Только не здесь!*

Нам такие музыканты не нужны.

Номах

*Все вы носите овечьи шкуры,
И мясник пасет для вас ножи.
Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не пой-
мешь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство – обман и ложь.
Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов – хорошая приманка,
Подлецам – порядочный улов.
Дай фонарь!*

Замарашкин

Иди ты к черту!

Номах

*Тогда не гневайся,
Пускай тебя не обижает
Другой мой план.*

Замарашкин

Ни один план твой не пройдет.

Номах

Ну, это мы еще увидим...

Послушай, я тебе скажу:

Коль я хочу,

Так, значит, надо.

Ведь я башкой моей не дорожусь

И за грабеж не требую награды.

Все, что возьму,

Я все отдам другим.

Мне нравится игра,

Ни слава и ни злато.

Приятно мне под небом голубым

*Утешить бедного и вшивого со-
брата.*

Дай фонарь!

Замарашкин

Отступись, Номах!

Номах

Я хочу сделать для бедных праздник.

Замарашкин

Они сделают его сами.

Номах

Они сделают его через 1000 лет.

Замарашкин

И то хорошо.

Номах

А я сделаю его сегодня.

Бросается на Замарашкина и давит его за горло. Замарашкин падает. Номах завязывает ему рот платком и скручивает веревками руки и ноги. Некоторое время он смотрит на лежащего, потом идет в будку и выходит оттуда с зажженным красным фонарем.

Часть вторая
Экспресс № 5

Салон-вагон. В вагоне страшно накурено.
Едут комиссары и рабочие.
Ведут спор.

Рассветов

Чем больше гляжу я на снежную
ширь,
Тем думаю все упорнее.
Черт возьми!
Да ведь наша Сибирь
Богаче, чем желтая Калифорния.
С этими запасами руды
Нам не страшна никакая
Мировая блокада.
Только работай! Только трудись!
И в республике будет,
Что кому надо.
Можно ль представить,
Что в месяц один
Открыли пять золотоносных
жил.
В Америке это было бы сенсацией,
На бирже стоял бы рев.
Маклера бы скупали акции,
Выдавая 1 пуд за 6 пудов.
Я работал в клондайкских приис-
ках,

Где один нью-йоркский туз
За 3 миллиона без всякого риска
12 1/2 положил в картуз.
А дело все было под шепот,
Просто биржевой трюк,
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.
О! эти американцы...
Они – неуничтожимая моль.
Сегодня он в оборванцах,
А завтра золотой король.
Так было и здесь...
Самый простой прощелыга,
Из индианских мест,
Жил, по-козлиному прыгал
И вдруг в богачи пролез.
Я помню все штуки эти.
Мы жили в ночлежках с ним.
Он звал меня мистер Развети.
А я его – мистер Джим.
«Послушай, – сказал он, – please,[2]
Ведь это не написано в брамах,
Чтобы без *wisky* и *miss*

Мы валялись с тобою в ямах.
У меня в животе лягушки
Завелись от голодных дум.
Я хочу хорошо кушать

И носить хороший костюм.
Есть одна у меня затея,
И если ты не болван,
То без всяких словес, не потея,
Согласишься на этот план.
Нам нечего очень стараться,
Чтоб расходовать жизненный
сок.

Я знаю двух-трех мерзавцев,
У которых золотой песок.
Они нам отыщут банкира
(т. е. мерзавцы эти),
И мы будем королями мира...
Ты понял, мистер Развети?»
«Открой мне секрет, Джим!» —
Сказал я ему в ответ,
А он мне сквозь трубочный дым
Пробулькал:
«Секретов нет!
Мы просто возьмем два ружья,
Зарядим золотым песком
И будем туда стрелять,
Куда нам укажет Том».
(А Том этот был рудокоп —
Мошенник, каких поискать.)
И вот мы однажды тайком
В Клондайке.
Нас целая рать...

*И по приказу, даденному
Под браунинги в висок,
Мы в четыре горы громадины
Золотой стреляли песок,
Как будто в слонов лежащих,
Чтоб достать дорогую кость.
И громом гремела в чащах
Ружей одичалая злость.
Наш предводитель живо
Шлет телеграмму потом:
«Открыли золотую жилу.
Приезжайте немедленно.
Том».
А дело было под шепот,
Просто биржевой трюк...
Но многие, денежки вхлопав,
Остались почти без брюк.*

Чарин

*Послушай, Рассветов! и что же,
Тебя не смутил обман?*

Рассветов

*Не все ли равно,
К какой рожке
Капиталы текут в карман.
Мне противны и те и эти.
Все они —*

*Класс грабительских банд.
Но должен же, друг мой, на свете
Жить Рассветов Никандр.*

Голос из группы

Правильно!

Другой голос

Конечно, правильно!

Третий голос

*С паршивой овцы хоть шерсти
Человеку рабочему клок.*

Чарин

*Значит, по этой версии
Подлость подчас не порок?*

Первый голос

*Ну конечно, в собачьем стане,
С философией жадных собак,
Защищать лишь себя не станет
Тот, кто навек дурак.*

Рассветов

*Дело, друзья, не в этом.
Мой рассказ вскрывает секрет.
Можно сказать перед всем све-*

том,
Что в Америке золота нет.
Там есть соль,
Там есть нефть и уголь,
И железной много руды.
Кладовискателей вьюга
Замела золотые следы.
Калифорния – это мечта
Всех пропойц и неумных бродяг.
Тот, кто глуп или мыслить
устал,
Прозябает в ее краях.
Эти люди – гнилая рыба.
Вся Америка – жадная пасть,
Но Россия: вот это глыба...
Лишь бы только Советская
власть!..
Мы, конечно, во многом отстали.
Материк наш:
Лес, степь да вода.
Из железобетона и стали
Там настроены города.
Вместо наших глухих раздолий
Там, на каждой почти полосе,
Перерезано рельсами поле
С цепью каменных рек – шоссе.
И по каменным рекам без пыли,
И по рельсам без стога шпал

И экспрессы и автомобили
От разбега в бензинном мыле
Мчат, секундой считая доллар,
Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера.
От еврея и до китайца
Проходимец и джентельмен,
Все в единой графе считаются
Одинаково – *business men*, [3]
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она – мировая биржа!
Вот они – подлецы всех стран.

Чарин

Да, Рассветов! но все же, однако,
Ведь и золота мы хотим.
И у нас биржевая клоака
Расстилает свой едкий дым.
Никому ведь не станет в новинки,
Что в кремлевские буфера

Уцепились когтями с Ильинки
Маклера, маклера, маклера...
И в ответ партийной команде,
За налоги на крестьянский труд,
По стране свищет банда на банде,
Волю власти считая за кнут.
И кого упрекнуть нам можно?
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора
острожная
И крестьянство так любят Мах-
но?
Потому что мы очень строги,
А на строгость ту зол народ,
У нас портят железные дороги,
Гибнут озими, падает скот.
Люди с голоду бросились в бег-
ство,
Кто в Сибирь, а кто в Туркестан,
И оскалилось людоедство
На сплошной недород у крестьян.
Их озлобили наши поборы,
И, считая весь мир за бедлам,
Они думают, что мы воры
Иль поблажку даем ворами.
Потому им и любы бандиты,
Что всосали в себя их гнев.
Нужно прямо сказать, открыто,

Что республика наша – bluff,[4]
Мы не лучшее, друг мой, дерьмо.

Рассветов

Нет, дорогой мой!
Я вижу, у вас
Нет понимания масс.
Ну кому же из нас не известно
То, что ясно как день для всех.
Вся Россия – пустое место.
Вся Россия – лишь ветер да снег.
Этот отзыв ни резкий, ни черст-
вый.
Знают все, что до наших лбов
Мужики караулили версты
Вместо пегих дорожных столбов.
Здесь все дохли в холере и оспе.
Не страна, а сплошной бивуак.
Для одних – золотые россыпи,
Для других – непроглядный мрак.
И кому же из нас незнакомо,
Как на теле паршивый прыщ,
Тыщи лет из бревна да соломы
Строят здания наших жилищ,
10 тысяч в длину государство,
В ширину окло верст тысяч 3-х.
Здесь одно лишь нужно лекарство

*Сеть шоссе и железных дорог.
Вместо дерева нужен камень,
Черепица, бетон и жесть.
Города создаются руками,
Как поступками – слава и честь.
Подождите!
Лишь только клизму
Мы поставим стальную стране,
Вот тогда и конец бандитизму,
Вот тогда и конец резне.*

*Слышатся тревожные свистки паровоза.
Поезд замедляет ход. Все вскакивают.*

Рассветов

Что такое?

Лобок

Тревога!

Первый голос

Тревога!

Рассветов

Позовите коменданта!

Комендант

(вбегая)

Я здесь.

Рассветов

Что случилось?

Комендант

Красный фонарь...

Рассветов

(смотрит в окно)

Гм... да... я вижу...

Лобок

*Дьявольская метель...
Вероятно, занос.*

Комендант

Сейчас узнаем...

*Поезд останавливается. Комендант выбе-
гает.*

Рассветов

*Это не станция и не разъезд,
Просто маленькая железнодо-
рожная будка.*

Лобок

*Мне говорили, что часто здесь
Поезда прозябают по целым сут-
кам.*

Ну, а еще я слышал...

Чарин

Что слышал?

Лобок

Что здесь немного шалят.

Рассветов

Глупости...

Лобок

Для кого как.

Входит комендант.

Рассветов

Ну?

Комендант

*Здесь стрелочник и часовой
Говорят, что отсюда за 1/2 вер-
сты*

Сбита рельса.

Рассветов

Надо поправить.

Комендант

*Часовой говорит, что до станции
По другой ветке верст 8.
Можно съездить туда
И захватить мастеров.*

Рассветов

Отцепляйте паровоз и поезжайте.

Комендант

Это дело 30-ти минут.

*Уходит. **Рассветов** и другие остаются, погруженные в молчание.*

После 30-ти минут

Красноармеец

(вбегая в салон-вагон)

Несчастье! Несчастье!

Все

(вперебой)

Что такое?..
Что случилось?..
Что такое?..

Красноармеец

*Комендант убит.
Вагон взорван.
Золото ограблено.
Я ранен.
Несчастие! Несчастие!*

Вбегает рабочий.

Рабочий

*Товарищи! Мы обмануты!
Стрелочник и часовой
Лежат здесь в будке.
Они связаны.
Это провокация бандитов.*

Рассветов

*За каким вы дьяволом
Увезли с собой вагон?*

Красноармеец

Комендант послушался стрелочника...

Рассветов

Мертвый болван!

Красноармеец

*Лишь только мы завернули
На этот... другой путь,
Часовой сразу 2 пули
Всадил коменданту в грудь.
Потом выстрелил в меня.
Я упал...
Потом он громко свистнул,
И вдруг, как из-под земли,
Сугробы взрывая,
Нас окружили в приступ
Около двухсот негодяев.
Машинисту связали руки,
В рот запихали платок.
Потом я услышал стуки
И взрыв, где лежал песок.
Метель завывала чертом.
В плече моем нить и течь.
Я притворился мертвым
И понял, что надо бечь.*

Лобок

*Я знаю этого парня,
Что орудует в этих краях.
Он, кажется, родом с Украины*

И кличку носит Номах.

Рассветов

Номах?

Лобок

Да. Номах.

Вбегает второй красноармеец.

2-й красноармеец

*Рельсы в полном порядке!
Так что, выходит, обман...*

Рассветов

(хватаясь за голову)

*И у него не хватило догадки!..
Мертвый болван!
Мертвый болван!*

Часть третья

**О чем говорили на вокзале N в
следующий день**

Замарашкин

(один около стола с телефоном)

*Если б я не был обижен,
Я, может быть, и не сказал,*

*Но теперь я отчетливо вижу,
Что он плюнул мне прямо в глаза.*

*Входят **Рассветов, Лобок и Чекистов.***

Лобок

*Я же говорил, что это место
Считалось опасным всегда.
Уже с прошлого года
Стало известно,
Что он со всей бандой перебрался
сюда.*

Рассветов

*Что мне из того, что ты знал?
Узнай, где теперь он.*

Чекистов

*Ты, Замарашкин, идиот!
Я будто предчувствовал.*

Рассветов

*Бросьте вы к черту ругаться —
Это теперь не помога.
Нам нужно одно:
Дознаться,
По каким они скрылись дорогам.*

Чекистов

Метель замела все следы.

Замарашкин

*Пустяки, мы следы отыщем.
Не будем ставить громоздко
Вопрос, где лежат пути.
Я знаю из нашего розыска
Ищейку, каких не найти.
Это шанхайский китаец,
Он коммунист и притом,
Под видом бродяги слоняясь,
Знает здесь каждый притон.*

Рассветов

Это, пожалуй, дело.

Лобок

*Как зовут китайца?
Уж не Литза ли Хун?*

Замарашкин

Он самый!

Лобок

*О, про него много говорят теперь.
Тогда Номах в наших лапах.*

Рассветов

*Но, я думаю... Номах
Тоже не из тетерь...*

Замарашкин

Он чует самый тонкий запах.

Рассветов

*Потом ведь нам очень важно
Поймать его не пустым...
Нам нужно вернуть покражу...
Но золото, может, не с ним...*

Замарашкин

*Золото, конечно, не при нем.
Но при слежке вернем и пропажу.
Нужно всех их забрать живьем...
Под кнутом они сами расскажут.*

Рассветов

Что же: звоните в розыск.

Замарашкин

(подходя к телефону)

43 – 78:

Алло:

43 – 78?

Приволжский городок

Тайный притон с паролем «Авдотья, подними подол». 2 тайных посетителя. Кабатчица, судомойка и подащица.

Кабатчица

Спирт самый чистый, самый настоящий!

Сама бы пила, да деньги надо.

Милости просим.

Заглядывайте почаще.

Хоть утром, хоть в полночь —

Я всегда вам рада.

*Входят Номах, Барсук и еще 2 повстанца
Номах в пальто и шляпе.*

Барсук

Привет тетке Дуне!

Кабатчица

Мое вам почтение, молодые люди.

1-й повстанец

Дай-ка и нам по баночке клюнуть.

*С пережубу-то легче, пожалуй, будет.
Садятся за стол около горячей печки.*

Кабатчица

*Сейчас, мои дорогие!
Сейчас, мои хорошие!*

Номах

*Холод зверский. Но... все-таки
Я люблю наши русские вьюги.*

Барсук

*Мне все равно. Что вьюга, что
дождь...
У этой тетки
Спирт такой,
Что лучше во всей округе не найдешь.*

1-й повстанец

*Я не люблю вьюг,
Зато с удовольствием выпью.
Когда крутит снег,
Мне кажется,
На птичьем дворе гусей щиплют.
Вкус у меня раздражительный,*

Аппетит, можно сказать, непри-
личный,
А потому я хотел бы положи-
тельно
Говядины или птичины.

Кабатчица

*Сейчас, мои желанные...
Сейчас, сейчас...*

(Ставит спирт и закуску.)

Номах

(тихо к кабатчице)

*Что за люди... сидят здесь...
окол?..*

Кабатчица

*Свои, голубчик,
Свои, мой сокол.
Люди не простого рода,
Знатные-с, сударь,
Я знаю их 2 года.
Посетители – первый класс,
Каких нынче мало.
У меня уж набит глаз
В оценке материала.
Люди ловкой игры.*

Оба – спецы по винам.
Торгуют из-под полы
И спиртом и кокаином.
Не беспокойтесь! У них
Язык на полке.
Их ищут самих
Красные волки.
Это дворяне,
Щербатов и Платов.

Посетители начинают разговаривать.

Щербатов

*Авдотья Петровна!
Вы бы нам на гитаре
Вальс
«Невозвратное время».*

Платов

Или эту... ту, что вчера...

(напевает)

*«Все, что было,
Все, что мило,
Все давным-давно
Уплы-ло...»
Эх, Авдотья Петровна!
Авдотья Петровна!*

Кабы нам назад лет 8,
Старую Русь,
Старую жизньь,
Старые зимы,
Старую осень.

Барсук

Ишь чего хочет, сволочь!

1-й повстанец

М-да-с...

Щербатов

*Невозвратное время! Невозвратное время!
Пью за Русь!
Пью за прекрасную
Прошедшую Русь.
Разве нынче народ пошел?
Разве племя?
Подлец на подлеце
И на трусе трус.
Отцвело навсегда
То, что было в стране благородно.
Золотые года!
Ах, Авдотья Петровна!
Сыграйте, Авдотья Петровна,*

Вальс,
Сыграйте нам вальс
«Невозвратное время».

Кабатчица

Да, родимые, да, сердешные!
Это не жизнь, а сплошное безоб-
разие.
Я ведь тоже была
Дворянка здешняя
И училась в первой
Городской гимназии.

Платов

Спойте! Спойте, Авдотья Петров-
на!
Спойте: «Все, что было».

Кабатчица

Обождите, голубчики,
Дайте с посудой справиться.

Щербатов

Пожалуйста. Пожалуйста!

Платов

Пожалуйста, Авдотья Петровна!

Через кухонные двери появляется **китаец**,

Китаец

Ниет Амиэрика,
Ниет Евыроне.
Опий, опий,
Сыамый лыучий опий.
Шанго курил,
Диеньги дыавал,
Сыам лиубил,
Есыли б не сытрадал.
Куришь, колица виюца,
А хыто пыривык,
Зыабыл ливарюца,
Зыабыл большевик,
Ниет, Амиэрика,
Ниет Евыроне.
Опий, опий,
Сыамый лыучий опий.

Щербатов

Эй, ходя! Давай 2 трубки.

Китаец

Диеньги пирёт.
Хыодя очень бедыный.
Тывой шибко живет,

Мой очень былелдный.

подавщица

Куришь на кухню.

Щербатов

На кухню так на кухню.

*(Покачиваясь, идет с Платовым на кухню.
Китаец за ними.)*

Номах

*Ну и народец здесь.
О всех веревка плачет.*

Барсук

М-да-с...

1-й повстанец

*Если так говорить,
То, значит,
В том числе и о нас.*

Барсук

*Разве ты себя считаешь негодя-
ем?*

1-й повстанец

*Я не считаю,
Но нас считают.*

2-й повстанец

*Считала лисица
Ворон на дереве.*

К столу подходит подавщица.

Подавщица

Сегодня в газете...

Номах

Что в газете?

Подавщица

(тихо)

*Пишут, что вы разгромили поезд,
Убили коменданта и красноар-
мейца.*

*За вами отправились в поиски.
Говорят, что поймать надеются.
Обещано 1000 червонцев.*

*С описанием ваших примет:
Блондин.
Среднего роста.
28-ми лет.*

(Отходит.)

Номах

*Ха-ха!
Замарашкин не выдержал.*

Барсук

*Я говорил, что его нужно было
Прикончить, и дело с концом.
Тогда б ни одно рыло
Не знало,
Кто справился с мертвецом.*

Номах

*Ты слишком кровожаден.
Если б я видел,
То и этих двоих
Не позволил убить...
Зачем?
Ведь так просто
Связать руки
И в рот платок.*

Барсук

*Нет! Это не так уж просто.
В живом остается протест.
Молчат только те – на погостах,*

*На ком крепкий камень и крест.
Мертвый не укусит носа,
А живой...*

Номах

Кончим об этом.

1-й повстанец

Два вопроса...

Номах

Каких?

1-й повстанец

*Куда деть слитки
И куда нам?*

Номах

*Я сегодня в 12 в Киев.
Паспорт у меня есть.
Вас не знают, кто вы такие,
Потому оставайтесь здесь...
Телеграммой я дам вам знать,
Где я буду...
В какие минуты...
Обязательно тыщ 25
На песок закупить валюты.
Пусть они поумерят прыть —*

Мы мозгами немного побольше...

Барсук

Остальные зарыть?

Номах

*Часть возьму я с собой,
Остальное пока зарыть...
После можно отправить в Польшу.*

*У меня созревает мысль
О российском перевороте,
Лишь бы только мы крепко со-
шлись,
Как до этого, в нашей работе.
Я не целюсь играть короля
И в правители тоже не лезу,
Но мне хочется погулять
И под порохом и под железом.
Мне хочется вызвать тех,
Что на Марксе жиреют, как янки.
Мы посмотрим их храбрость и
смех,
Когда двинутся наши танки.*

Барсук

Замечательный план!

1-й повстанец

Мы всегда готовы.

2-й повстанец

Я как-то отвык без войны.

Барсук

*Мы все по ней скучаем.
Стало тошно до чертиков
Под юбкой сидеть у жены
И живот напузыривать чаем.
Денег нет, чтоб пойти в кабак,
Сердце ж спиртику часто хочет.
Я от скуки стал нюхать табак —
Хоть немного в носу щекочет.*

Номах

*Ну, а теперь пора.
До 12 четверть часа.*

(Бросает на стол два золотых.)

Барсук

Может быть, проводить?

Номах

Ни в коем случае.

Я выйду один.

(Быстро прощается и уходит.)

*Из кухни появляется **китаец** и неторопливо выходит вслед за ним. Опьяневшие посетители садятся на свои места. Барсук берет шапку, кивает товарищам на китайца и выходит тоже.*

Щербатов

*Слушай, Платов!
Я совсем ничего не чувствую.*

Платов

Это виноват кокаин.

Щербатов

*Нет, это не кокаин.
Я, брат, не пьян.
Я всего лишь одну понюшку.
По-моему, этот китаец
Жулик и шарлатан!
Ну и народ пошел!
Ну и племя!
Ах, Авдотья Петровна!
Сыграйте нам, Авдотья Петровна,
вальс...*

Сыграйте нам вальс
«Невозвратное время».

(Тычется носом в стол. Платов тоже.)

Повстанцы молча продолжают пить. **Кабатчица** входит с гитарой. Садится у стойки и начинает настраивать.

Часть четвертая **На вокзале N**

Рассветов и **Замарашкин**. Вбегает **Чекистов**.

Чекистов

Есть! Есть! Есть
Замарашкин, ты не брехун!
Вот телеграмма:
«Я Киев. Золото здесь.
Нужен ли арест.
Литза-Хун».

(Передает телеграмму Рассветову.)

Рассветов

Все это очень хорошо,
Но что нужно ему ответить?

Чекистов

Как что?
Конечно, взять на цугундер!

Рассветов

*В этом мало радости —
Уничтожить одного,
Когда на свободе
Будет 200 других.*

Чекистов

*Других мы поймаем потом.
С другими успеем после...
Они ходят
Из притона в притон,
Пьют спирт и играют в кости.
Мы возьмем их в любом кабаке.
В них одних, без Номаха,
Толку мало.
А пока
Нужно крепко держать в руке
Ту добычу,
Которая попала.*

Рассветов

*Теперь он от нас не уйдет,
Особенно при сотне нянек.*

Чекистов

Что ему няньки?
Он их сцапает в рот,
Как самый приятный
И легкий пряник.

Рассветов

Когда будут следы к другим,
Мы возьмем его в 2 секунды.
Я не знаю, с чего вы
Вдолбили себе в мозги —
На цугундер да на цугундер.
Нам совсем не опасен
Один индивид,
И скажу вам, коллега, вкратце,
Что всегда лучше
Отыскивать нить
К общему центру организации.
Нужно мыслить без страха.
Послушайте, мой дорогой:
Мы уберем Номаха,
Но завтра у них будет другой.
Дело совсем не в Номахе,
А в тех, что попали за борт.
Нашей веревки и плахи
Ни один не боится черт.
Страна негодует на нас.
В стране еще дикие нравы.
Здесь каждый Аким и Фанас

*Бредит имперской славой.
Еще не изжит вопрос,
Кто ляжет в борьбе из нас.
Честолюбивый росс
Отчизны своей не продаст.
Интернациональный дух
Прет на его рожон.
Мужик если гневен не вслух,
То завтра придет с ножом.
Повстанчество есть сигнал.
Поэтому сказ мой весь:
Тот, кто крыло поймал,
Должен всю птицу съесть.*

Чекистов

*Клянусь всеми чертями,
Что эта птица
Даст вам крылом по морде
И улетит из-под носа.*

Рассветов

Это не так просто.

Замарашкин

*Для него будет,
Пожалуй, очень просто.*

Рассветов

*Мы усилим надзор
И возьмем его,
Как мышь в мышеловку.
Но только тогда этот вор
Получит свою веревку,
Когда хоть бандитов сто
Будет качаться с ним рядом,
Чтоб чище синел простор
Коммунистическим взглядом.*

Чекистов

*Слушайте, товарищи!
Это превышение власти —
Этот округ вверен мне.
Мне нужно поймать преступни-
ка,
А вы разводите теорию.*

Рассветов

*Как хотите, так и называйте.
Но,
Чтоб больше наш спор
Не шел о том,
Мы сегодня ж дадим ответ:
«Литза-Хун!
Наблюдайте за золотом.
Больше приказов нет».*

Чекистов быстро поворачивается, хлопа-

ет дверью и выходит в коридор.

В коридоре

Чекистов

Тогда я поеду сам.

Киев

Хорошо обставленная квартира. На стене большой, во весь рост, портрет Петра Великого. **Номах** сидит на крыле кресла, задумавшись. Он, по-видимому, только что вернулся. Сидит в шляпе. В дверь кто-то барабанит пальцами. **Номах**, как бы пробуждаясь от дремоты, идет осторожно к двери, прислушивается и смотрит в замочную скважину.

Номах

Кто стучит?

Голос

Отворите... Это я...

Номах

Кто вы?

Голос

Это я... Барсук...

Номах

(отворяя дверь)

Что это значит?

Барсук

(входит и закрывает дверь)

Это значит – тревога.

Номах

Кто-нибудь арестован?

Барсук

Нет.

Номах

В чем же дело?

Барсук

*Нужно быть наготове,
Немедленно нужно в побег.
За вами следят.
Вас ловят.
И не вас одного, а всех.*

Номах

Откуда ты узнал это?

Барсук

*Конечно, не высосал из пальцев.
Вы помните тот притон?*

Номах

Помню.

Барсук

А помните одного китайца?

Номах

*Да...
Но неужели...*

Барсук

*Это он.
Лишь только тогда вы скрылись,
Он последовал за вами.
Через несколько минут
Вышел и я.
Я видел, как вы сели в вагон,
Как он сел в соседний.
Потом осторожно, за золотой
Кондуктору,
Сел я сам.
Я здесь, как и вы,*

Дней 10.

Номах

Посмотрим, кто кого перехитрит?

Барсук

*Но это еще не все.
Я следил за ним, как лиса.
И вчера, когда вы выходили
Из дому,
Он был более полчаса
И рылся в вашей квартире.
Потом он, свистя под нос,
Пошел на вокзал...
Я – тоже.
Преодо мной стоял вопрос —
Узнать:
Что хочет он, черт желтоко-
жий...
И вот... на вокзале...
Из-за спины...
На синем телеграфном бланке
Я прочел,
Еле сдерживаясь от мести,
Я прочел —
От чего у меня чуть не скочили
штаны —*

*Он писал, что вы здесь,
И спрашивал об аресте.*

Номах

Да... Это немного пахнет...

Барсук

*По-моему, не немного, а очень
много.*

Нужно скорей в побег.

Всем нам одна дорога —

Поле, леса и снег,

Пока доберемся к границе,

А там нас лови!

Грози!

Номах

Я не привык торопиться,

Когда вижу опасность вблизи.

Барсук

Но это...

Номах

Безумно?

Пусть будет так.

Я —

Видишь ли, Барсук, —

Чудак.

Я люблю опасный момент,
Как поэт – часы вдохновенья,
Тогда бродит в моем уме

Изобретательность

До остервененья.

Я ведь не такой,

Каким представляют меня ку-
харки.

Я весь – кровь,

Мозг и гнев весь я.

Мой бандитизм особой марки.

Он осознание, а не профессия.

Слушай! я тоже когда-то верил
В чувства:

В любовь, героизм и радость,
Но теперь я постиг, по крайней
мере,

Я понял, что все это

Сплошная гадость.

Долго валялся я в горячке адской,
Насмешкой судьбы до печенок из-
раненный.

Но... Знаешь ли...

Мудростью своей кабацкой

Все выжигает спирт с барани-
ной...

Теперь, когда судорога

Душу скрючила
И лицо как потухающий фонарь в
тумане,
Я не строю себе никакого чучела.
Мне только осталось —
Озорничать и хулиганить...

•
Всем, кто мозгами бедней и меньше,
Кто под ветром судьбы не был
нищ и наг,
Оставляю прославлять города и
женщин,
А сам буду славить
Преступников и бродяг.

•
Банды! банды!
По всей стране,
Куда ни взглядишь, куда ни пойд
ты —
Видишь, как в пространстве,
На конях
И без коней,
Скачут и идут заостенелые бан-
диты.
Это все такие же
Разуверившиеся, как я...

•

А когда-то, когда-то...
Веселым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми
руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил... я горел...
Я шел с революцией,
Я думал, что братство не мечта
и не сон,
Что все во единое море сольются,
Все сонмы народов,
И рас, и племен.

.

Но к черту все это!
Я далек от жалоб.
Коль началось —
Так пускай начинается.
Лишь одного я теперь желаю,
Как бы покрепче...
Как бы покрепче
Одурачить китайца!..

Барсук

Признаться, меня все это,

*Кроме побега,
Плохо устраивает.*

(Подходит к окну.)

*Я хотел бы:
О! Что это? Боже мой!
Номах! Мы окружены!
На улице милиция.*

Номах

(подбегая к окну)

*Как?
Уже?
О! Их всего четверо...*

Барсук

Мы пропали.

Номах

Скорей выходи из квартиры.

Барсук

А ты?

Номах

*Не разговаривай!..
У меня есть ящик стекольщика*

*И фартук...
Живей обрядись
И спускайся вниз...
Будто вставлял здесь стекла...
Я положу в ящик золото...
Жди меня в кабаке «Луна».*

(Бежит в другую комнату, тащит ящик и фартук.)

Барсук быстро подвязывает фартук. Кладет ящик на плечо и выходит.

Номах

(прислушиваясь у двери)

*Кажется, остановили...
Нет... прошел...
Ага...
Идут сюда...*

(Отскакивает от двери. В дверь стучат. Как бы раздумывая, немного медлит. Потом неслышными шагами идет в другую комнату.)

Сцена за дверью

Ч*екистов, Литза-Хун и 2 милиционера.*

Чекистов

(смотря в скважину)

*Что за черт!
Огонь горит,
Но в квартире
Как будто ни души.*

Литза-Хун

(с хорошим акцентом)

*Это его прием...
Всегда... Когда он уходит.
Я был здесь, когда его не было,
И так же горел огонь.*

1-й милиционер

У меня есть отмычка.

Литза-Хун

*Давайте мне...
Я вскрыю...*

Чекистов

*Если его нет,
То надо устроить засаду.*

Литза-Хун

(вскрывая дверь)

Сейчас узнаем...

(Вынимает браунинг и заглядывает в квартиру.)

*Тс... Я сперва один.
Спрячьтесь на лестнице.
Здесь ходят
Другие квартиранты.*

Чекистов

Лучше вдвоем.

Литза-Хун

*У меня бесшумные туфли...
Когда понадобится,
Я дам свисток или выстрел.*

(Входит в квартиру и закрывает дверь.)

Глаза Петра Великого

Осторожными шагами **Литза-Хун** идет к той комнате, в которой скрылся **Номах**. На портрете глаза Петра Великого начинают моргать и двигаться. **Литза-Хун** входит в комнату. Портрет неожиданно открывается как дверь, оттуда выскакивает **Номах**. Он рысьими шагами подходит к двери, запирает на цепь и снова исчезает в портрет-дверь. Че-

рез некоторое время слышится беззвучная короткая возня, и с браунингом в руке из комнаты выходит **китаец**. Он делает световой полумрак. Открывает дверь и тихо дает свисток.

Бегают милиционеры и Чекистов.

Чекистов

Он здесь?

Китаец

(прижимая в знак молчания палец к губам)

*Тс... он спит... Стойте здесь...
Нужен один милиционер,
К черному выходу.*

(Берет одного милиционера и крадучись проходит через комнату к черному выходу.)

Через минуту слышится выстрел, и испуганный милиционер бежит обратно к двери.

Милиционер

*Измена!
Китаец ударил мне в щеку
И удрал черным ходом.*

*Я выстрелил...
Но... дал промах...*

Чекистов

*Это он!
О! проклятье!
Это он!
Он опять нас провел.*

Вбегают в комнату и выкатывают оттуда в кресле связанного по рукам и ногам. Рот его стянут платком. Он в нижнем белье. На лицо его глубоко надвинута шляпа. Чекистов сбрасывает шляпу, и милиционеры в ужасе отскакивают.

Милиционеры

*Провокация!..
Это Литза-Хун...*

Чекистов

*Развяжите его...
Милиционеры бросаются развязывать.*

Литза-Хун

(выпихивая освобожденными руками пла-

ток изо рта)

*Черт возьми!
У меня болит живот от злобы.
Но клянусь вам...
Клянусь вам именем китайца,
Если б он не накинул на меня мешок,
Если б он не выбил мой браунинг,
То бы...
Я сумел с ним справиться...*

Чекистов

*А я... Если б был мандарин,
То повесил бы тебя, Литза-Хун,
За такое место...
Которое вслух не называется.
1922–1923*

Проза

Прозу Есенина редко включают в его одно-томники, и она практически неизвестна широкому читателю. Да и критики, как правило, ограничиваются простым упоминанием. Между тем написанная в 1915 году повесть «Яр» – это не только бытовой комментарий к его ранним стихам, но и самостоятельное художественное произведение. В те годы о людях русской деревни так не писали, и Есенин после «Яра», отвечая (1915 г.) на вопросы анкеты (речь шла об отношении к Глебу Успенскому и писателям-народникам), имел полное право говорить, что народники смотрели на мужика, как на ребенка-несмышлениша, к которому не привилось «ничего дурного». Он же, как и Глеб Успенский, изобразил героев своих сцен из крестьянской жизни «без всякой рисовки» и не с одной стороны, «а со всех».

Не слишком много внимания уделяется и очеркам Есенина об Америке. А они также чрезвычайно интересны. И главное, современные. Ведь Есенин увидел в Америке то, чего не

заметили ни Горький, ни Маяковский и что мы только-только начинаем различать и понимать:

«Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей...»

Яр

Повесть

Часть первая

Глава первая

По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.

Слабый вой и тихий панихидный переключик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.

Из чапыги с фырканием вынырнули два зайца и, разрывая снег, побежали к межам.

По коленкоровой дороге скрипел обоз; под

обротями тропыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.

Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.

– Волки, – качнулась высокая тень в подлунье.

– Да, – с шумом кашлянули притулившиеся голоса.

В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...

Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.

На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику за скрипели полозья.

– Кабы не лес крали, – ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверь, нахлобучил лосиную шапку.

В запотевшие щеки дунуло ветром.

Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.

– Кто едет? – процедил его охрипший голос.

– Овсянники, – кратко ответили за возами.

– То-то!

К кружевеющему крыльцу подбег борода-тый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.

– В чапыжнике, – глухо крикнул он, догоня сивого мерина.

Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.

– Идут, – позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.

Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.

– Эй, Фанас, – дернул его Филипп за казине-товую поддевку. – Волки пришли на свадьбу.

– Никакой свадьбы не будет, – забурукал Ваньчок. – Без приданого бери да свадьбу играй.

Филипп, засмехнувшись, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.

– Волки, говорю, на яру.

– Ась? – заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке.

Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.

– Чукан, Чукан! – крикнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачувяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.

Отворил дверь и забрызгал теплыми ва-ленками по снегу.

Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.

Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.

По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хрястнули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.

Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.

К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.

Филипп поднял было приклад, но пожалел наскреб.

В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.

Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.

Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.

На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.

Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.

Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.

По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.

Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.

«Упустил», – мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.

Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.

На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.

«Упустил-таки», – заколола его проснувшаяся мысль.

С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.

Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задргала ногами.

Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.

Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.

Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.

Филипп откинул бараний ворот.

- Откулева?
- С Чухлинки.
- Далеконько забрел.
- Да.

Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.

- Я ведь гнал-то.
- Ты?
- Я...

Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.

- Коли гнал, поделимся.

Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.

- Скидывай кожух-то?
- Я хотел тебе сказать – не замай.
- А что?

– Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.

Незнакомец весело закачал головою.

- Так ты, значит, беги за салазками.
- Сейчас сбегаяю.

Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес

ружье, обернулся на коченелого пестуна.

– А как тебя зовут-то?

– Карев, – тихо ответил, запихивая за пояс нож.

Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.

Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.

– Блюешь?..

– Брр... – задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. – Похмели меня...

– Вставай... проветришься...

Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головой в помойную лохань.

Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.

Ваньчок барахтался и, прислонясь к приitolке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.

Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.

– Медведя убили...

– Самдели?

– Без смеха.

Посоловелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.

– Ты идешь?

– Иду...

– И я пойду.

Подковылял к полатам и вытащил свою шубу.

– Пойдем... подсобишь.

Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль.

– Там выпьем.

Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.

Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С косяжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.

С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.

Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.

По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.

– Ух какой! – протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст. – Ну и лопатки!

– Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, – заговорил Филипп, – да угости прищляка тепленьким.

– А есть разве?

– Есть.

Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.

– Валяй прям из горлышка.

Тушу взвалили на салазки и закрепили тязем.

Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.

– Волков я тоже думаю взвалить.

– А где они?

– Недалече.

В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.

Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.

С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.

– Пугаются, – крикнул Филипп и скинул носу на салазки.

Крученный тяж повернулся концом под грядку.

– Эй, вставай, – крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.

– Не встану, – кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.

Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморозью промоины.

В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.

Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.

Щеки горели, за шеями таял засыпаный

снег и колोल растянутые плечи холодом.

Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.

Глава вторая

Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.

Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.

На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.

Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.

После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешенными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружок.

Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.

Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.

– Чи-их! – фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.

– К твоей милости, – низко свесился дружок.

– Зубок привез?

– Привез.

Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.

– Хорошая.

Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.

– Расколешь! – заботливо поддерживая доньшко, крикнул работник.

– Небось, – выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.

– Смачная! – лукаво мигнул работнику дружок и обернулся к попу: – Так ты, батюшка, не мешкай.

В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дья-

кон.

– На колымагу! – замахал рукою дружко. – Выходит сейчас.

– На колымагу так на колымагу, – крикнул дьякон и, подбирая засушенный подрясник, повернул обратно.

– Есть, – щелкнул дьячок под салазки.

– Опосля, опосля, – зашептал дружко.

– Чего опосля?..

С взбитой набок отерханной шапкой и обрызганным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.

– Едем.

Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.

Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорилил клювом.

– Ишь ты какой сурьезный, – говорил шепелявя дьякон, – в засычку все норовишь, не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.

Батюшка облокотился на дьячка и сел под-

ле дьякона.

– Ты больно широко раздвинулся, – заметил он ему.

Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»

– Эй, матушка! – крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. – Н-но, дьявол! – рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.

– А ты, пожалуй, нарочно уселся так, – обернулся поп опять к дьякону, – грязь-то вся мне в лицо норовит.

– Это, батюшка, Бог шельму карает, – огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.

– Тпру, тпру! – кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.

Лошади рванули, но уже не останавливались.

Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.

Дьякон, склоняясь над лужей, замывал грязь-

ный подрясник.

– Не тпрукай, дурак, когда лошади стали, – искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.

Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста – с крестной матерью.

Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с придаными сундуками гремели несправленные дроги.

Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.

Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:

– Пей, гусь, да пути не мочи.

Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.

Дьячок сидел с дьяконом и косился – как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.

Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.

Около налоя краснел расстеленный полушалак и коптело пламя налепок.

Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.

По селу давненько шушукали, что он при сватался к вдове-соседке.

Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником.

– Женится – переменится, – говорил Анисиму уважительный кум. – Я сам такой смолоду олахарь был.

Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.

Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.

Да замужества Анна спуталась со своим работником.

Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.

Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая

такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаянная боль.

Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.

В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.

Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.

Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.

Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.

Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.

На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и

согласился на найм.

Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.

Анна с батраком ходила в ригу и в два цепа молотили овес.

Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.

После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосом бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.

Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.

Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.

– Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим, – говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.

Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.

Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его.

Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепы руки твердо катились по ее телу.

Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.

Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...

Вечером на масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.

На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к нему в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.

Анна, кутаясь в шаль, стояла, склоняясь грудью на перила крыльца.

Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.

Анна обернулась и отвела его руки.

– Пойдем, – покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...

В избу вошел с веселой улыбкой Костя.

Степан, побледнев, выбежал в сени, а Ан-

на, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.

Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.

Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.

– Ничего, Степан, не бойся, – подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок, – ты парень хороший...

Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.

– Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь – я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдём посидим в шинке.

Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.

Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.

Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.

Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует,

и жене сказал. Мать заботливо пыталась, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.

Он как-то особенно нежен стал к жене.

На прощенный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.

Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.

Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.

Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.

– Ничего, – говорил он спокойно и ласково. – Завтра к вечеру все как рукой снимет.

Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.

На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.

В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.

Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушник

КОМ.

Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.

Анна присела с краю.

– Благословите меня, – сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо.

Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.

Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.

– К страстной вертайся, – сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.

Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.

Костя взял Анну за руку и зашагал по курстарниковому подгорью.

Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.

У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.

Хвои шумели.

– Ну, прощай, Анна! – проговорил тихо и кротко. – Не обижай стариков. – Немного задумался и гладил ее щеку. – Совсем я...

Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.

– Костя! – гаркнула она. – Вернись!

– Ись... – ответило в стихшем ветре эхо.

Глава третья

— Очухайся! – кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу.

Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.

Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, си-воухий кот.

– Снегом его, – тихо сказал Карев.

– И то снегом...

Филипп сгорстал путровый окоренок и, по-мыв над рукомойником, принес снегу.

Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, про-питанное солнцем, вывело синие жилы. Каре-в разделся и начал натирать. Голова Ваньч-

ка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.

В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.

От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:

– Пи-ить...

Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.

Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.

Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.

– С перепою, – тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.

Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.

Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.

Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.

Филипп вынул с полки сороковку и, ударя ладонью по доньшку, выбил пробку.

– Пей, – поднес он стакан Кареву. – Небось не как ведь Ваньчок. Самовар бы поставить, –

почесался Филипп и вышел в теплушку.

– Липа? Лип?.. – загукал его сиповатый голос. – Проснися!

Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.

Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.

Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.

– Убью, – усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.

– Не боюсь, – тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.

Лимпиаду звали лесной русалкой; она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы.

Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.

Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.

Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.

Жена его Аксинья ходила за ней и учила,

как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.

Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.

– Тетенька ушла, – сказал он ей, как они пришли из церкви. – Теперь мы будем жить с Чуканом.

Филипп сам мыл девочку и стирал белье.

Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.

– Отчего он не тает? – спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.

Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги.

Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.

Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.

На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.

– Лучше я повешусь на ветках березы, – говорила она, – чем уйду с яра.

Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаясь, к загородке и отворяла околицу.

Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого. Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.

Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:

– Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.

– А я возьму тебя и съем, – шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.

Юшка вертелся и не давал искаться.

– Пусти ты, – отпихивал он ее руки.

– Ложись, ложись, – тянула она его к себе. – Я расскажу тебе сказку.

– Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? – прищлепывая гу-

бами, выговаривал Юшка. – Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.

Самовар метнул на загнетку искрами.

– Готов, – сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.

– Славная штука, – ухмыльнулся Филипп, – рублей двести смоем... Чтой-то я тебя, братец, не знаю, – обернулся он к Кареву: – Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.

– Я пришляк, у просфирни проживаю.

– Пономарь, что ли, какой?

– Охотник.

Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.

Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.

– Зарит... – поднял блюдце Карев. – Вот сейчас на глухарей-то хорошо.

От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.

– Ишь наклюкался, – рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. –

Гусь жареный, тоже свататься приехал!

– Ох, – застонал Ваньчок и откинул полу.

– Кто там? – отворил дверь Филипп.

– Свои, – забасил густой голос.

Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.

– Есть дичь-то? – затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.

– Есть.

– А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.

– Ты, Кузьмич, отродясь такого не видел; одно слово, пестун четвертной стоит.

Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.

– Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.

Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.

– Ну, так, значит, Филюшка, двести с четвертью да за волка четверть.

– Коли не обманываешь – ладно.

Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.

– Получай, – слюнявя пальцы, отсчитывал

Он.

– Счастлив, брат, ты, – ткнул в бок Филипп Карева, – и скупщик, как нарочно, пожаловал.

Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.

– Так ты помоги, – скинул тулуп Кузьмич.

Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.

– Ишь какой здоровый! – смеялись скупщики.

– Мерина своротит, – щелкнул кушаком Филипп. – Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.

– Он убил-то?

– Он...

На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.

– Н-но! – крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, затемно поплелись шагом.

Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.

Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.

– Не надуеть проклятого.

– Хитрой мужик, – подхватили скупщики и задержали башлыками.

– Дели, – выбросил Филипп на стол деньги.

– Сам дели.

– Ну, не ломайся.

Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.

– Кто это? – мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.

– Всю память заспал, – ухмыльнулся Филипп.

– Нет, самдели?

– Забыл, каналья?

– Эй, дядя, – поднялся Карев, – аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?

– Смеетесь, – поднес к губам корец.

– А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.

К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.

– Тебе полтора ста, а мне сто, – встал Карев и протянул руку.

– Как же так?

– Так... я один... А ты с сестрой, вишь.

Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.

– Ай и скупщики были?..

– Были.

– Вон оно что...

Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.

– погоди, – останавливал Филипп, – выступишься.

– Нет, поторапливаться надо.

В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.

На крыльцо выбегла Лимпиада.

– Заходи! – крикнула она, махая платком.

– Ладно.

Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.

На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.

С дальних полян курилась молочная морока и, как рука, обвивала одинокие разбросанные липы.

– Садись, касатик, подвезу! – крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.

– И то думаю.

– Знамо, лучше... Ишь как щеки-то разгорелись.

Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.

– Что ж пустой-то?

– Продал.

– Ишь Бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.

– Да, охота хорошая.

За косогором показалась деревня.

– Раменки! – крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.

Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.

На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.

На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.

– Подбирай, бабушка! – крикнул весело и припал на постельник.

За деревней подхватил ветер и забил крапины застывающего в бисер дождя.

Баба накинула войлоковую шаль и поджала закрытые соломой ноги под поддевку; ветер дул ей в лицо.

Карев, свернувшись за ее спиной, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.

Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.

– Остановись, тетенька, закурю.

Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.

Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.

– Экай ты какой! – крикнула укоризненно баба. – Погоди уж.

Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.

– Закуривай, – оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.

Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.

Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.

Туман припадал к земле и зарывался в глубокий по ложинам снег.

Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.

За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхая тесом, карабкался застрявший обоз.

Глава четвертая

Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.

В заштопанной мешками поддевке его были защиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утонул.

Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».

Афонюшка, девятнадцатилетний парень, сделался мельником и скоро прослыл в округе как честный помолотчик.

Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.

Первые умолотые деньги положил на бож-

ницу за Егория и прикрыл тряпочкой.

В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.

Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.

– Фюи, фюи, – шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.

– Ух, ух, – лазушно хлопал крыльями сыч.

Нравилось Афоньке сидеть так.

Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.

– Придут, – говорил он, глядя мухортую собаку. – Где-нибудь и нас так поджидают.

Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.

На пятом году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шальгана Кузьку.

Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза – шесть человек.

Она оторвала от кудели ссученную нитку,

сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.

– Мотри, Богу молись, – наказывала ему.

Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.

– И далеко будем ехать-то? – спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.

– Две ночи спать будешь, – ухмыльнулся он, – а на половину третьей приедем...

Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.

Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.

– Заблудишься, – ворчал Афонька, – не броди далеко.

– Я, дяденька, не боюсь теперь, – смышлено качал желтой курчавой головой Кузька. – Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.

– Ишь какой догадливый, – смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.

По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...

Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росой.

Кузька ложился в траву и смотрел в небо.

Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.

Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок... Облаком за клубился дым.

– Где он, где он? – крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.

За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...

– Вот он, вот он! – кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой курмачной рубахи голову и прыгнул в воду.

Вода брызнула разбитым стеклом, и ливни, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.

Косач был подстрелен в оба крыла, но ле-

вое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.

Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.

– Лови, лови! – кричал Афонька. – Эх ты, сопляк, – протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам. – Гони в кусты! – кричал он, плеская брызгами.

Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиной.

– погоди, – сказал Афонька, – я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.

Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.

«Буль, буль!» – забулькало над головами лилий.

– Кши, дьявол! – гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.

Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.

Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.

У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схва-

тил косача за хвост.

Косач забился, и с водяными кругами за-
вертелись черные перья.

Один раз вечером Кузька взял ружье и по-
шел по тетеревам.

– Не нарвись! – крикнул ему Афонька и по-
плелся с кузовком за брусникой.

Кузька вошел в калиновый кустарник и
сел, сходясь, в листовую опаду.

Как застывшая кровь висели гроздья ягод;
чиликали стрекозы, и удушливо дергал дер-
гач.

Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза,
глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.

– Тех, тех, тех, – щелкал в березняке соло-
вей.

– Тинь, тинь, тинь, – откликались ему жел-
топерые синицы.

В густом березняке вдруг что-то тяжело за-
ухало и раздался хряст сучьев.

На окропленную кровяной брусникой
мшанину выбежал лось, и ветвистые рога за-
трепали где-то подхваченным поветелем.

Кузька спокойно, как стрелок, высунул за
ветку ствол и нацелил в лоб.

Ружье трахнуло, и лось как подкошенный упал на мшанину.

Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.

«Убил!» – мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным смехом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.

Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.

Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.

Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.

Пахло паленым порохом; на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.

Долго Афонька не показывался на мельнице.

Сельчане, приезжавшие с помолом, думали – он к сестре уехал.

Он глубоко забрался в глушь, свил, как

барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.

Потом он очнулся.

«Господи, не помешался ли я?»

Перекрестился и выполз наружу.

В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.

Осунулся Афонька и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкой около жернова.

Крепко задумался он – не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.

В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.

Как-то в бессонную ночь к нему пришла

дума построить здесь, в яровой ложине, церковь.

Он обвязался, как путом, кругом этой мысли и стал копить деньги.

Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.

Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.

Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.

Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.

В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.

С крыши звенели капли, около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.

– Здорово, дедунь! – крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.

Афонюшка слез с печи. Лицо его было све-

дено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.

– Здорово, – кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу, – нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал.

Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.

– Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим.

Ощипал, выпотрошил и принес беремья дров.

Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.

Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.

– Остайся, – грустно поникнул он головою. – Один я...

Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.

На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал построить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.

– Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, – толковал он с Каревым. – Всю молодость свою думал поставить церковь. Трать, – вынул он пачку бумаг, – ты как Кузька стал мне... словно век я тебя ждал.

Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.

Оба сидели на завалинке; Афонюшка, за-хлебываясь, рассказывал лесные сказки.

– Не гляди, что мы ковылем пахнем, – грустно усмехнулся он, – мы всю жисть, как вино, тянули...

– Что ж, захмелел?..

– Нема, только икота горло мышью выскребла.

К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью... лошадиным потом.

С телеги вскочил, махая голицами, мужик

и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.

Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.

Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.

Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.

Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.

Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.

Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.

В сердце светилась тихая, умиленная грусть.

В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.

– Чтоб те пусто взяло! – выругался сотский, спуская осторожно мешок. – Немудрено и

брыкнуться...

– Крута лестница-то, крута... – зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. – Обвалилась на-медни плоская-то, новую заказал.

Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.

– Сыпь! – крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.

Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.

Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.

– Хруп, – обратился он к Кареву, – спусти еще.

На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дышал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.

«Людям обрадовался», – подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.

Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.

– Что такую рваную повесили! – крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку, и

задрожала...

– Фуражка, фуражка! – застонал Афонюшка и сунулся под жернов.

Громяхающий поворот приподнял обмученный комок и отбросил на ларь.

На полу рассыпались красные ягоды.

Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя...

Глава пятая

Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.

Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.

Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.

Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.

Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки и шомонила вода.

Быстро поднялся, вскинул ружье и пошел к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.

Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихо-радочно пересчитав, кинулся обратывать ло-

шадь.

Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.

Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.

С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и махала зарукавником.

Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.

– Дома?

– Тут.

Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.

– Ставь! – крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.

Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.

С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.

– Хватит! – крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу.

– Вот что, Филюшка, – сказал он, расстегивая пиджак, – Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.

Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.

– Что ж надумал? – обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.

– Школу на Раменках выстроить...

– Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...

– Так и я думаю... сказать обществу, чтобы выгоняли подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.

От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.

Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.

Закрасневшись, она робко вскидывала

свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.

Она сама не знала, почему не могла смотреть на прищляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.

Но бывало, он пропадал и не являлся к ним неделями.

Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.

Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.

Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.

Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый качатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.

В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.

В прозрачной тишине ему ясно слышались крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.

– Кто там? – крикнул он, откидывая кошель.

– Я... – тихо и кратко было ответом.

– Кто ты?

– Я...

– Я не знаю, кто ты, – смеясь, зашевелил он кудрявые волосы. – А если пришел зачем, так подходи ближе.

Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.

– Чего ж ты таишься?

К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.

– Так, – брызнул он сквозь зубы слюну.

Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.

– Ты бел, как мельник, – сказал отрывисто парень. – Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь... Ты сегодня не ел калину?

Карев качнул головою.

– Я не собирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.

– Что ж ты здесь делаешь? – обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.

– Дорогу караулю...

Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.

– Зря все это...

Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунию ступеньку.

– Как тебя величают-то?..

– Аксютка.

Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.

– Правда, Аксютка... Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.

– Чай хочешь пить? – поднялся Карев.

– Не отказываюсь... Я так и норовил к тебе ночевать.

– Что ж, у меня места хватит... Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил... она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней... Расставь-ка таганы, – указал он на связанные по верхушке три кола.

Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махаю-

ций полотенец.

Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.

– Не воруй, Аксютка, – сказал, загоразживаясь ладонью от едкого дыма. – Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи... поймают тебя, избьют, зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем ужокошат.

Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплеываясь, улыбался.

– Ладно тебе жалеть-то, – махнул он рукой. – Либо пан, либо пропал!

Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.

– Ох, – повернулся Аксютка, – хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.

– Ну-ка...

Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.

– Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.

С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отды-

хоть сядешь, не дреми.

В корогоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.

Прослышал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.

С ней шла годов восемнадцать али меньше того внучка.

Я и так к девке, и этак, – отвиливает чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.

Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.

Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.

Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей; да чтоб того... незаметно было.

Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю.

Смотри, мол, карга, какой я путевый; внучка-то твоя как исповедуется со мной.

Стала и бабка со мной про Божеское затевать, а я начал ей житие преподобных расска-

зывать. Помню, как рассказал про Алексея Божьего человека, инда захныкала.

Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло.

Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.

Полеглись мы кой-как на полу; я в углу, а они посередке.

Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.

Ощупал и тихонько к изголовью подполз.

Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то...

А она, старая, хотела повернуться, да почувяла мою руку и крикнула.

Спугался я, в горле словно жженный березовый сок прокатился.

Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне.

Хвать старуху за горло и туловищем налег...

Под пальцами словно морковь переломи-

лась.

Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать...

Вперед пойду – по спросу урядники догадуются; назад – люди заметят... Повернул я направо и набрел через два дня на село.

Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался с пенька и царапался о щипульник; ночью все старуха бластилась и слышалось, как это морковь переломилась...

Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...

Вошел, снял картуз и уселся за столик.

Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко «жулика». «Из своих», – подумал я и лукаво подмигнул.

– А, Иван Яклич! – поднялся он. – Какими судьбами?..

– Такими судьбами, – говорю. – Иду Богу молиться.

Сели мы с ним, зашушукались.

– Дельце, – говорит, – у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обрабатываем. «Была бы только ноченька сегодня потемней».

Ехидно засмеялся, ощутив гнилые, как су-
ровикой обмазанные зубы.

Сидим, пьем чай, глядим – колымага подъ-
ехала, из колымаги вылез в синей рубахе му-
жик и, привязав лошадь, поздоровался с хо-
зяйкой.

Долго сидели мы, потом мой хлюст морг-
нул мне, и мы, расплатившись, вышли.

– К яру пойдем, – говорит он мне. – Слышал
я – ночевать у стогов будет.

Осторожно мы добрались до стогов и уку-
тались в промежках...

Слышим – колеса застучали, зашлепали
копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.

Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели
гужи.

Ночь и впрямь, как в песне, вышла тем-
ная-претемная.

Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет. «Не
спит все», – думаю.

Тут я почувал, как по щеке моей проползла
рука и, ущипнув, потянула за собой. Подполз-
ли к оглоблям; он спал за задком на веретье.

Я видел, как хлюст вынул из кармана чек-
мень и размахнулся...

Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.

Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.

– Да, – протянул Аксютка, – как вспомнишь, кровь приливает к жилам.

Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.

– Что же дальше-то было?

Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара.

– Ну и дока! – прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.

Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.

Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...

Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги.

Покуль я развязывал, он ему штук пять во-

гнал.

Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку, – я размахнулся и через спину угодил, видимо, в самое его сердечушко...

Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю да так... и Богу душу отдал.

Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.

Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи, и ухал филин.

Глава шестая

На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.

Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.

– Кто-то идет, – оглянулся Аксютка, – кажись, баба, – и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.

Карев увидел, как по черной балке дороги

с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.

Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.

– Какая ты сегодня нарядная...

– А ты какой ненарядный, – рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.

Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почувал, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показать рыбу.

– Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...

– Во-во! – замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.

– Ведь он ворища, – указала пальцем на него. – Ты небось думаешь, какой прохожий?..

– Нет, – улыбнулся Карев, – я знаю.

Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав.

– Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?

– К кому ж мы пойдём?

– Как к кому?.. Там у меня тетка...

– Хорошо, – согласился он, – только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.

Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.

С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.

– Ну, теперь садись с нами к костру, – шумнул Карев. – Да выбирай зараня большую ложку.

Лимпиада весело хохотнула и указала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.

– Аксютка, – крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, – иди, поищу!

Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.

Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.

Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.

Карев сидел в углу и смотрел, как девки,

звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.

В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.

Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.

Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.

«Подружки голубушки, – выговаривал, как камышовая дудка, гребешок, – ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».

– Будя, – махнула старуха, – слезу точишь.

Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.

– В расходку! – кричал в новой рубахе Филипп. – Ходи веселей, а то я пойду!

Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.

На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.

С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая,

с дробью ударял каблуками.

В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.

– Ух, леший тебя принес! – засуетился обидчиво Филипп. – Весь пляс рассыпал.

Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.

– Ты не ругайся, – сдавил он мехи, – а то я играть не буду.

– Ты чей же будешь, касатик? – подвинулась к Кареву старуха.

– С мельницы, – ласково обернулся он.

– Это что школу строишь?..

– Самый.

– Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь... Ведь ты нас на воздуси кинаешь – звезды, как картошку, собирать.

Карев перебил ее и, отмахиваясь руками, стал отказываться:

– Я тут, как кирпич, толку... Деньги-то ведь не мои.

– Зрящее, зрящее, – зашамкала прыгающим подбородком. – Ведь тебе оставил-то он...

Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.

За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.

Аксютка запер хату и пошел в Раменки.

Ему хотелось напиться пьяным и побуяннить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.

Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.

– Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал! – крикнула она и пнула в лицо ногой.

Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем; каждый думал – как вырастет, пойдет к нему в шайку.

– Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые, – говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, – потому знает, что я крепче всех люблю его.

– А я кашеваром буду, – тянул однотонно Федька, – Ермаком сделаюсь и Сибирь завуюю.

– Сибирь, – передразнивал Микитка. – А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Си-

бирь-то, уж ты это не говори.

– Ты все сычишься наперед, – обидчиво дернул губами Федька. – Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок что хошь сделает.

– Поди-ка съешь кулака, – волновался Микитка. – А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. Это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накость...

Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.

Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.

– Где ж Аким-то? – спросил, оглядывая пустую лежанку.

– У свата.

– Обсусоливает все, – смеясь, мотнул головой.

– Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...

Надел фуражку и покачнулся от ударивше-

го в голову хмеля.

– Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драчонку, да все вышли. Оладьями, хошь, угощу?

Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду. Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.

У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить его в голову.

Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронка, кровь.

Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.

Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.

– Бей живореза! – кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.

Упал и почувал, как на грудь надавили тяжелые костяные колени.

Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежащему обухом около шеи.

Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной...

– Эх, Аксютка, Аксютка, – стирал кулаком слезу старый пономарь, – подломили твою бедную головушку!.. Что ж ты стоишь, чертовка! – ругнул он глазающую бабу. – Принесла бы воды-то, живой, чай, человек валяется.

Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.

– Подкачнуло тебя, окаянного. Мою душу загубил и себя потерял до срока.

– То-то не надо бы горячиться, – укорял пономарь. – Оно, вино-то, что хошь делает.

Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.

– На... а... мель... – дрогнул он всем телом и упал навзничь.

– На мельницу, вишь, просится, – жалобно заохала бабка. – Везите его скорей...

Парень, бивший топором Аксютку, болезненно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.

Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксют-

ки водой.

Вода лилась с подбородка струей и, словно подоженная, брызгала на кончике ало-стью...

Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.

Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы, и к крыльцу подъехали с Аксюткой.

Он почувал, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.

– Ложись, ложись, – шептал бледный, как снег...

Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину.

Аксютка встал и провел по губам рукой...

– Поди... – глухо прошептал, поманув Карева. – Хвастал я... никого не убивал, – закашлялся он. – Это я так все... выдумал...

Карев прислонил к его голове мокрую тряпку.

Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц.

На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.

– Липа! – крикнул Аксютка, хватаясь за грудь. – Сложи мне руки... помирать хочу...

Лимпиада, с красными глазами, подбежала к постели и опустилась на колени.

– Крест на меня надень... – опять глухо заговорил он. – В кармане... оторвался... Мать надела.

Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста.

Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер.

За окошком кугакались совы.

Часть вторая

Глава первая

Покосилась изба Анисима под ветрами, погнулся и сам старый Анисим.

Не вернулся Костя с охоты, а после Пасхи пришло письмо от вихлюйского стрелка.

Почуял старый Анисим, что неладное при-

несло это письмо, еще не распечатывая.

«Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву, я знал хорошо твоего сына и спяшу с скорбью поведать, что о второй день Пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью.

На льду осталась его шапка с адристом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли».

Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхла.

Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее.

Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила.

Старушка мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу сорокоуст.

Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду.

– Мать скорбящая, – молился Анисим, – не отступись от меня.

В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею.

Анисим махал над шеей рукой и думал, что его кусает муха.

– Жалко, жалко, – мотал рыжей бородой дьякон, – только женили и на поди какой грех.

– Стало быть, Богу угодно так, – грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе. – Видно, на роду ему было написано. От судьбы, говорится, на коне не ускачешь.

Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось.

– Пусти меня, Анисим, – сказала она мужу. – Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новопреставленного Константина.

Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал.

«Тоскует Наталья, – думал он, – не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то».

Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на кудели и привесила с донцем у бруса.

Пусть, мол, как уйду, поминают.

Утром, в петровское заговенье, она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала

ла их в холщовую сумочку.

Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться.

В обеда старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени.

От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном.

– Прости Христа ради, – обняла она за шею Анисима. – Не знаю, ворочусь ли я.

Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу.

– А ты все-таки того... – ласково обернулся к ней. – Помирать-то домой приходи.

Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль.

– Анна, – позвала она бледную сноху, – по-ди, я тебя благословлю.

Анна вышла и, падая в ноги, зарукавником прикрыла опухшие глаза.

– Господь тебя благословит. Пройдет сорокоуст, можешь замуж итить... Живи хорошенько. Пойдем, – крикнула она Анисиму, – за околицу проводить надо.

Анна надела каратайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю.

– А ты нет-нет и вестку пришли, – тягуче шептал Анисим, – оно и нам веселей станет. А то ведь одни мы...

Тихо, тихо... В смолкших травах чудилось светлое успокоение... Пошла, оборачиваясь назад, и, приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли.

От сердца как будто камень отвалился.

С спокойной радостью взглянула в небо и, шамкая, прошептала:

– Мати Дево, все принимаю на стези моей, пошли мне с благодатной верой покров твой.

Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу.

Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рожи; он еще смотрел, и застывшие глаза слезились.

– Пойдем, папаша, – дернула его за рукав Анна. – Теперь не воротись ведь.

Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел.

– Не надо мне теперь землю, – говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле. –

Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь, выходить все равно придется.

– Тебе видней, – отвечала Анна. – Знамо, теперь нам мускорно.

Покорился Анисим опутавшей его участи. Ничего не спихнул со своих ссутуленных плеч.

Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца.

Анна позвала Степана посмотреть выколо-сившуюся рожь.

Степан взял на зубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной.

– Что ты думаешь делать? – спросила она его.

– Не знаю, – тихо качнул головою и застегнул ослабленный ремень.

– Я тоже не знаю, – сказала она и поникла головою.

Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резеде.

– Хорош урожай, – сказал, срывая колос, Степан. – По соку видно, вишь, как пенится.

Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись смежи, потонула, окутанная рожью.

– Ищи! – крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю.

– Где ты? – улыбаясь, подымался Степан.

– Ау, – звенел ее грудной голос.

– Вот возьму и вырву твои глаза, – улыбался он, посадив ее на колени. – Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя.

– Не мели зря, – зажимала она ему ладонью губы. – Ведь я ослепну тогда.

– А я тебя водить стану, – отклонял он ее руку, – сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна: подайте, мол, Аннушке горькой, которая сидела тридцать три года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки.

Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховик и, бросив поводья без привязи, вбежал в хату.

– Степан, – крикнул он с порога, – скорей, мать помирает!

Степан надел картуз и выбежал в сени.
– погоди, – крикнул он, – сейчас обратую!
Лошади пылили и брызгали пенным по-
том.

Когда они прискакали в село, то увидели,
что у избы стояла попова таратайка.

В избе пахло воском, копотливой гарью и
кадильным ладаном.

Акулина лежала на передней лавке. Глаза
ее, как вшитая в ложбинки вода, тропыха-
лись.

Степан перекрестился и подошел к матери.
Родные стояли молча и плакали.

– Степан, – прохрипела она, – не бросай
Мишку...

Желтая свечка задрожала в ее руках и упа-
ла на саван.

Одна осталась Анна. Анисим слез с печи,
надел старую хламиду и поплелся на сход.
Она оперлась на подоконник и задумалась.
Слышно, как тоненько взвенивала осокой ре-
ка и где-то наянно бухал бучень.

«Одна, совсем одна, – вихрились в голове
ее думы, – свекор в могилу глядит, а у Степана

своя семья, его так и тянет туда.

Теперь, когда померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана живая могила.

Бог с ним, – гадала она, – пускай делает как хочет».

В душе ее было тихое смирение, она знала, что боль, которая берedit сердце, пройдет скоро и все пойдет по новому руслу.

К окну подошел столяр Епишка. Он него пахло водкой и саламатой.

– Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?

– Так, Епишка, – грустно улыбнулась она. – Невесело мне.

– Али Иван-царевич покинул?

– Все меня бросили... А может, и я покинула.

– Не тужи, красавица! Прискачет твой суженый, недолго тебе томиться в терему за творчатом.

– Жду, – тихо ответила она. – Только, видно, серые волки его разорвали.

– Не то, не то, моя зоренька, – перебил Епи-

шка, – ворон живой воды не нашел.

Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи, кровь старая, подожгла она его старое тело, и не узнала Анна своего свекра.

Ходил старик на богомолье к Сергию Троице, пришел оттолева и шапки не снял.

– Вот что, – сказал он Анне, – нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи. Не вернется наша бабка. Почуял я.

Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел.

Возил воду, колол дрова и молился за Костю.

– На старости спастись пришел, – шамкал беззубый седой игумен, – путево, путево, человече... В писании сказано: грядущего ко мне не изжену вон, – Бог видит душу-то. У него все мысли ее записаны.

Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена.

По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную пи-

сульку.

«Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушинься.

Я молюсь за тебя Богу, дай тебе Он, Милосердный, силы и крепости.

Житье мое доброе и во всем благословение Божьей Матери.

Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она... Утиральник твой получил... спасибо... Посылаю тебе артус, девятичиновную просфору, положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой, это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно».

Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке.

По селу заговорили, что она от Степки забрюхатела.

Глава вторая

Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.

Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку,

который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.

Пасик – еланка и орешник – место буерачное и неприглядное.

Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов.

Весной там паслись овцы и в рытых землянках жили пастухи.

Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами.

Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева.

– Далеко?

– Да в Чухлинку, – сердито махнул он, заворачивая к мельнице. – Отрезали ведь, – поморщился и стер со лба остывающий пот.

– Плохое дело...

– Куда хуже.

– Ты погоди ехать в Чухлинку, – сказал Карев. – Попьем чай, погугорим, а потом и я с тобой поеду.

День был ветреный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли.

Филипп отпустил повод, завязал его за ог-

лоблю и отвел лошадь на траву.

Летняя томь кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер.

– Ох, – говорил Карев, – теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что! Подкупил их помещик, отмерили ему этой астролябией без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают: не смекнут мужики.

– Где смекнуть второпах-то, – забуробил Филипп, – тут все портки растеряешь.

– Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки... Нужно вот только посмотреть бумаги – как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано – плевое дело. У нас на яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины, а в старину земли делили не как сейчас делят.

– Говоришь – война будет, значит, не миновать... Кто их знает: целы ли бумаги.

Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.

Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.

Дорога кисла киселем, и грязь обдавала се-

доков в спины и в лицо.

Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник мох, и веяло пролетней вялостью.

Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.

Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.

– На сход! – кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.

Скоро оравами затонакали мужики и, следом за ними, шли, поникнув, пожилые вдовы.

Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.

– Православные, – заговорил он, – Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.

Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.

Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.

Порешили выписать инженеров и достать

бумаги.

Карев опасался, как бы бумаги не пропали.

Он искал старожилков и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.

Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую – крестьянам.

– Уж ты выручи нас, – говорили мужики, – мы тебя за это попомним...

Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.

– Ничего мне не надо, табак пока у меня всегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.

Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.

– Одурачить-то мы их одурачим, – возвращался он к старому разговору, – вот только б бумаги не подкашляли...

Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над вареж-

кой спицами.

Ставни скрипели, как зыбка.

Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.

Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.

– Ты что ж это околицу-то прозевала, – весело поздоровался Карев.

Лимпиада, покрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.

– Забылася, – стыдливо ответила она.

– Эх ты, разепа, – шутливо обернулся он, заглядывая ей в глаза.

Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змейскую струйку.

– Гыть-кыря! – пронеслось над самым окном.

– Кто это? – встрепенулся Филипп. – Никак пастухи... Федот, Федот, – замахал он высокому безбородому, как чухонец, пастуху, – ай прогнали?

– Прогнали, – сердито щелкнул кнутом на

отставшую ярку пастух.

– Вот, сукин сын, что делает, – злобно вздохнул Филипп, – убить не грех.

– На Афонин перекресток гоним! – крикнул опять пастух. – Измокли все из кобеля борзого... петлю бы ему на шею.

Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.

Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокреть.

– Пойдем в лес сходим, – сказал Филипп. – Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.

Сосны пряно кадили смолой, красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.

– Ау! – крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.

– У-у-у! – прокатилось гаркло по освеженному лесу.

Карев отбежал и потрянул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лим-

пиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.

– Недаром тебя зовут русалка-то, – захохотал он, – ты словно из воды вышла.

Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера...

Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.

– Проиграет твое, – говорил робко работник. – Там за них какой-то охотник вступился – бедовая, говорят, голова.

Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.

– Знаю я вас, мошенников... михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.

– Я ничего, – виновато косился работник, – я сказать тебе... может, сделаешь что...

Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха:

– Деньги только драть с хозяина. Опять не чистил, скотина... Заложил живо овса!..

Конюх, суется, тыкался в ларь, разгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру.

Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри.

– Ты еще что мешаешься! – ткнул ее помещик ногой. – Вон пошла, стерва!

«Ишь черт дурковатый, – думал конюх, – не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!»

– А где он живет? – обратился к вошедшему за метлой работнику.

– Он живет в долине, на Афонином перекрестке, помол держит.

– Так, так, – кивал головой конюх, – сказывают, охотой занимается еще.

– Так ты вот что, Прохор, – обратился помещик к конюху. – Заложь нам гнедого в тарантас и сена положи. А ты, брат, пей поскорей чай да со мной поедешь.

Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас и с сиденья грузно вывалился барин.

Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле.

«Хитрит, – подумал Карев, – не знает, с чего начать».

– Трудно, трудно ужиться с мужиками, – говорил он, качая трость. – Я, собственно... –

начал он, заикнувшись на этом слове, – приехал...

– Я знаю, – перебил Карев.

– А что?

– Хотите сказать, чтобы я не совался не в свои сани, и пообещаете наградить.

– Н-да, – протянул тот, шевеля усом, – но вы очень резко выражаетесь.

– Я говорю напрямую, – сказал Карев, – и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку.

Помещик сузил глазки и стал прощаться.

Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз.

– Гони сильней! – ткнул он его ногой.

– Больше некуда гнать, – оглянулся работник, – и ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь.

Глава третья

Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес.

Мужики собрались на сходку и порешили косить луга.

Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в по-

ловодье на делянках ямы.

Они осторожно, не снимая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.

К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.

По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.

За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.

Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.

Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали вовнутрь сундучок с посудой и снедью.

Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.

В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.

– А я и работника не наймал, – говорил он, улыбаясь издалека. – На тебя надеялся... Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а

ежели Кукариху скинуть – и того меньше...

Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.

– А я уж вилы готовлю.

Филипп по порядку отыскал четвертную стоянку и завернул на край.

У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.

– Трава хорошая, – зашептал Филипп, раздувая костер. – Один медушник и кашка.

– А по лугам один клевер, – заметил старик. – И забольно так по впадинам чесноком череда разит.

Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.

Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.

Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.

*Милый в ливенку играет,
Сам на ливенку глядит,
А на ливенке написано:
В солдатушки итить.*

Карев пил из железной кружки чай и, об-

жигая губы, выдувал колечко.

Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.

Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.

Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.

Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.

Зарило.

– У... роса-то, – зевнул Филипп, – пора будить.

Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.

– Костя... а Кость... – трепал он за ногу. – Кость...

Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.

– Ого-го-го... вставать пора, – протянулось по стоянке.

Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Ка-

реву.

Косы звякнули, и косари разделились на полувьти.

– Наша вторая полувьть, – подошел к Филиппу вчерашний старик. – Меримся, кому от краю.

Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.

– Мой конец, – сказал старик, – мне от краю.

– Ну, а моя околь, – протянул Филипп, – самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.

– Бреди за ним по чужому броду, – указал он Кареву на старика, – меряй да подымай ко-су.

Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь: на них прилип слет трав и роса.

– А коли побредешь, – пояснил старик, – так держи прям и по цветкам норови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.

Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику – три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы фуражку,

поднял ее.

По росе виднелся широкой прошивой вырезанный след.

Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.

Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.

На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.

Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.

– Вж... Вж... – неслоь со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.

Пахло травой, потом и, от слюнявых брусниц, глиной.

– Ох и жара! – оглянулся Филипп на солнце. – До спада надо скосить. С росой-то легче.

Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой озеру и стал ополаскивать.

Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него.

Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец.

Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло, как плеть, что-то серое, и по косе алой струйкой побежала кровь.

– Утка, – поднял он, показывая ее Кареву, за синие лапы.

Из горла капала кровь и падала на мысок сапога.

С двумя работницами пришла Лимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел.

– Прось, – обратилась к высокой здоровенной бабе, – ты сходи за водой, а мы здесь кашу затогарим.

Костры задымили, и мужики бросили косить.

Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой, за ним следом.

– Дед Иен, погоди! – крикнул отставший Филипп. – Дакось понюхаем из табакерки-то.

К вечеру по окошенному лугу выросли копны, и бабы пошагали обратно домой.

Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком.

Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку.

– Эво, что захотели! – тыкал в нос щепоть зеленого табаку. – Вот кабы вы Петруху Ефремова послушали, так он вам наврал бы – приходи любоваться.

– Ну и ты соври что-нибудь, – засмеялся Филипп. – Ты думаешь – мы поверять, что ль, будем.

Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву.

– Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Стадал поп собаку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, в Америку, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто рублей, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть». Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Да тулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, знычит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится: «Отпри-де, поп, ворота». Глазеет поп. Иван поче-

сал за ухом и грить попу: «Эх, батько, вышколили твою собаку, хлеще монаха псалтырь читала, только, каналья, и зазналась больно, не исть хлебушка, а давай-подавай жареного мяса. Так и так грю ей, батько, мол, наш не ахти богач, зря, касатка, не хныдучи. Никаких собака моих делов не хочет гадать. „К ирхирею, гарчит, побегу, скажу про него, гривана, что он с кухаркой ёрничает“. Спугался я за тебя и порешил ее». – «Молодчина, – похвалил его поп. – Вот тебе еще сто рублей».

Дед Иен кончил и совал в бок соседа.

– Ну-с, Кондак, это только присказка, а ты сказку кажи.

Мужики слухали и, затаив дыхание, сопе-ли трубками.

Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью.

Просинья тыкала в лапти травяниковые оборки и, опустив ноги на пенек, поправляла портянку.

Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за гру-

ди.

– Ай да старик! – засмеялись бабы.

– Ах ты, юрлов купырь! – ухмыльнулась Просинья. – Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю.

Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать.

Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу.

Просинья подошла к телеге, взяла впотайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу.

С муканьем проходили коровы, и на скосе дымился помет.

Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету.

Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла.

Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие.

Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш.

Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было.

«Не выскочила ли? – подумал он. – Кажет-

ся, никуда не ховал».

Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ, и сквозь дырочки стали смотреть...

– Ишь где оставил, – гуторил про себя Иен, – забывать стал... Эх-хе-хе!

Он снял крышку и зацепил щепоть... Глаза его обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое.

В нос ударило поганым запахом, он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку.

– Ах ты, нехолявая! – ругал он Просинью. – Погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почувешь в жилах.

– Сено перебивать! – закричали бабы и бросились врассыпную по полям.

Карев взял грабли и побежал с Просиньей.

Лимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан.

– Ты куда же? – крикнул ей Филипп. – Там ведь Просинья.

Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды.

– Трусси, трусси! – кричал ей издалека Ка-

рев. – Завтра навильники швырять заставим.

Лимпиада оглядывалась и, не перевертывая сена, метила, как бы сбить Просинью и стать с Каревым.

Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им.

– Ты ступай вперед, – сказала она ей, – а я здесь догребу.

– Ишь какая балмошная! – ответила Просинья. – Так и норовит по-своему.

– Девка настойчивая, – шутливо кинул Карев.

– Молчи! – крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну.

Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти и, развеваясь, запылился сарафан.

– Догонит, догонит! – кричала Лимпиаде с соседней гребанки баба.

Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну.

Лимпиада почувствовала, как забилося ее сердце, она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать.

В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки,

прошептал:

– Будя...

Глава четвертая

Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики.

Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики.

Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики.

Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу.

Приподняв картуз, Карев побрел за ним.

Был праздник, мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком сядились галки.

Около чащи с зарябившегося озера слетели утки и, со свистом на полете, упали в кугу.

Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду.

– Пей, – нукал он свою палку, – волк пришел, чуешь – пахнет? Поди сюда, – поманил он пальцем Карева.

Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку.

– Ты поп? – бросил он ему, сверкая глаза-

ми.

– Нет, – ответил Карев, – я мельник.

– Когда пришел? – замахал он раздробленной палкой по траве.

– Давеча.

– Дурак.

Красные губы подернулись пьяницей, а подбородок задергал скулами.

– Разве есть давеча? Когда никогда – нонче. Дурак, – крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку, и, сунув ее меж ног, поскакал на гору.

– Отгадай загадку, – гаркнул он, взбираясь на верхушку: – За белой березой живет таратай.

– Эх, мужик-то какой был! – сказал, проезжая верхом, старик. – Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена... «Это, грил, враки, что Бог на небе живет». Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе. Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки сохе пожар. Мы, бывалоча, за меру картошки к дьячку ходили азбуки

узнать, а болей не моги. Ин, можа, и к лучшему, только про Бога и шамкать не надо.

Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос:

Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я.

С горки шли купаться на бочаг женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка.

Кто-то, махая мотней, нес, сторбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром.

Но скошенной луговине, у маленького высыхающего озера кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы.

Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озеру. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные, с утиными носами, щуки.

«Ух, сколько!» – ужаснулся он про себя и стал раздеваться.

Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом.

Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них.

Щуки бились, и надутые половинки означались, как обрубленные ноги.

– Вот и уха, – крякнул он, – да тут, кажется, лини катаются еще.

Не спалось в эту ночь Кареву.

«Неужели я не вернусь?» – удивлялся он на себя, а какой-то голос так и пошептывал: «Вернись, там ждут, а ты обманул их». Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна.

«Нет, – подумал он, – не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жисть надо, – кружилось в его голове, – так делать, как делаешь слуги в колымаге».

Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я хвастал...» – кольнула его предсмертная исповедь.

Ему вспоминался намеднишний вечер, как дед Иен переносил с своего костра плахи к ихнему огню, костер завился сильнее, и обгоревшие полена дольше, как он заметил,

держали огонь и тепло.

Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос.

– Горим! – крикнул, почесываясь, парень. – Пожар!

Карев обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки.

Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнались лошадей на село.

– Эй, э-эй! – прокатилось. – Вставай тушить!

К шалашу подъехал верхом Ваньчок.

– Филипп! – гаркнул он над дверью. – Ай уехали?

– Кистинтин здесь, – прошамкал, зевая, дед Иен. – Что горит-то?

– Попы горят, – кинул Ваньчок. – Разве не мекаешь по кулижке?

– Ано словно и так, да слеп я, родной, стал, плохо уж верю глазам.

– Ты что, разве с пожара? – спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз.

– Там был, из леса опять черт носил, целый пятерик срубили в покос-то.

– Кто же?

– Да, бают, помещик возил с работниками, ходили обыскивать. А разве сыщешь... он сам семь волков съел. Проведет и выведет... На сколько душ косите-то, – перебил разговор он, – на семь или на шесть?

– На семь с половиной, – ответил Карев. – Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила.

– Ого, – протянул Ваньчок, – попаритесь. Липка-то, чай, все за ребятами хлыщет, – потянул он, разглаживая бороду.

– Не вижу, – засмеялся Карев. – Плясать вот – все время пляшет.

– Играет, – кивнул Ваньчок. – Как кобыла молодая.

Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком.

– Чайничек бы догадался поставить, – обернулся он, слезая с лошади.

– Ано на зорьке как смачно выйдет: чай-то, что мак, запахнет.

Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена.

Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной.

Труском подъехал к перевозу и стал в очередь.

Мужики, столпившись около коровьих загонов, на корточках разговаривали о чем-то и курили.

Вдруг от реки пронзительно гаркнул захлебывающийся голос: «Помогите!»

Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на середине реки увидели две барахтающиеся головы.

Кружилась корова и на шее ее прилипший одной рукой человек.

– Спасайте, – крикнул кто-то, – чего ж глядеть-то будем!

Но, как нарочно, в подвозе ни одной не было лодки.

Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом, трубкой.

Филипп скинул с себя одежду и телешом бросился на мост.

Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им.

Но заметить было нельзя, их головы уже тыкались в воду.

Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим; мужик бледномертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух.

Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде.

Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу.

Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну.

Филипп чувал, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками.

Он задыхался, быстринна сносила его, кружа, все дальше и дальше под исток.

Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору.

Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть... Тут ли?

Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось.

– Батюшки, – крикнул перевозчик, – мерт-

вые!

Как подстреленного сыча, Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу.

На берегу, засучив подолы, хныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке. В лодке на беспорядочно собранном неводе лежали два утопленника.

С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и, все время спотыкаясь, летел кубарем.

– Откачивай, откачивай! – кричали бабы и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали.

Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее.

– Что ты, родимец те сломай, уродуешь его? – подбежала какая-то баба. – Дакошь я те стану ковырять морду-то!

– Уйди, сука, – замахнулся мужик кулаком. – Сам знаю, что делаю.

Он поднял палку еще выше и ударил с силой по ляжкам.

Из носа Филиппа хлынула кровь.

– Жив, жив! – замахали сильнее еще бабы и стали бить кругом ладошами.

– Что, стерва, – обернулся мужик на подстревшую к нему бабу, – каб не палка-то, и живому не быть! Измусолить тебя надуть!

– А за что?

– Не лезь куда не следует.

Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться.

– Рубахи? – обернулся он к мужику.

– Там они, не привозили еще.

Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины.

– Пей, – поднесла она, наливая кружку Филиппу. – Уходилса, ин лучше станет.

Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть.

Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой.

Филипп телешом стал, покачиваясь, в сторонку и попросил мужика закурить.

Мимо, болезно взглядывая, проходили девки и бабы.

– Прикрой свои хундры-мундры-то, – подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подавала ему свою шаль.

Его трясло, и солнцепек, обжигая спину,

лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила.

С подтянутого парома выбегли приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи.

С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой.

– Ничего, ничего, – говорил, поддерживая его, мужик, – к вечеру все пройдет.

Народ радостно заволновался: косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать.

Глава пятая

– Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь! – говорил, хлебая чай, Ваньчок.

– Болтай зря-то, – вылез из шалаша дед Иен.

– Сичас только Ляля приехал.

– Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, с вина катался так.

– Эй, заспорили! – гаркнул с дороги мужик. – Не слышали, что Филька-то утонул.

– Мели, – буркнул дед.

– Пра.

Мужик сел, ковыляя, на плаху и стал за-

вертывать папироску.

– Не верите, псы... Вот и уговори вас. А ведь на самом деле тонул.

И начал рассказывать по порядку, как было.

– И ничего, – заметил он. – Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, баил аптешник, полежит малость.

– Полежит, это рай! – протянул дед Иен. – А то б навечно отправился лежать-то. Со мной такой случай тоже был. В Питере, знычит, на барках ходили мы. Всю жисть помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело, достаться черту воду возить. Тогда проклянешь отца и матерю.

– А вправду это черт возит воду на них? – прошептал подползший малец.

– Вправду? Знамо ненароком.

– Мне так говорил покойный товарищ – во доливом были вместе, – что коли тонет человек, то, знычит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.

– Кто это? – переспросил малец.

– Кто?.. Про кого говорить нельзя на ночь.

Дед поднял шапку и обернулся к зареву.

– А прогорело, – сказал он, зевая.

– А как же обманывает-то? – спросил Ваньчок. – Ведь небось не сразу узнаешь.

– Эва, – протянул дед Иен. – Разве тут помнишь чего!

Ехали мы этось в темь, когда в Питере были; на барке нас было человек десять, а водоливов-то – я да Андрюха Сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся Сова. Быдто тут, думаю. А он вышел наверх да с лоцманом там нализался как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся – нет Сова. Пойду, спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу – лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» – спрашиваю его. «Дело, грить, делаю: Сова сейчас утопился». Я туды, я сюды, как на грех, нигде багра не сыщу. Кричу, махаю: кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили, стали мы шарить, стали нырять, де-то, де-то и напали на него у затона.

Опосля он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал.

«Упал, – говорит, – я как будто с неба на

землю; гляжу: сады, все сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафа-то на баб». А распутный был, – добавил дед Иен, кутаясь в поддевку. – Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места... ахальник.

«Эх! – говорит. – Взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно, идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такой и не было. Идет, как павочка, каблуками сафьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алы губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит: „Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет“. Как назвала она меня Иван-царевичем, сердце мое закатилось. „Что ж, говорю, Василиса моя премудрая, я попью, да только из рук твоих“. Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили»... Вот она как обманывает-то. Опосля сказывал ему поп на селе: «Служи, грить, молебн, такой-сякой, это царица небесная спасла

тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился».

– Тпру! – гаркнул, слезая с телеги, Филипп и запутал на колесо вожжи.

– Вот он, – обернулись они. – На помине ле-
гок.

– Здорово, братец! – крикнул, подбегая, Карев.

– 3-3-здорово, – заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп. – От-от-отвяжи п-поди вож-
жу-у...

– Ну, крепок ты, – поднялся дед Иен. – Вишь, как не было сроду ничего.

Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воз-
дух.

– Ты ложись лучше, – уговаривал дед Иен. – Угорел, чай, сердешный, ведь. Это не шутка ведь.

Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив по-
стель, накрыл, перекрестив, веретьем.

Филипп поднимался и старался схватить
его за ноги.

– Голубчик, – кричал он, – за что ты меня любишь-то, ведь я тебя бил! Бил! – произнес он с восхлипываньем. – Из чужого добра

бил... лесу жалко стало...

– Будя, будя, – ползал дед Иен. – Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручал, когда я девку замуж отдавал. Вся свадьба на твои деньги сыгралась.

Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон.

От пожара нагоревшее облако поджигало небо.

Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Оброть звякала и шуршала на соломе.

– За что он бил-то тебя? – переспросил около дверки деда Иена.

– За лес. Пустое все это... прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр, воровать, знычит.

Ночь темная... ветер... валежник по еланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю две-три сосны. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я четыре сосны здоровых-прездоровых. Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. Только я стал ру-

бить, хватать он меня за плечо и давай валтужить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды; сел на дроги и не слезает. Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество, и поминай как звали. «Филипп, – говорю, затулившись в мох, – пусти ради Бога меня». Услышит это он мой голос – и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели.

Потом, слышу, гарчет он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старосте».

Вышел я да бух ему в ноги, не стал бить ведь боле. Потращал только. А потом, чудак, сам стал со мной рубить. Полон воз наклали. Насилу привез.

«Прости, – говорил мне еще, – горяч я очень». Да я и не взыскивал. За правду.

В частый хворостник в половодье забежали две косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо.

Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер.

В размашистой пляске ветвей они осмот-

рели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевелья.

Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав на этот остров.

Косули услышали плеск воды и сквозь оконца курчавых веток увидели нагое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде.

Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок; перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая.

Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде.

Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром, и затаенно толкнула свою подругу; та подняла остро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась за белев-

шим мохрасто цветком.

Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты; на ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал к стоянке.

Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи.

Он окликнул согнувшегося над косою Карева и вытащил из шалаша два ружья.

– Скорей, скорей, – шепотом зашамкал дед Иен, – косули на острове. Бегим скорей.

У таганов ходила в упряжи лошадь Ваньчка, а на телеге спал с похмелья Ваньчок.

Они быстро уселись и погнали к острову; вдогонь им засвистели мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето.

Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатило обратно.

– Шути, – ухмыльнулся дед, надевая рубашку. – Как смажем этих двух, и рты разинете.

– Куда? – поднялся заспанный Ваньчок.

– За дровами, – хихикнул Филипп. – На острове, кажут, целые груды пятериков лежат.

Но Ваньчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом.

– И к чему человек живет, – бранился дед, – каждый день пьяный и пьяный.

– Это он оттого, что любит, – шутливо обернулся Карев. – Ты разве не слыхал, что сватает Лимпиаду?

– Лимпиаду, – членораздельно произнес дед. – Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту крадю надо? Вот тебе это еще под стать.

Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ваньчка.

Но в душе его гладила, лаская, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.

– Брось, – сказал дед, – я ведь знаю его, он человек лесной, мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Росею обходил, а мы дальше Питера ничего не видали, да и то нас таких раз-два и обчелся.

Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега.

Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы набок, и бечевки резали щеки.

Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.

– Бреди, – показал он знаком и вышел, горбатысь, на траву.

– Ты с того бока бугра, а я с этого, – шептал он ему, – так пригоже, по-моему.

Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги.

Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли.

Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.

– Ваньчок, Ваньчок, – будил дед, таская его за волосы. – Встань, Ваньчок!

Ваньчок потянулся и закачал головою.

– Ох, Иен, трещит башка здорово.

– Ты глянь-кась, – повернул его дед, указывая на мокрую, с полосой крови на лбу, косящую. – Другую сейчас принесут. А ты все спишь...

Ваньчок слез с телеги и стал чесываться.

– Славная, – полез он в карман за табаком. – Словно сметаной кормленная.

С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.

– Ты со мной едем! – крикнул он Ваньчку. –

Навивать копна станешь.

– Ладно, – ответил Ваньчок, заправляя за голенище портянку.

Лимпиада с работницами бегала по полям и сгребала сухое сено.

– Шевелись, шевелись! – гаркала ей Проси-
нья. – Полно оглядываться-то. Авось не поде-
рутся.

С тяжелым вздохом Карев подъезжал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку.

После воза метчик обдергивал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами.

Скрипели шкворни, и ухаи подтянутые усталью голоса.

К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых.

Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе чухлинскую церковь.

– Шабаш, – крикнули все в один раз, – теперь, как Бог приведет, до будущего года.

Роса туманом гладила землю, пахло мятой,

ромашкой, и около озера дымилась с пеплом пожня.

В бору чуть слышно ухало эхо, и шомонил притулившийся в траве ручей.

Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку.

Отстраняя наразмах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубашкой, подобрав подол зарукавника, вышла Лимпиада.

На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце.

– Ждешь?

– Жду! – тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья.

– Фюи, фюи, – стучала крошечным носиком по коре березы иволга...

Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала.

«Где была, где шаталась?» – спросит Филипп, думала она и, краснея от своих дум, бежала, бежала...

«Дошла, дошла, – стучало сердце. – Где бы-

ла, отчего побледнела? Аль молоком умывалась?»

На крыльце, ловя зубами хвост, кружился Чукан. Филипп, склонясь над телегой, подмазывал дегтем оси.

– Ты бы, Липка, грибов зажарила, – крикнул он, не глядя на нее, – эво сколища я на окне рассыпал, люли малина!

Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук; руки ее дрожали, голова кружилась словно с браги.

Тоненькими ломтиками стала резать желтоватые масленки и клала на сковороду.

Карев скинул ружье и повесил на гвоздь. Сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы.

К окну подошел Ваньчок и стукнул кнутовищем в раму.

– Тут Лимпиада-то? – кисло поморщился он. – Я заезжал, их никого не было.

– Нет, – глухо ответил Карев. – Она была у меня, но уж давеча и ушла. Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда.

– Чего входить, – ответил Ваньчок. – Дела много: пастух мой двух ярок потерял.

– Найдутся.

– Какой найдутся, хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать.

– Ишь какой скупой! – засмеялся, глухо покачиваясь всем телом.

– Будешь скупой... почти три сотни в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился – ни капли не возьму в рот.

– Ладно, ладно, посмотрим.

– Так я, знычит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кой о чем.

Когда Ваньчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял.

– Да ты трезвый никак! – удивился он.

Ваньчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву.

– Не вызрела еще, – нагнулась Лимпиада, – зря напушил только. Целую поставню загубил.

– Мало ли ее у нас, – кинул с усмешкой Филипп, – о крошке жалеть при целом пироге

нечего.

– Ну, как же? – мигнул Ваньчок в сторону Лимпиады.

Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас...

Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть.

– Не говорил еще, – зашептал Филипп, – не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу.

– А ты мотри за ней, кабы того... Мельник-то ведь прощельга. Живо закрутит.

Филипп обернулся к окну и отворил.

– Идет, – толкнул он заговорившегося Ваньчка.

Лимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник.

– Распутывай, Ваньчок, – сказала, улыбаясь, она. – Буду ткать, холстину посулю.

– Только не обманывать, – сел на корточки он. – Уж ты так давно мне даешь.

– Мы тогда сами отрежем, – засмеялся Филипп. – Коли поязано, так давай подавай.

Лимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге.

Всю жизнь она дальше яра не шла. Знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее.

И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почувяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее, – так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое.

Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева; идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели.

Ей больно было потерять Карева, но еще больней было уходить с ним.

Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его на-

смерть...

– Стой, стой! – крикнул Ваньчок. – Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи теперь ее.

Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.

– Ты долго будешь меня мучить? – закричал Филипп. – Видишь, кошка опять лакает молоко.

– Брысь, проклятая! – подбежал Ваньчок и поднял махотку к губам.

– А славно, как настоящая сметана.

– И нам-то какой рай, – засмеялся Филипп. – Вытянул кошкин спив-то, а мы теперь без всякой гребости попьем.

– Ладно, – протер омоченные усы. – Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать.

В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи.

Кошка приготовила прыжок и, с шумом повалив мотальник, прижала его когтями.

– Ай, ай! – зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, с сердитым мяуканьем схватила голубя и прыгнула в

ОКНО.

Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею.

– Чукан, – крикнула она собаку. – Вчизи, Чукан!

Собака погналась по кулижке вдогонь за кошкой напересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну.

Позади с Филиппом бежал Ваньчок и свистом оглушал тишину бора.

– Вон, вон она! – указывая на сосну, приплясывала Лимпиада. – Скорей, скорей лезьте!

Ваньчок ухватился за сук и начал карабкаться.

Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать.

– А, проклятая! – говорил он, цепляясь за сук. – Заскулила! Погоди, мы те напарим.

Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь, вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь.

Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно.

– Брысь, проклятая, брысь! – кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами.

Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чашу и затерялась в траве.

– Вот проклятая-то, – приговаривал, слезая, Ваньчок, – прямо в голову норовила.

Лимпиада взяла голубя и, положив на ладонь, стала дуть в его окровавленный клюв.

Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв.

– Заела, проклятая, заела, – проговорила она жалобно. – Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза.

– Да, кошки бывают злые, – сказал Филипп. – Мне рассказывал Иенка, как один раз он ехал на мельницу. «Еду, говорит, гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлестнул кота. Повернулся мой кот, бежит за мной – не отстаёт. Приехал на мельницу – и он тут. Пошел к сторожу – и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут. Спугался я – так, мол, и так. „Берегись, грить, человеце; постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку“. Когда стали ложиться – то я прыг да под лав-

ку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку, так когти-то и заскрипели. „Вылезай, – кличет сторож. – Наволоку за это с тебя да косушку“. Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит около летый».

Вечером Лимпиада накинула коротайку и вышла на дорогу.

– Куда? – крикнул Филипп.

– До яру, – тихо ответила она и побежала в кусты.

Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым; щеки ее горели, и вся она горела как в лихорадке, сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репы.

«Что я скажу? – думала она. – Что скажу? Сама же я сказала ему, куды хошь веди».

Коротайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла.

– Пришла? – с затаенным дыханием спросил он.

– Пришла, – тихо ответила она и бросилась к нему на грудь.

Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза.

– Ну, говори, моя зозуленька, – прислонился губами к ее лбу. – Я тебя буду слушать, как ласточку.

– Ох, Костя, – запрокинула она голову, – люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду.

– Что ж, – грустно поник Карев, – и я с тобой буду ждать.

Она обвилась вокруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.

Часть третья

Глава первая

Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали.

– Подкупил, – говорили они, сидя по завалинкам, – как есть подкупил. Мыслимо ли – за правду в глаза наплевали! Как Бог свят, подкупил.

Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили и глубоко-глубоко затаили обиду.

На беду появился падеж на скотину.

– Сибирка, – говорили бабы. – Все коровы передохнут.

Стадо пригнали с луга домой; от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.

Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.

Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, дай не дай, четвертную ломит.

– Ты, батюшка, крест с нас сьмаешь! – кричали мужики. – Мы будем жаловаться ирхирею.

– Хоть к митрополиту ступайте, – ругался поп. – Задаром я вам слоняться не буду.

Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.

Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:

– Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете – вас много, так с вами и сладу нет... Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!

– Ладно, ребята, – с кроткой покорностью сказал дед Иен, – мы и без них обойдемся.

Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала – обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.

Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого заоченевшего тела, но, не находя себе выхода, замирала.

Проиграли мужики на суде Пасик, забилась старуха головой о стенку и с пеной у рта отдала Богу душу.

Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.

Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.

При опахиванье, по словам стариков, первый встречный и глянувший – колдун, который и наслал болезнь на скотину.

Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.

В полночь старостина жена позвала дочь и

собрала одиннадцать девок.

Девки вытащили у кого-то с погребка соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.

С пением и заговором все разделись наголо, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.

Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:

– Видишь?

– Нет, – глухо она отвечала.

После обхода с сохой на селе болезнь поухля, и все понемногу утомонились.

Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.

– Только хотел орешину сорвать, – говорил он, – как подокрался и цапнул железной тростью.

Мужики, сбежавшись, заволновались.

– Кровь, подлец, нашу пьет! – кричали они, выдергивая колья.

На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.

– Житья нет! – кричал он. – Так теперь и

терпеть все!..

Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.

Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.

– Моя собственность! – грозил он кулаком. – Права не имеете входить; и судом признано – моя!..

– Бей его! – крикнул дед Иен. – Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!

Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.

Взмахнул руками и, как подкошенный, упал в овраг.

– Бегим, бегим! – шумели мужики. – Кабы не увидели!

По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.

На дне оврага, в осыпанной глине, лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.

Филипп взял посох и пошел на Чухлинку

погудорить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.

Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.

«Лес воруют», – подумал он и побежал что силы вдогон.

Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.

Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.

– Зря спугались, – пробасил неожиданно кто-то за его спиной. – Выходи, ребята, свой человек.

Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.

– Молчи, не гудорь! – подошли все, окружив его. – Помещика укокошили. В овраге лежит.

Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.

– Как же теперь? – глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.

– Так теперь, – отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова. – Не гудо-

рить, и все... Станут приставать – видом не видали.

– Следы тогда надо скрыть, – заговорил Филипп. – Вместе итить негоже. Кто-нибудь идите по мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто – стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.

– Знамо, лучше разбрестись, – зашушукали голоса. – Теперь небось спохватились.

По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли.

К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.

Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.

Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.

Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, от-

вернулся в сторону.

– Где барин? – спросил он выбежавшую курхарку, расстилавшую ему ковер.

– В Пасике, ваше благородие, – ответила она. – Послать или сами пойдете?

– Сам схожу.

– Борис Петрович! – крикнул он, выпятив живот и погромыхая саблей.

По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.

В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.

– Борис Петрович! – крикнул он опять и стал спускаться в овраг.

Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.

В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.

Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая, труп.

Рядом валялся со взведенным курком пистолет.

– Горячий еще! – крикнул вслух. – Мужики

проклятые, не кто иной, как мужичье!

– Проехали, – свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа. – Трое, кажись, проскакали. Впереди всех без картуза пристав. Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй Бог.

Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.

Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.

У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.

– Беда, Костя! – сказал он. – Могила живая.

– Что такое?

– Помещика убили.

Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.

– Пристав поехал.

– Пристав, – протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.

Лимпиада почуяла, как упало ее сердце; она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.

– Куда, куда ты? – замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.

– Вот сумасшедшие-то! – ворчал он, сердито громыхая щеколдой. – Видно, нарваться хотят.

Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.

– Живо, сход, живо! – закричал он. – Ах, вы, оглоеды, проклятые убийцы, разбойники!

Десятские бегом пустились стучать под окна.

– А... пришли! – кричал он на собравшуюся сходку. – Пришли, живодеры ползучие!.. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгною, в остроге сгною, сукиных детей! Сознавайтесь!

Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.

– А... не сознаетесь, нехристи! – скрипел он зубами. – Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех! – крикнул он уряднику. – Завтра же пришлю казаков... Я вам покажу! – тряс он кулаком в воздухе.

Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.

– Понюхай, моя родная, – произнес он вслух. – Может, боле не придется.

– Ты чего так шумишь-то? – подошел он, пристально глядя на пристава. – У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь ты тоже, какой липоед!

– Тебе что надо? – гаркнул на него урядник.

– Ничего мне не надо, – усмехнулся дед. – Я говорю, что я убил его и никого со мной не было.

Глава вторая

– Не тоскуй, касаточка, – говорил Епишка Анне. – Все перемелется в муку. Пускай говорят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожаловаться.

– Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.

– Пей и ты.

– Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, домыкала.

В зыбке ворочался, мусоля красные кулачки, первенец.

– Ишь какой! – провел корюзлым пальцем по губам его Епишка. – Глаза так по-Степкину и мечут.

Анна вынула его на руки и стала переживать.

– Что пучишь губки-то? – махал рукой Епишка. – Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.

Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать; зубы его скрипели; выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким зацветающим губам.

– У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил! Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В канаве сегодня дядя ночевал.

Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.

– Ничего, подлец, не понимаешь, – возился на коленях Епишка, – хоть и смотришь на меня... Ты ведь еще чередом не знаешь, хочется

тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой. Так, так, раба Божия Аннушка, – встал он. – Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье. Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенца-то, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, Бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть меня научила, а судьбина моя подсказала.

Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.

– Он-то ведь, бедный, несмысленный... Ничего не знает, ни в чем не виноват. Аннушка бедна, Аннушка горька, – приговаривал Епишка, – сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?

Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.

В красной косыночке просфора иерусалим-

ская... У гроба Господня склонялась.

Солнце печет, пыль щекочет, а она, знай, идет и ни на минуту не задумывается, не пожалеет. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.

– Зубов нет, – шамкает побирушке, – деснами кусаю, кровью жую...

– Телом своим причащаешься, – говорит побирушка. – Так ин лучше Богу заслужишь...

Ходят морщины желтые, в ушах хрустит, заглушает.

– Берегешь копеечку-то? – спрашивает искоса побирушка.

– Берегу – всю жисть пряла, теперь по угодицам разношу. Трудовая-то жертва дорога.

По верхушкам сосен ветерок шуршит.

– Соснуть бы не мешало, – крестится побирушка.

Приминая траву, коротайку под голову положила. Мягка она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы Божеские бластятся.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...» – голос дьякона соборного в ушах звенит...

«О-ох, грешная я», – думает.

– Фюи, фюи, – гарчет плаксиво иволга. Те-
ни облачные веки связывают.

По меже храп свистит, побирушка на сучье
привалилась.

Тихо кусты качаются... Тень Господня над
бором ползает.

– Господи, – шепчут выцветшие губы, – по-
милуй меня, грешную.

«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных», –
гудит в ушах.

– Тетенька, – будит прикорнувшую поби-
рушку, – встань, тетенька.

– А-ат? – поднимается нищенка.

– Бедная ты, бездомная, возьми вот сумоч-
ку-то. Деньги тут. Ни сумы, ни сапог, в писа-
нии сказано... – плачет. Успокоилось сердце.
Комочком легла. Глаза поволоклись морокой.

– Фюи, фюи, – гарчет плаксиво иволга.

– Идем, – подвязывает лапти побирушка, –
провожу... До Маркова доберемся, а там заноч-
чуешь.

В осиннике шаги аукают.

– Это, я думаю, ты не от сердца дала мне...
Лишние они у тебя.

Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.

– Что молчишь-то? – дергает ее за руку.

– Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.

– То-то... камни... знаем мы вас, прохожаник. Нахайте с чужой крови-то, а потом раздаете. Ишь и глаза, как озеро, пышут... Знаем мы вас. Знаем!

– Лазарь, ты мой Лазарь, – срывается кроткий шепот. – Ничего у Бога нет непутевого, – ударяет клюкой по траве. – Все для человека припас он... От всего оградил. Человек только жадничает.

– Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, оброснулись. Чай, с снохами-то неладно жила? – пытливо глядит ей в глаза побирушка.

– Нет, родная, никого не обижала.

– Врешь поди.

– Я к мощам иду, – тихо шепчет. – Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи Бога, не введи во искушение, – поют на клиросе.

– То-то, вот вы такие и искушаете, – сердит-

то машет палкой. – Святоши, а деньги кроете.

– О-ох... Устала... – опускается на траву. – Прогневаю Бога ропотом. Прости ты меня, окаянную.

Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка.

– У-у-у... – защелкала зубами.

Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.

– Отдай деньги, проклятушая...

– Фюи, фюи, – гарчет иволга.

Глаза подернулись дымкой. К горлу подползло сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.

Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.

– Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.

– Так, святой отец, – говорил Анисим. – Остался один, что ж, думаю, зря лежать на печи, лучше грехи замаливать. Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела, странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть как

хочет живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.

Похоронил Степан мать, сходил к Анисиму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братишку, зорко заставила следить.

– Нет тебе счастья и талана, – сказала она, – ползай, как червь, по земле, если брошишь его.

Побоялся Степан остаться с Анной, а жениться на ней, гадал, – будут люди пенять.

«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает, бабу-то берешь».

Поехал он как-то в Коростово к тетке на праздник да остался заночевать.

На улице девчата под окнами слонялись, парни в ливенку канавушки пиликали.

– Поди, – сказала ему тетка, – тебя девки-то зманывают.

Степан надел поддевку, заломил набекрень шапку, пошел к девкам.

Девки с визгом рассыпались и скрылись.

– Кто? – окрикнули его парни.

– Свой.

– Нет, не свой, – заговорил кто-то. – Поухватке видно – не свой... У нас, брат, так девок не щупают. Больно хлесток...

– Невесту, что ль, выглядываешь? – спросил гармонист.

– Невесту, – тихо ответил Степан.

– Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.

– Ладно, – сказал Степан, – поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...

– Не хватает, не надо, – кивнул гармонист. – Мы не такие уж глоты. – Завозился на каблуках.

Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам.

Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.

Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.

В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.

Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил.

Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.

Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.

– Пусти ты, – отпихивалась она. – У, какой безотвязный... пусти!..

– Не пущу, – прижался к ней Степан. – Хоть кричи, не пущу.

Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.

– Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери, – говорил он утром о приданом. – Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...

– Да чья она? – спрашивала тетка. – Куда идти-то мне?

– Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.

– А, ну теперь знаю. Ишь какую метишь, – она ведь писарева...

– Отдадут – сама говорила.

– То-то...

Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.

– Ты что, Марьяна? – спросила писариха и поманула ее ладонью.

– Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким...

– А, – протянула писариха. – Что ж, разве он не женат еще?

– Нет.

– Мы было хотели ведь погодить, с приданным никак не собрались.

– Да мы и немного берем-то.

– Сколько?

– Да как тебе сказать, не менее сотни.

– Ладно, – кинула в заслон мочалку, – стоворено.

– А он-то, – указала она на спящего на лавке писаря, – как же?..

Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.

– В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.

Марьяна поклонилась и, подвязавшись,

пошла обратно.

Глава третья

Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток.

По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.

Шнырявшая в седирах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.

Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.

Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина.

Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.

Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозой и унести далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.

Яр зашумел, закачался, и застонала земля.

Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.

«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай

подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? – шептал ему какой-то тайный голос. – В ожиданиях только погибель. Или силы у тебя не хватает подняться и унести сюда, как вихорь?»

«Нет, все не то, – подумал он. – Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».

Яр шумел...

Черная навесь брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.

Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.

С бородки его, как веретено, сучилась холмоноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.

В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.

С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.

Она была мокрая, и с косы ее капала роса.

– Дождь фартуком собирала, – сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.

Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхивать с мокрых штанов грязь.

– Иди, замою... Филиппа нет, – обняла его за плечи. – Тес пилит.

Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатились вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскользнувшись, упала.

Поднял и со смехом понес на крыльцо.

Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, покрасневшись, качала ногами.

– Костя, – притиснула она его голову, – милый, не уходи. Как хорошо-то!

Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на ноге Лимпиады башмак.

К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.

– В остроге сидит, сердешный, – говорил он. – Скоро, наверно, погонят.

– Жалко, – вздыхала Лимпиада, – хороший мужик был.

Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.

Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.

В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.

– Милая, – нежно протянула руки, – где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.

Посадила на колени, стала гладить.

Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.

Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки.

– Ты убил... – покосился с пеной у рта пристав, – ты убил?..

– Я, – отозвался дед Иен. – Говорю, что я.

– Связать его! – крикнул он мужикам. – Да с понятами в холодную отправить.

Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.

– Вяжи покрепче, Петро, – сказал он мужи-

ку, – а то левая рука выскочит.

– Ладно, – мотнул головой Петро, – ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру.

Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.

Пристав толкнул его на крыльцо холодной и ударил по голове тростью.

По щеке зазмеилась полоска крови.

– Эй, – крикнул грозно Петро, – ты что делаешь! – и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.

– Ты не хрындучи! – затопал пристав. – Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!

– Видал?.. – показал ему кулак Петро. – Мы такую шваль-то видывали.

– Молчать! – крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.

Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.

Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровавое пятно.

– Ой, караул! – закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.

– Ну, дед, сиди, – сказал Петро, – а я теперь

скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.

– Прощай, Петро, – обернулся дед, подавая развязать руки. – Мне теперь, видно, капут – дух вон и лапти кверху.

– Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.

– Помнишь?

– Не забуду.

Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.

– Жалко, – ворчал Петро, – таких и людей немного остается.

Дед Иен велел сторожу открыть дверцу холодной и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи.

– Бабка-то теперича у кого твоя останется? – болезно гуторил сторож.

– Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.

– Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?

– Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.

Говор смолк. Слышно было, как скреблась

за переборкой мышь. В запаутивившееся окно билась бабочка.

Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.

Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.

– «Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина, – громко и отдельно произнес исправник. – В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».

– На вас креста нет, – зашумели мужики. – Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас, – обернулись все лицами к приставу, – узнавай, кого посылал вчера.

– Мошенники! – кричал пристав. – Мы вас на поселение сошлем!

– Куда хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.

Деда Иена привели на допрос под конвоем.

– Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?

– Да.

– В какую пору дня вы его убили?

– В полдень.

– Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?

– Все имеем, – закричали мужики.

– Молчать! – застучал кулаком исправник.

– Вам известно, – сказал дед Иен, – более я говорить не стану.

– Тридцать горячих ему! – закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.

Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.

Взмахнула плеть, и по старому желтому телу вырезалась кровяная полоса.

– Кровоопийцы! – кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья.

– Прошу не буянить, – обратился исправник. – Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.

– Братцы, – крикнул староста, – все равно ничего не поделаешь! Угломонитесь на минутку.

– Ишь какой братец заявился, – крикнул кто-то. – Сказали ему, а он и рад стараться.

Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожая и путаясь руками, он стал застегивать портки.

– Прощай, братцы, – кричал он, снимая шапку, – больше не свидимся.

– Прощай, – как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.

Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.

– Возьми обратно, – крикнул стражник. – Не полагается. Опосля суда...

Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.

– Поедем, – сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.

– Едем, – сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.

День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.

– Ну и изверги! – говорил Карев. – В глазах хватают за горло, кровь сосать.

По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.

– Н-но, родная, – потрагивал Карев вожжами. – Тут, чай, за спуском недалече. Ну, как же ты думаешь? – спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза. – Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.

Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.

– Какое бесцветное небо, – сказала она после долгого молчания. – Опять гроза будет.

Глава четвертая

Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.

В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.

Жаль ему было мельницы старой.

Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.

«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».

После этого на другой день Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда

не видела.

– Милый, ты о чем-нибудь думаешь? – спросила она. – Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.

– Любая моя белочка, – говорил, лаская ее, Карев. – Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь гибели, из того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя. Оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь весь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь, – сердце ничего не теряет.

– Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно, – сказала Лимпиада. – Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я лесная русал-

ка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива и ты.

– Эй вы, голуби! – крикнул Филипп. – Полно вам ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.

– Дешево же ты, воробей, платишь, – засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.

Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расшитую калпушку и пошла к бабке на зорю.

Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.

Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась Богу.

– Здорово, бабушка.

– Поди здорово, касатка. Чего скажешь?

– Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.

– Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...

Боялась, что последняя радость покинет ее. Бабка налила в полоник воды и бросила

туда из жаровни засопевшие угли.

– С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.

Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.

– Помрет, – сказала. – Не жилец на белом свету.

Анна побледнела и ухватилась за сердце.

– Бабушка, обмани хоть меня, – рыдая, судорожно забилась. – Не отнимай надежду мою.

– погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.

Вышли на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.

Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:

– Заря-зоряница, красная девица. Перва заря вечерошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, Господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, Господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, Господи, его скорби изо всех жил, изо всех член.

«Умрет, умрет, – колола тоска Анну. – Опять одна... опять покинутая...»

– Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.

Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.

– Милый, милый, малюсенький.

Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.

– Где была, куда Бог носил? – подошел он, заглядывая на ребенка.

– На заговор ходила.

– Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... Один носик остался. Ты не плачь, Аннушка, – обратился он к ней, – а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.

– Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.

– Ты, голубушка, не убивайся так, может, Господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.

– Карев ушел, – сказал Филипп. – Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?

– Он, вишь, пристал к варнакам охотить-

ся, – ответила Лимпиада. – Верно, после выручки.

– Экий расслоняй, все время бегают по ветру.

Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.

– Я хотел с тобой поговорить, Липа, – начал Филипп. – За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...

– Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?

– Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда. А с ним... У него деньги...

– На что мне они, его деньги? – бросила Лимпиада. – Ими горло ему надо засыпать.

– Ну, как хошь, я тебя не насилую...

Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучался ветер.

С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.

Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.

– Пожар, – сказал Филипп, указывая на огненную осину. – Вот что делает холодная пора-то.

«Хорошо, – с сверкающими глазами подумала Лимпиада. – Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»

Ветер подсвистывал.

Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду и надел ушастую шапку.

Сердце его билось, когда он подходил к своему селу; под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.

Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.

Из окна выглянула соседка.

– Епишка, – окрикнула она его, – поди почитай письмецо.

Пристыл, но, спохватившись, быстро зама-

хал на конец села.

Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.

Сел околь гумна и глядел на жевавшую желтую траву лошадь.

– Дзинь-дзинь, – позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.

– Коняш, коняш, – захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала обротъ.

Как будто обжог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.

Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.

Стук копыт стал таять, звенящая тишина изредка нарушалась петушьим криком.

Свежо, здорово, стелился туман.

Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимая к груди, но он метался и опускал свислую головку.

Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислоняла к головке руку.

Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся

трепетала при мысли, что останется одна.

Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.

– Ах! – вскрикнула она и ухватилась за сердце.

Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.

Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.

Через минуту она встала и уставилась в одну точку.

Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.

Она случайно повернулась к окну – и вся похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом, растаяло.

– Зовет, – крикнула она, – умереть зовет! – и выбежала наружу.

Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.

В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.

Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.

С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.

Глава пятая

Сказал старый Анисим игумену:

– Пусти меня домой, ради Бога, ноет вот тут, – указывал он на грудь. – Так и чую, что случилось неладное...

– Иди, Бог с тобой, – благословил его игумен. – Святые отцы и те врачивались заглянуть на своих родных.

Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сгорбившись, зелеными шелковыми.

Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает – что-то там дома творится?

Проезжие смотрят – всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.

На тройке барин какой-то едет, поравнялся, спрашивать стал:

– Разве ты меня знаешь – кланяешься-то?

– Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь, – лику

твоему ангельскому поклон отдаю.

Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло добром, как цветами.

– Прощай, старичок, помолись за меня угодникам да вот тебе трешница, вынимай каждый день просфору за раба Божьего Сергея.

– Не весна, а весной пахнет. Свете тихий, вечерний свет моей родины, прими наши святые славы, – шепчет он.

И опущенные белые усы ясно вырезают разрез посинелых губ.

– Здорово, дедушка, – встретили его у околицы ребятишки. – Анны-то нету дома... утопилась намедни она, как парень ее помер; заколочен дом-то ваш.

Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются, и опустился.

– Устал, дедушка, посиди, мы тебе табуретку принесем.

– Спасибо, родные, спасибо, немного осталось, хоть на корточках доползу.

Встал и, еще более сторбившись, поплелся мимо окон; ребяташки растерянными глазами провожали.

Прохожие останавливались.

– Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя, – встретила у ворот соседка. – Поди закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.

Слезу утирает, на закат молится.

– Как тебя Бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.

Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.

С пьяной песней в избу вошел Епишка.

– «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...

– Присаживайся, – подставила хозяйка скамью, – гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.

– Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу, ей-Богу, не могу... Слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то когда хошь приют даст, жить бы надо, да что-то, как

жестянка, ломается жизнь моя, и не моя одна. Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.

– Убежишь, – засмеялась старуха. – Не лезь уж, куды не надо. Так живи.

– Не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.

Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.

Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.

Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.

Каждое рождество он писал домой, что живет слава Богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.

Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.

Жена его знала эту слабость, она писала

ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.

– Возьми меня, дедушка, ради Бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.

Анисим молчал и грустно покачивал голову.

– Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше вот что я тебе посоветую, выписывай сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.

– Родной ты мой, – упал Епишка на колени. – Спаситель, как мне тебя благодарить?

– Встань, Епишка, – сказал Анисим. – Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.

– Нет, – всхлипнул Епишка, – разве я пойду просить... Стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая ба-

ба была.

Хозяйка начала рассказывать, как вытаскивали Анну из воды.

– Отец ты мой родной, – приговаривала, прищлепывая губами. – Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.

– Ты посмотри, – указал Епишка на разрубленный палец. – Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится и рубанок не стругает... Отцапал ведь до самой кости.

Анисим решил пождать жену Епишкину. «Пропьет еще все, – думал он. – Баба-то лучше удержит».

Через неделю им пришел ответ, что жена Епишкина три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.

«Как же так? – думал Епишка. – Неужели я три года не писал?..»

Он как-то состарился, съежился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.

«Охо-хо! – думал он. – Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она ка-

кая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал – тридцать».

«Как же она замуж вышла? – спрашивал себя. – И откуда набрали денег, когда присылу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»

Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.

Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.

«И в кого она у меня такая красивая, – думал Епишка, – ни на меня, ни на мать не похожа».

– Ты теперь брось пить-то, – говорил Анисим. – А ты, родная, поудерживай его, слаб он...

– Дедушка, ей-Богу, одну рюмочку, с радости. Ведь я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.

Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почомкалась.

– Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.

Погорбился старый Анисим за эту неделю, щеки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.

Простился с Епишкой и дочерью его и пошел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.

– Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи, – говорила Марфа отцу, – пахать станем.

– Теперь мы с тобой заживем, Марфунька, – говорил Епишка. – Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.

Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.

По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.

Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.

– Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.

– Ну что, не обмануло тебя сердце твое?

– Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.

– Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь

плохо. А что ж старуха-то твоя не вернулась?

– Нима, отче; видно, к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.

В келью пришел свою, на столе просфора зачерствелая, невынутая.

Кусает зубами качающимися, молитву хлеба насущному читает.

И опять все как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.

На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.

– Слава тебе, Христе Боже наш, слава тебе.

Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.

– Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!

Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.

Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.

Обронили вербы четки зеленые, красно-

той подернулись листья – удрила шелковые.

Вечер. Голоса на дороге про темную ночь поют.

Прощай, ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.

Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то по-чуждому. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.

Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье пошло.

Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.

– Марфунька, – кричал он, запихивая в землю скрябку, – воды неси поливать.

Люди засматривали, головой покачивали.

– Что это с Епишкой-то случилось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.

В монастырь бегал причащаться, всю дорогу без одышки бежал.

– Так ин, – говорит, – лучше Бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.

Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.

– Ты кобылку-то купишь – через три года две лошади, ой, ой, каких будешь иметь!

Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу купить.

В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.

– Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.

Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.

Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуторят. Подсела к Епишке девушка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.

– Жисть свою пропиваю! – кричит Епишка. – Хорошая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.

Когда на другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.

Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.

Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:

«Добрая доченька, посылаю тебе свое родительское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.

Дорогая Марфенька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня на примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернуся, заживем опять с тобой на славу».

Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.

Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.

– Отослал Иенке денег ай нет? – спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.

– Отослал... сам возил, прощаться ездил.

– То-то долго-то.

– Да.

– Ну, входи, – сказал Филипп. – Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.

Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.

Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.

– Принес? – спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.

На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.

Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.

Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.

– Ну, ты что ж молчишь? – обратился он к Ваньчку. – Рассказывай что-нибудь.

– Чего рассказывать-то? – протянул Ваньчок. – Все пересказано давно.

– Ну, – засмеялся Карев, – это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послушал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кро-

пишь и других заражаешь.

– Лучше Фильке пойду подсоблю, – сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.

Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.

– Идешь? – спросил глухо он. – Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.

Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:

– Иди, я не пойду.

– Прощай. Больше, я думаю, говорить тебе нечего.

Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.

– Не уходи, милый Костя, ради всего святого, пожалей меня.

– Нет, я не могу оставаться, – сказал Карев и отдернул ее руку.

На пороге показался Филипп.

– Ты что же, совсем уходишь?

– Да, совсем, проститься зайду. Не помните лихого, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...

Когда Карев ушел, Лимпиада проводила

Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.

Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.

«Куда же ушел?» – подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.

– Ох! – вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.

В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.

Прибежала и, запыхавшись, села у окна.

«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»

Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.

«Вытравить, избавиться», – мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.

«Преступница», – шептал какой-то голос и колот, как шилом, в голову.

«Господи, – упала она перед иконой, – научи!»

На брус – для мора тараканов, в синей бу-

мажке, – в глаза ей бросилась спорынья.

С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.

Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.

Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.

Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.

Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей ключьями с губ пеной. Под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.

Лицо ее было как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.

Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать на-меднишнюю вырубку.

Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.

– Тут надо бы примерить, – сказал староста. – Сбегай-ка до дому за рулеткой.

Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.

Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.

В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада – и около нее разбитая чашка.

– Отравилась!.. – крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.

Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.

Холодел.

Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.

– Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не высказывала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы ты девичью честь.

Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.

– Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.

Ваньчок трепал за ухо своего подпaska.

– Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, хая твоя поганая, до смерти захлыщу.

– Я, дя-аденька, ни при чем, – плакал Юшка. – Вот те Христос, не виноват...

– Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь сопляк какой подхалимный!

Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.

Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.

Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:

*Эх, да как на этой на веревочке
Жисть покончит молодец...*

С концом песни ввалился в избу и остолбенел.

– Это он! – крикнул с брызгами пены у рта. – Это он... Он весь яр поджег, дымом задвашил...

Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.

Голова закружилась безумием и хмелем.

Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.

Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.

Хвои шумели.

Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.

Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.

В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.

На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.

Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.

«Филипп, – подумал Карев, – на охоту, видно, напоследок зовет...»

Грянул выстрел, и почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.

Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.

Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра

долины, залил лунью крыльцо и крышу.

– Ку-гу, ку-гу... – шомонила за мельницей сова.

<<1915>>

Железный миргород Очерки об Америке

Я не читал прошлогодней статьи Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?..

Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был.

Да, я вернулся не тем. Много дано мне, но и много отнято. Перевешивает то, что дано.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой, поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.

Вот «Paris»[5]

Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользящийся (простите, что у меня нет образа для сравнения, я хотел сказать – как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама – образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что исповедуемый мной и моими друзьями «имажинизм» иссякает. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом). Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. да как же это?..»

Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабин. [6]

Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты (невольно пожалел, что не было Маяковского), прошел через танце-

вальный зал, и минут через пять через крупнейший коридор спутник подвел меня к нашей кабине.

Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, 2 ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про «Дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Народ наш мне показался именно тем 150 000 000-ым рогатым скотом, о котором писал когда-то в эпоху буржуазной войны в «Летописи» Горького некий Тальников. Где он теперь?

Я с удовольствием пожал бы ему руку, ибо это была большая правда и большая смелость в эпоху квасного патриотизма.

Милостивые государи! лучше фокстрот с

здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про «Лазаря». Убирайтесь к чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил «до ветру» в чужой огород.

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство.

Пусть я не близок им как романтик в моих поэмах, я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, <<близок>> и в своем творчестве, лишь бы поменьше было таких ценителей искусства, как Мещеряков в Госиздате или (царство ему небесное) покойный Вейс. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном 6 дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.

Элис-Аленд

На шестой день около полудня показалась Земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке. Разве можно выразить

эту железную и гранитную мощь словами. Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые, смешные российские доморощенные урбанисты и электрофикаторы в поэзии! Ваши «Кузницы» и Ваши «Леф» – как Тула перед Берлином или Парижем.

Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб, дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое – великое и громадное, что дух захватывает, хочется скорей на берег, но... но прежде должны осмотреть паспорта...

В сутолоке сходящих мы подходим к какому-то важному лицу, которое осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабин, что в штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.

Элис-Аленд – небольшой остров, где находится карантин и всякие следственные ко-

миссии по приезжающим. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... могут отослать обратно, но могут и посадить...

В кабин к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в 5 1/2 нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили с спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественней. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.

* * *

Утром нас отправили на Элис-Аленд. Сядя на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы с спутником взглянули на стацию Свободы и приснули смехом.

«Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» – сказал я.

Журналисты стали спрашивать, над чем мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они засмеялись тоже.

На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой, господин, волосы которого немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

«Смотри, – сказал я спутнику, – это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!»

– Мистер Есенин! – сказал господин. Я встал. – Подойдите к столу, – вдруг он твердо сказал по-русски. Я ошалел.

– Подымите правую руку и отвечайте на

вопросы.

Я стал отвечать, но первый вопрос меня сбил с толку.

– В Бога верите?

Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:

– Да!

– Какую признаете власть?

Елки-палки! Еще не легче! Сбивчиво я стал говорить, что я поэт, что в политике ничего не смыслю.

Помирились мы с ним, помню, на народной власти.

Потом он, не глядя на меня, сказал: «Повторяйте за мной: именем Господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия!»

Я повторял за ним каждое слово. Потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение при легком опросе впустить меня.) Взяли с меня подписку и не петь «Интернационал», как это сделал я в Берлине.

Миргород! Миргород! Свинья спасла!

Нью-Йорк

Сломаю голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать:

«Ах, да это... это тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках <<со>> скобяной торговлей».

Около пристани на рогожках сидели или лежали негры. Нас встретила заинтригованная газетами толпа.

Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам:

Mi laik Amerika.[7]

Через десять минут мы были в отеле. О том, что такое Нью-Йорк, поговорим после.

Бродвей

На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.

Люди часто ездят не в освещенных вагонах. Дело здесь, конечно, не в бедности государства, а в невежестве самих граждан, которые предпочитают освещать раскрашенные доски, чем употреблять этот свет для более полезных целей.

Америка внутри себя не верит в Бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.

Обиженным культурникам на жестокость русской революции не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя культуры индустрии.

Что такое Америка?

Америка это прежде всего была страна краснокожих. Вслед после открытия этой страны Колумбом туда потянулся весь неудачливый мир Европы. Искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили красный народ всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться. Нача-

лись жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась маленькая горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, огородив тщательной стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все ж, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется крышам 20-этажных домов, все ж никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.

Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Культура к индейцам не прививается. Мне рассказывали, что в Америке нет ни одного мало-мальски интеллигентного индейца.

Были опыты. Брали какого-нибудь малыша, отдавали в школу, а лет через пять-шесть

В один прекрасный день он снимал с себя ботинки и снова босиком убежал к своим. Сейчас Гайавата – этнографический киноартист, он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые поднимаются в воздух по особо устроенным спускным доскам, возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, поднимают их и сажают на свои железные плечи.

Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности, как говорят, «пока еще – слаба гайка», и потому мне смешны все эти «лефствующиие», которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.

В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем.

В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, но в наших родных пенатах я даже и самого гениального электрофикатора Ленина видел в Петербурге на жалком тарантасе с лицом, упертым в почтенный зад кобылы.

Ну да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее. С точки зрения великих замыслов эта улица тоже ведь наша.

У какого-то смешного поэта, написавшего «сто пятьдесят лимонов», есть строчки о Чикаго как символе Америки:

*Пройдешь:
За ступней ступня
И еще ступня
Ступеней этих самых до черти-
ков.*

Сие описание «флигелей» напоминает мне описание Козьмы Индикоплова, который уверял всех, что он видел то место, где земля сходится с пологом неба.

Правда! Оно, положим, и есть ступени, но никто по ним не ходит, потому что ступени эти «чертиковы» существуют только на пожарные случаи, а поднимаются там исключительно в лифтах в 3–4 секунды до 46-го этажа.

Так что по картинкам иногда можно ошибиться и нечаянно дать Америку, перелаяя Уитмана 19-го века, Америку старого Нью-Йорка. Тогда Бродвей был не таким. Сила Америки развернулась окончательно только за последние 20 лет. При Уитмане он походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег, но зато дьявольски здорово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего названия «окраинная дорога», – «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлей и приятней идти, чем днем.

Перед глазами море электрических афиш. Там на высоте 20-го этажа кувыркаются во весь рост сделанные из лампочек гимнасты, там с 30-го этажа курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами, там около театра на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д. и т. д. всё в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут

по двадцатому или двадцать пятому этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом, «умри Денис, лучше не напишешь».

Из музыкальных магазинов слышится по радио музыка Чайковского. Идет концерт в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.

Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.

Бедный русский Гайавата!

Быт и глубь штатов

Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.

Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатления громадкости исчезают. Перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы! страшно похоже на Россию) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разни-

цей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено, как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.

Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромное влияние на музик-хольный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры довольно народ примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы тоже народ весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Bisnes»[8] и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По (?).

Все это свидетельствует о том, что народ они весьма молодой и не вполне сложившийся в формы. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление народа. Народ Америки – только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области на фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если б не было гения этого человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.

Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городского, только с другими кантами.

Этот курьез объясняется тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках русских евреев. Наши сородичи, видно из тоски по родине, наря-

дили полисмена в знакомый им вид формы.

Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов.

В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.

Мани-Лейб – уроженец Черниговской губ. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжело пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы стал иметь возможность существовать на оплату за свое искусство.

Он ознакомил американских евреев переводами на жаргонный язык с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно

красивыми талантами, от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.

В специфически американской среде отсутствие всякого присутствия.

Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

Сила железобетона, громада зданий стеснила мозг американца и сузила его зрение.

Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны Америки.

«Слушайте, – говорил мне один американец, – я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?»

От таких слов и смеяться, и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает. Америка подбирает окурки. Но из этих окурков растет что-то грандиозное в той среде, которая называется рабочим классом; об этой среде поговорим особо.

1923

Всероссийский союз поэтов Памяти Есенина

Представленные в данном разделе воспоминания о Сергее Есенине печатаются без сокращений, по тексту ставшего библиографической редкостью сборника «Памяти Есенина». Поскольку в качестве предисловия составители опубликовали статью Льва Троцкого, книга была изъята из народных библиотек. Да и в «Ленинке» ее долгие годы таили в спецхране и не выдавали даже специалистам. Не выдают ее на руки и сейчас, но уже по другой причине – по причине катастрофической ветхости и раритетности издания. Между тем эта книга – первый и самый искренний отклик на смерть поэта, и боль великой потери – на каждой ее странице.

В публикуемых воспоминаниях сохранена орфография оригинала.

Памяти Сергея Есенина[9]

Мы потеряли Есенина – такого прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего. И как трагически потеряли! Он ушел сам, кровью попрощавшись с необозначенным другом, – может быть, со всеми нами. Поразительны по нежности и мягкости эти его последние строки. Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, – не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом.

Есенин слагал острые песни хулигана и придавал свою неповторимую, есенинскую напевность озорным звукам кабацкой Москвы. Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала совсем особая нежность неогражденной, незащищенной души. Полунапускной грубостью Есенин прикрывался от сурового времени, в какое родился, – прикрывался, но не прикрывался. Больше не могу, – сказал 27-го декабря побежденный жизнью поэт – сказал без

вызова и упрека... О полунапускной грубости говорить приходится потому, что Есенин не просто выбирал свою форму, а впитывал ее в себя из условий нашего совсем не мягкого, совсем не нежного времени. Прикрываясь маской озорства – и отдавая этой маске внутреннюю, значит не случайную, дань, – Есенин всегда, видимо, чувствовал себя – не от мира сего. Это не в похвалу, ибо по причине именно этой неотмирности мы лишились Есенина. Но и не в укор, – мыслимо ли бросать укор вдогонку лиричнейшему поэту, которого мы не сумели сохранить для себя!

Наше время – суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества. Революционер, рожденный для этих десятилетий, одержим неистовым патриотизмом своей эпохи, своего отечества во времени. Есенин не был революционером. Автор «Пугачева» и «Баллады о двадцати шести» был интимнейшим лириком. Эпоха же наша – не лирическая. В этом **главная** причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин.

Корни у Есенина глубоко народные – и, как все в нем, народность его неподдельная. Об этом бесспорнее всего свидетельствует не поэма о народном бунте, а опять-таки лирика его:

*Тихо в чаще можжевеля по обрыву
Осень, рыжая кобыла, чешет гриву.*

Этот образ осени и многие другие образы его поражали сперва, как немотивированная дерзость. Но поэт заставил нас почувствовать крестьянские корни своего образа и глубоко принять его в себя. Фет так не сказал бы, а Тютчев еще менее. Крестьянская подоплека, – творческим даром преломленная и утонченная – у Есенина крепка. Но в этой крепости крестьянской подоплеку причина личной некрепости Есенина: из старого его вырвало с корнем, а в новом корень не принял. Город не укрепил, а расшатал и изранил его. Поездка по чужим странам, по Европе и за океан, не выровняла его. Тегеран он воспринял несравненно глубже, чем Нью-Йорк. В Персии лирическая интимность на рязанских корнях

нашла для себя больше сродного, чем в культурных центрах Европы и Америки. Есенин не враждебен революции и никак уж не чужд ей; наоборот, он порывался к ней всегда – на один лад в 1918 году:

Мать моя родина, я – большевик!

на другой – в последние годы:

*Теперь в советской стороне
Я самый яростный попутчик.*

Революция вломилась и в структуру его стиха и в образ, сперва нагроможденный, а затем очищенный. В крушении старого Есенин ничего не терял и ни о чем не жалел. Нет, поэт не был чужд революции, – он был несроден ей. Есенин интимен, нежен, лиричен, – революция публична, – эпична, – катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой.

Кем-то сказано, что каждый носит в себе пружину своей судьбы, а жизнь разворачивает эту пружину до конца. В этом только часть правды. Творческая пружина Есенина, разворачиваясь, натолкнулась на грани эпохи и – сломалась.

У Есенина немало драгоценных строф, насыщенных эпохой. Ею овеяно все его творчество. А в то же время Есенин не от мира сего. Он не поэт революции.

Приемлю все, – как есть, все принимаю.

*Готов идти по выбитым следам,
Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам!*

Его лирическая пружина могла бы развернуться до конца только в условиях гармонического, счастливого, с песней живущего общества, где не борьба царит, а дружба, любовь, нежное участие. Такое время придет. За нынешней эпохой, в утробе которой скрывается еще много беспощадных и спасительных боев человека с человеком, придут иные времена, – те самые, которые нынешней борьбой подготавливаются. Личность человеческая расцветает тогда настоящим цветом. А вместе с нею и лирика. **Революция впервые отвоюет для каждого человека право не только на хлеб, но и на лирику.** Кому писал Есенин кровью в свой последний час? Может быть,

он перекликнулся с тем другом, который еще не родился, с человеком грядущей эпохи, которого одни готовят боями, а Есенин – песнями. Поэт погиб потому, что был несроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его.

К смерти Есенин тянулся почти с первых годов творчества, сознавая внутреннюю свою незащищенность. В одной из последних песен Есенин прощается с цветами:

*Ну что ж, любимые, – ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту **гробовую дрожь**,
Как **ласку** новую, приемлю.*

Только теперь, после 27-го декабря, можем мы все, мало знавшие или совсем не знавшие поэта, до конца оценить интимную искренность есенинской лирики, где каждая почти строка написана кровью пораненных жил. Тем острее – горечь утраты. Но и не выходя из личного круга, Есенин находил меланхолическое и трогательное утешение в предчувствии скорого своего ухода из жизни:

И, песне внемля в тишине,

*Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.*

И в нашем сознании скорбь острая и совсем еще свежая умеряется мыслью, что этот прекрасный и неподдельный поэт по-своему отразил эпоху и обогатил ее песнями, по-новому сказавши о любви, о синем небе, упавшем в реку, о месяце, который ягненком пasetся в небесах, и о цветке неповторимом – о себе самом.

Пусть же в чествовании памяти поэта не будет ничего упадочного и расслабляющего. Пружина, заложенная в нашу эпоху, неизмеримо могущественнее личной пружины, заложенной в каждого из нас. Спираль истории развернется до конца. Не противиться ей должно, а помогать сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить будущее. Будем завоевывать для каждого и каждой право на хлеб и право на песню.

Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя! Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоцен-

ные нити поэзии Сергей Есенин!

Лев Троцкий

Мое знакомство с Есениным

I

Я не принадлежу к тем, кто был с Есениным на «ты», звал его Сережей и великолепно знал всю подноготную, всю его частную и домашнюю жизнь. И никогда я особенно не сетовал, что нет у меня неодолимой страсти непременно проникать за сцену, разбираться в закулисных интригах, заглядывать в чужие спальни. Я всегда думал, что есть известные границы, что можно говорить о писателе и чего не надо, не следует. Дела поэта – это прежде всего стихи его. Все остальное постольку-поскольку. Знание обыденной домашней обстановки может в некоторых случаях пояснять его творчество, но чаще только мешает, заслоняя главное, существенное и неповторяемое второстепенным, обыденным и заурядным. Я вполне понимаю одного страстного любителя литературы, который избегал знакомства с любимыми им писате-

лями.

Пушкин когда-то писал Вяземскому: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? чорт с ними! Слава богу, что потеряны! Он исповедовался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии... Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробу посреди воскресающей Греции – охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки и т. д., потому что... радуется унижению высокого, слабостям могучего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. „Он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ Врете, подлецы: он и мал и мерзок – не так как вы – иначе!»

Еще хуже, если беззастенчивое перебирание грязного белья прикрывается псевдонаучными целями. Будто это важно для изучения психологии творчества. Я очень люблю Пушкина, нахожу в нашем пушкиноведении вопиющие пробелы. У нас нет, например, до сих пор пушкинского словаря. И потому я особенно не одобряю тех из пушкинистов, которые с энергией, достойной лучшего примене-

ния, изоощряются над решением вопросов, с какими женщинами и когда был Пушкин в связи, а потом стараются установить, к какой из женщин какое стихотворение относится. Методологически такие изыскания крайне вредны, потому что сложные тайны поэтического творчества огрубляют, сводят к примитиву психики дикаря. И, конечно, идет это от нашей суетности, а не от любви к литературе или Пушкину.

Итак, я не жалею, что Есенин всегда воспринимался мною прежде всего как поэт и таковым остался и в моих воспоминаниях.

С другой стороны, я благодарен судьбе, что знал поэта лично, слышал его голос, беседовал с ним наедине, видал, как иной раз чудесно загорались его глаза при внезапно вспыхнувшей мысли.

Я часто встречался с ним в 1920 и 1921 гг. Он относился ко мне, как к человеку, интересующемуся его поэзией, который когда-нибудь и, может быть, очень скоро, будет о нем писать. В то время я работал над вторым томом своей «Русской лирики», и Есенин, смеясь, говорил: «Я войду, вероятно, только в ваш

десятый том!»

Каждый писатель немного актер и, выступая перед публикой, немного гримируется. Таким мы и должны его воспринимать.

Думаю, что и Есенин являлся передо мною не без грима, т. е. старался казаться мне таким, каким хотел дойти до читателей. Кое-что он определенно старался мне внушить. Например, он, видимо, боялся, как бы его не приняли за недоучку, и не раз давал понять, что он многое прочел и основательно продумал. Но, конечно, во многих случаях мои мнения о нем складывались независимо от его внушений. Так, например, он никогда не говорил мне о своем славолубии, а я считал это одним из основных нервов всей его деятельности.

Три любви, по-моему, двигали и живили его: к славе, к стихам и к родине. В жертву этим трем он готов был принести все остальное: и чувство к женщине, и постоянство в дружбе, и все другие страны и нации. В этом замыкании и игнорировании всех других ценностей жизни была главная причина, думается мне, той опустошенности души за по-

следние годы, которая привела его к «Черному человеку» и веревке удавленника.

Кто-то из современников Пушкина сказал когда-то о великом поэте, что по-настоящему, глубоко он ничего в сущности не любил, кроме своих стихов. В какой степени это действительно приложимо к Пушкину, – оставим под вопросом. Но вот что находим мы в воспоминаниях А. Воронского о Есенине («Красная Новь». 1926. № 2):

«На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа.

«Пусть вся жизнь за песню продана», – это из последних его стихов».

Другой свидетель, Вадим Шершеневич, рассказывает, как угнетала Есенина в послед-

ние годы мысль, что слава ему изменяет, что его как поэта недостаточно ценят.

Любовь к родине постепенно сводилась к воспоминаниям детства. С новой перерождающейся деревней он не был связан органически. Новые, молодые поколения он мог попушкински приветствовать, но и только... На душе горький осадок:

*Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.*

Его любовь к родине, так прекрасно лирически выражаемая в его стихах, в его будничных беседах, принимала часто узконационалистический оттенок. Отсюда для него ряд неприятностей. Все это натягивало нервы. Хотелось забыться. Но забвение в вине в конечном итоге только усиливает отчаяние, истощает силы. Получается безвыходный круг, сеть тупиков.

Гордиевы узлы всего лучше разрубает смерть. А самоубийство спасет и славу. Лет десять или пятнадцать тому назад одна английская беллетристка покончила с собой,

чтобы обратить внимание на свои произведения. Да и у нас самоубийства вели иногда к оживлению литературного успеха. Была, например, в Москве такая поэтесса Надежда Львова. Рецензенты отзывались о ней пренебрежительно, стихи ее не раскупались. Но вот она застрелилась. Кажется, это было на романической почве. – И все экземпляры ее стихотворений были раскуплены в несколько дней. Вышло второе издание, посмертное, и разошлось также хорошо... Потом уже ее начали забывать. Есенин таких случаев мог и не знать, но это ничего не меняет: конечно, насильственная смерть должна привлечь к себе более внимания, чем «непостыдная, мирная кончина живота» на постели. К тому же он боялся пережить свою славу. Про одного из современных поэтов Есенин сказал мне однажды (это было в 1921 г.): «Обратите внимание, что ему уже за сорок. Следовательно, поэтический возраст для него прошел. И вот последняя книга его стихов уже свидетельствует об упадке. Вообще, лирический поэт не должен жить долго».

Я далек от того, чтобы самоубийство Есе-

нина объяснять только этими соображениями, но в общей совокупности причин и мысль о трагическом завершении своей биографии, как о последнем художественном штрихе, как уход, например, Толстого из Ясной Поляны, должна была, думается мне, иметь свое место.

Готовность пожертвовать для славы всем нередко встречается у писателей. Если такие писатели мало талантливы, они производят жалкое, трагикомическое впечатление. Но эта же черта присуща и гениям. Молодой Пушкин говорил, что охотно предпочтет «бессмертию души своей бессмертие своих творений», а Лев Толстой в старости признавался, что когда он начинал свою литературную деятельность – эпоха работы над «Детством» и «Отрочеством» – славолюбие доводило его до состояния близкого к умопомешательству.

Естественно, что такая жажда славы особенно дает себя знать в начале литературного поприща.

Есенину всегда была присуща высокая самооценка. В своей автобиографии он рассказывает, что когда впервые появился среди пе-

тербургских литераторов, он сразу был признан как талант. К этому он прибавляет: «я знал это лучше всех».

Любовь к славе, к стихам и к родине должны были поставить перед ним цель: стать народным, национальным русским поэтом. Сначала он понимал эту народность в том смысле, в каком она приложима к поэтам-самоучкам, вышедшим из непривилегированной среды. В известных стихах своих, помещенных в книжке «Голубень», он отводит себе почетное место в ряду таких поэтов. Опуская Никитина, Сурикова, не говоря уже о других, таких, как Дрожжин или как забытый поэт-крестьянин поколения Жуковского – Федор Слепушкин, Есенин устанавливает такую последовательность: Кольцов, Клюев и он, Есенин. Но потом ему уж мало быть в числе первых имен из поэтов этой линии и еще при жизни Блока, которого он очень ценил, он называет себя «первым поэтом в России».

Пишущему эти строки Есенин в 1921 году объяснял одно свое преимущество перед Блоком: это «ощущение родины»: «Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения ро-

дины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая».

Преимущество свое пред Клюевым, которого Есенин считал тоже большим поэтом, он определял так: «Клюев не нашел чего-то самого нужного, и поэтому творчество его становится бесплодным». Другой раз он высказал свою мысль так: «У Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь».

Что же касается до своих друзей имажинистов, с которыми он тесно был связан в течение нескольких лет, то и в самый разгар дружбы с ними Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало. «Я же, – добавлял Есенин, – в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение». Наконец, и на самого крупного из футуристов Маяковского Есенин смотрел сверху вниз. «Маяковского, – говорил он мне, – считаю я очень ярким поэтом, но лишенным духа новаторства: он весь идет от Уитмэна. А главное: у него нет поэтического мироощущения».

Перебрав всех современников и не находя

себе равного поэта, Есенин, естественно, должен был обратиться к прошлому русской поэзии. Отдаленной мечтой его стало сравниться с Пушкиным.

Годы, когда я встречался и беседовал с Есениным, 1920 и 1921 гг., были годами полного расцвета его надежд, быстро растущей популярности и ничем еще серьезно не омрачаемой славы. Если его ругали иные за имажинизм, так ведь он сознательно шел на это, заранее это учитывая. Он мечтал побить рекорд, добыть себе название «национального русского поэта», каким был Пушкин.

Мои отношения к Есенину, как к человеку и к поэту, были живые, а все живое изменяется. Я с самого начала, как только о них узнал, стал ценить его стихи, но несколько предубежденно вначале относился к нему, как к человеку, потому что замечал грим, позу. И не особенно стремился познакомиться с ним. Этим следует объяснить тот странный на первый взгляд факт, что я совершенно не помню, как и при каких обстоятельствах я в 1920 году познакомился с ним лично. Но когда познакомился, прежнее предубеждение

против него стало быстро исчезать. Каждый писатель немного актер. Грим, поза – это главным образом для зрительного зала, а я попал в число тех привилегированных зрителей, которых в антракты пускают на сцену. В личных отношениях Есенин оказался милым, простым и совершенно очаровал меня.

К этому же времени, времени появления таких его вещей, как «Сорокоуст», «Песня о собаке», «Исповедь хулигана», относится мое первое, искреннее и горячее увлечение его поэзией. Раньше многое мне решительно не нравилось. Так совершенно неудавшейся вещь считал я – и теперь продолжаю так думать – его «Инонию». На книжке, наиболее тогда мне понравившейся, «Исповеди хулигана», Есенин сделал мне надпись. Когда я теперь смотрю на эти строки – каждая буква тщательно выписана и стоит отдельно, – я думаю, что недаром Есенин в детстве уже видал и впоследствии любил рукописные и старопечатные книги.

Он много и охотно рассказывал мне о себе. Наивысший момент близости был тот, когда мы неожиданно встретились однажды в тол-

пе, в фойе театра, и молча дважды пожали друг другу руки. Я потом вспомнил, как он однажды говорил о безмолвной и потому трогательной звериной ласке.

Когда я стал встречать Есенина с Дункан и он начал франтить и разыгрывать из себя денди, это мне было неприятно: чем-то все это кончится?

После его возвращения из Америки, я видал его очень редко. Я еще более, после «Стихов», вышедших в издательстве «Круг», стал любить его как поэта, но как человек он мне казался уже конченным. «Таков ли был он, расцветая?»

II

В Риме, в кинематографе, когда-то давно случилось мне видеть историю из жизни русских революционеров. Тут были и тайные совещания заговорщиков, и покушение на жизнь важной особы, и внезапный обыск, и одиночное заключение, наконец – высший момент нервного напряжения публики – бегство из тюрьмы на лихой тройке и неизбежная погоня. Была дана настоящая русская зима, великолепно ложились колеи на рыхлом

снегу, тройка неслась, «бразды пушистые взрывая». Но одна подробность этой истории из жизни русских революционеров с самого начала особенно бросалась в глаза и вызывала улыбку у русского зрителя: все революционеры одеты были совершенно одинаково: в русские кучерские костюмы, острижены все были в кружок, револьверы заткнуты за кушаки.

Этот римский кинематограф и этот наряд пришли мне на память, когда я в первый раз увидел Есенина.

В Москве такого поэта еще не знали. Начался 1916 год, последний дореволюционный. В воздухе еще стоял угар войны. Национализм, подогреваемый войной и большею частью воинствующий, был одним из самых заметных мотивов в поэзии того времени. Но в лучшей книге стихов из вышедших пред этим – «Стихах о России» Александра Блока, – была не только острая любовь – жалость к родине, но и сознание ее жертвенности, мученического венца и, наконец, благословение грядущей революции. Из стихотворений этой книги наиболее действенным было, думается

мне, «Рожденные в года глухие». С неведомою силою ударили по сердцам строки поэта:

*Мы, дети страшных лет России,
Забить не в силах ничего.*

Горючий материал накапливался, а в тылу творились обычные безобразия.

21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в «Обществе свободной эстетики». Я не очень-то любил это «Общество» и почти никогда там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже четыре года как он обратил на себя всеобщее внимание. Он уже успел выпустить три книги стихов, и я лично был им очень заинтересован. Легко сказать: из глубины народной гущи являлся поэт, который вел себя не как самоучка и недоучка, рассчитывающий на более снисходительную оценку, а как равный по отношению к другим уже прославленным поэтам, чувствующий свою силу и властно требующий от поэтов из интеллигенции потесниться.

Собрание «Общества свободной эстетики»

на этот раз происходило в помещении картинной галереи Лемерсье. Я прибыл в назначенное время, но тут всегда запаздывали, и я долго слонялся по залам, увешанным картинами, терпеливо ожидающими себе покупателей. Галерея Лемерсье была чем-то вроде художественно-комиссионной конторы. Потом я очутился в одной из последних комнат, где расставлены были стулья рядами и собралось уже порядочно публики. Я нашел знакомых, с которыми ранее уговорился встретиться. Стали дожидаться вместе. Наконец раздался шепот: «Приехал!»

И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Ключев. У него прямые светлые волосы, прямые, широкие, спадающие «моржовые» усы. Он в коричневой поддевке и высоких сапогах. Но он не один: за ним следом какой-то парень странного вида. На нем голубая шелковая рубашка, черная бархатная безрукавка и нарядные сапожки. Но особенно поражали пышные волосы. Он был совершенно белоголовый, как бывают в деревнях маленькие ребята. Обыкновенно позднее такие во-

лосы более или менее темнеют, а у нашего странного и нарядного парня остались, очевидно, и до сих пор. Во-вторых, они были необычайно кудрявы. Возникло подозрение, не завит ли он или... хотелось подойти и попробовать, не парик ли.

Клюев показался мне гораздо старше, чем я думал, и к своему спутнику он обращался скорее как к любимому сынку, чем к меньшему братишке.

Распорядитель объявил, что стихи будут читать сначала Клюев, потом... последовала незнакомая фамилия. – «Ясенин» послышалось мне. Это легко осмысливалось: «Ясен», «Ясюнинские»... И когда через полгода я купил только что вышедшую «Радуницу», я не без удивления увидал, что фамилия автора начинается на «Е».

Сначала Клюев читал большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешел к мелким лирическим. Помню, как читал он свой длинный «Беседный наигрыш. Стих доброписный». Содержание было самое современное.

Народилось железное царство

*Со Вильгельмищем, царищем по-
ганым. —*

*У него ли, нечестивца, войска – си-
ла,*

Порядового народа – несусветно;

Они веруют Лютеру-богу,

На себя креста не возлагают,

Великого говенья не правят,

В Семик-день веника не рядят,

Не парятся в парной паруше

и т. д.

«Наигрыш» этот напечатан был потом в «Мирских думах». Клюев поражал своею gusto красочностью и яркою образностью.

Очередь за другим поэтом. Он также начал с эпического. Читал об Евпатии Рязанском. Этой былины я нигде потом в печати не видел и потому плохо ее помню. Во всяком случае тут не было того воинствующего патриотизма, которым отличались некоторые вещи Клюева. Если тут и был патриотизм, то разве только краевой, рязанский. Потом перешел к мелким стихам, стихам о деревне. Читал он их очень много, разделял одно от другого короткими паузами, читал, как помнится, еще не размахивая руками, как было впослед-

ствии. «Жарит, как из пулемета!» – сказал мой сосед слева. Большинство прочитанного поэтом вошло потом частью в «Радуницу», частью в «Голубень».

– «Это что-то вроде Кольцова или Некрасова, которых я терпеть не могу», – сказала моя соседка справа, художница.

Потом был перерыв, потом опять читали в том же порядке. В перерыве и по окончании в гардеробной слушатели обменивались впечатлениями о стихах и о наружности поэтов. Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева.

– «Какая образность!» Например, «месяц – проныра», «солнце – колокол». Помните у Тютчева: «раздается благовест всемирный победных солнечных лучей». Другой поэт, деревенский парень, ему не понравился.

Еще резче отнеслась к нему моя соседка справа, художница. Когда на лестнице к ней подошел Клюев, с которым она уже была раньше знакома, и спросил: «Ну как?», она с дерзостью избалованной женщины отвечала: «Сначала я слушала, а потом перестала: ваш товарищ мне совсем не понравился».

«Как? Такой жавороночек!» – и в тоне Клюева послышалась ласковость к своему «сынку» и сожаление.

– Впрочем, о вкусах не спорят, – смягчила свою резкость художница. – Может быть, кому-нибудь другому он и пришелся по вкусу.

Впоследствии, глядя на Есенина, я не раз вспоминал это определение Клюева: «жавороночек». В стихах Клюева нашел я и другие ласковые эпитеты: он называл Есенина «своим васильком», «отроком вербным, с голосом слаще девичьих бус» и т. д.

Но среди слушателей раздавались и голоса, отдававшие предпочтение безвестному до сих пор в Москве Есенину пред гремевшим в обеих столицах Клюевым. Я жадно прислушивался к этим толкам. Мне лично Клюев показался слишком перегруженным образами, а местами и прямо риторичным. Нравились отдельные прекрасные эпитеты и сравнения, но ни одно стихотворение целиком. А всего больше запомнилась фраза, как Вильгельмище, царь-поганище, «хотел Волгу на бутылки разлить». Не скажу, чтобы этот образ мне понравился, но почему-то он более других за-

стрял в моей памяти. Есенина я, как и многие другие, находил проще и свежее. Тут были стихотворения, понравившиеся мне целиком, напр. «Корова», где уже сказалась столь характерная для позднейшего Есенина нежность к животным. «Песня о собаке», написанная на однородную тему, конечно, лучше, но и здесь типичный мотив: «для зверей приятель я хороший».

*Не дали матери сына,
Первая радость не впрок,
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.*

Кажется, в первый раз в русской литературе поэт привлекал внимание к горю коровы.

Еще более произвело на меня впечатление: «В хате» – «Пахнет рыхлыми драченами», а особенно три последние строчки:

*От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.*

И ночью, уже ложась спать, я все восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не могу припомнить всего стихотворения.

Это о стихах. Сами же поэты, главным образом их наряды, особенно внешность Есенина, возбудили во мне отрицательно-ироническое отношение. Костюмы их мне показались маскарадными, и я определял их для себя словами: «опереточные пейзажи» и «пряничные мужички». Тогда-то и вспомнился мне римский кинематограф и русские революционеры в кучерских кафтанах, остриженные в кружок.

Впоследствии я к этой стилизации отнесся более терпимо. Надо принять во внимание, каково было большинство публики, перед которой они выступали. Тут много было показного, фальшивого и искусственного. Были тут, между прочим, какие-то грацирующие, лощеные юноши, у которых весь ум ушел в пробор, «белобилетники», как их тогда называли, были разжиревшие и обрюзгшие меценаты с бриллиантовыми перстнями и свинными глазками. Была одна поэтесса так хорошо загримированная, что к ней приложимы были слова сатирика: «в ее твореньях красок нет, а на лице их слишком много». Всякая была публика. Пресыщенных господ, эстетов и

морфинистов потянуло на капусту, т. е. к народу, к поэтам народным, но, конечно, не настоящим, а стилизованным. Клюев и Есенин, что ни говори, а люди себе на уме, прекрасно учили, что от них требуется. Отчего же не облапошить господ!.. Конечно, не в таком костюме ходил Есенин, когда полтора или два года посещал университет Шанявского, где, кажется, усердно занимался.

И еще одно убеждение осталось у меня от этого вечера, когда я впервые увидел Есенина (насколько мне известно, это было вообще его первое публичное выступление в Москве: в Питере он выступал и раньше). Есенина этого периода нельзя рассматривать отдельно от Клюева: так тесно они тогда были связаны. Клюев несомненно заслонял собою Есенина и страшно на него влиял.

Так и последующий «скифский» период в деятельности Есенина немислимо отрывать от творчества других «скифов». И только позднейший Есенин, когда он стал сам по себе, может рассматриваться особняком.

Летом 1916 года вышла «Радуница», а вслед за тем в «Вестнике Европы» первая кри-

тическая статья об Есенине П. Н. Сакулина под заглавием «Народный Златоцвет». Эта статья очень характерна для отношения критики к Есенину первого периода. Как и следовало ожидать, Есенин рассматривается вместе с Клюевым, и последнему уделяется гораздо более внимания. Дав довольно подробную характеристику Клюева, Сакулин говорит: «сродни Клюеву молодой, двадцатилетний певец С. А. Есенин, только что издавший сборничек „Радунца“. Порою кажется даже, что он еще не определился и поет по внушению своего более зрелого собрата».

Некоторое, может быть, невольное усиление мужицкой подлинности Есенина находим мы и в статье Сакулина.

Про Клюева и Есенина сказано, что живут в деревне и «ведут мужицкое хозяйство». Уже и тогда это было не совсем верно. Понижена и степень полученного Есениным образования. Выходит, что как будто он ограничился только церковно-приходской школой. В действительности же он прошел учительскую школу, что-то в роде учительской семинарии, где преподавание поставлено было довольно вы-

соко, а потом посещал университет Шанявского в Москве. Таким образом некоторая стилизация образа крестьянского поэта еще сохранилась. Ничего специфически крестьянского, никакой стилизации под народность не было у Есенина, когда я с ним познакомился лично. Тогда он был имажинистом. Одевался немного под художника, нарочито небрежно повязанный галстук, носил пышные кудри, но не по-мужицки. Весь был тонкий, легкий, быстрый и светлый. Я бы ни за что не поверил, что это тот самый, которого я когда-то видел оперным мужичком.

Есенин-имажинист не любил, когда слишком подчеркивали его связь областную... Он сознательно отказывался в своем творчестве от рязанских, местных слов и тщательно изгонял их из своих прежних стихов при новых изданиях. Он хотел быть общерусским поэтом.

Он говорил мне, что еще до «Радуницы» уже выпустил сборничек стихов под заглавием «Русь»... но показать мне этого сборничка он не мог, говоря, что у него самого нет. Думаю, что это просто был оттиск или вырезка

из журнала.

Но если бы действительно был такой сборник, это было бы характерным началом для всей его последующей деятельности. Ведь называл же он его «Русью», а не «Рязанским Краем».

В 1916 г., когда я его видел в первый раз, он еще воспевал рязанского героя Евпатия, вводил в стихи рязанские слова, теперь сознательно отказывался от этого. Он решил быть общерусским поэтом.

Теперь, когда он умер, некоторые из приятелей опять вспомнили его рязанское происхождение. И вот один вспоминает, как Есенин «подмигнул по-рязански», другой находит, что он «повесился по-рязански».

Все это, может быть, и очень любопытно для краеведов, но что бы сказал Есенин, читая такие ультракраеведческие устремления.

1920 и 1921 года надо считать временем расцвета имажинизма в Москве.

Тогда книжных магазинов было мало, частным лицам содержать их было запрещено, разрешалось только организациям, литературным или политическим. Была лавка

«писателей», лавка «деятелей искусства» и т. д. В двух лавках засели имажинисты. В Камергерском торговали Шершеневич и Кусиков, на Никитской у «Художников слова» можно было видеть за прилавком Есенина и Мариенгофа. Все они были ловкими и предприимчивыми и ухитрялись издавать книжки своих стихов и при самых неблагоприятных условиях.

Тогда поэту выступать в одиночку становилось особенно трудно. Чтобы выдвинуться, надо было обратить внимание. Но как? Книжки почти не выходило. В моду вошли вечера поэтов. Но выступление на этих вечерах лиц с новыми неизвестными фамилиями мало привлекало бы публику, и вот стали сочиняться поэтические школы одна за другой. Если представить на афише, что будут выступать представители всех школ и в том числе те, о которых публика вчера еще ничего не слыхала, это, значит, обеспечить успех, публика валом повалит. Таким-то образом и появились имажинисты, экспрессионисты, неоакмеисты, презантисты, евфуисты и проч. и проч.

Все это делалось для публики, делалось на-

спех. Мне лично известно несколько случаев, когда поэтам накануне еще не было известно, представителями от каких школ им придется завтра выступать. Каждая из этих школ старалась доказать, что она не придумана позавчера за стаканом жидкого чаю, а выросла органически, имеет глубокие корни в прошлом и неизбежно будет единственной школой будущего.

Насколько это было так, доказывается исчезновением всех этих школ через два, три года. Эта мистификация, отчасти по наивности, отчасти по расчету, поддерживалась и кое-кем из критиков. На самих же вечерах происходило обычно следующее.

Во-первых, большинство из объявленных на афише на вечер не являлось, что немало раздражало публику, во-вторых, слушая стихи тех или других поэтов, публика никак не могла уловить различия между данными школами, т. е. должна была признать себя или недостаточно понятливой, или обмороченной и еще более свирепела. Этим, думается мне, следует объяснить многочисленные скандалы на таких вечерах.

Одного такого вечера я никогда не забуду.

Ни одно из произведений Есенина не вызвало такого шума, как «Сорокоуст». Истинная слава вообще неотделима от шума и скандала. Одни рукоплещут, другие свистят и шикают. Единодушное признание свидетельствует о том, что в данном произведении нет настоящего творческого дерзания, или это признание приходит позднее, когда страсти поулягутся.

Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота. Один за другим читают свои стихи представители различных поэтических групп и направлений. Многие из поэтов рисуются, кривляются, некоторые как откровения гения вещают свои убогие стишки и вызывают смех и иронические возгласы слушателей. Публика явно утомилась и ищет повода пошуметь... пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов.

Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст». Уже четвертый или пятый стих вызывает кое-где свист и

отдельные возгласы негодования. В стихах этих речь идет о блохах у мерина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканья, крики «довольно» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется.

Часть публики хлопает, требует, чтобы поэт продолжал. Между публикой явный раскол. С невероятным трудом при помощи звучного и зычного голоса Шершеневича председателю удается, наконец, водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит:

«Вы слышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние два или три года».

Есенин начинает, по обыкновению размахивая руками, декламировать сначала. Но как только он опять доходит до мужицких

слов, не принятых в салонах, поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. «Это безобразия», «Сами вы хулиганы – что вы понимаете» и т. д. Только Шершеневичу удастся перекричать ревущую аудиторию: «А все-таки он прочтет до конца», кричит Шершеневич. Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он третий раз читает свои стихи, читает долго, по обыкновению размахивая руками, но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум.

Когда Есенин оказался в компании имажинистов, многие стали его оплакивать и пророчить гибель таланта. Особенно удивлялись, как четыре имажинистских кита – Есенин, Шершеневич, Мариенгоф и Кусиков – разделились на две пары. Есенин более дружил с Мариенгофом, Шершеневич с Кусиковым. Казалась бы более естественной другая группировка: Шершеневич с Мариенгофом. Большинство они воспринимались как поэты надуманные, как словесные клоуны. Есенин же скорее ассоциировался с Кусиковым. У того и другого находили искренний лиризм,

пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов.

Однажды я шел по Никитской с одним критиком, писавшим в то время статью об имажинистах. Навстречу – Есенин с Мариенгофом. Остановка. «Я вас разведу», сказал критик встретившимся: «Мариенгофа обвенчаю с Шершеневичем, а вам, Есенин, дам новую жену: Кусикова». – «Какой ужас! – засмеялся Есенин: – нельзя ли кого другого, только не Кусикова».

На следующий день Есенин сказал мне: «Не знаю, зачем нужно меня с кем-нибудь спаривать: я сам по себе. Достаточно того, что я принадлежу к имажинистам. Многие думают, что я совсем не имажинист, но это неправда: с самых первых шагов самостоятельности я чутьем стремился к тому, что нашел более или менее осознанным в имажинизме. Но беда в том, что приятели мои слишком уверовали в имажинизм, а я никогда не забываю, что это только одна сторона дела, что это внешность. Гораздо важнее поэтическое мироощущение».

Каждая школа нуждается в теоретическом

обосновании. Эта сторона также была у имажинистов обставлена прекрасно. Шершеневич и Мариенгоф взялись за это так талантливо и энергично, что сами наполовину могли поверить в жизненность и органичность той школы, которую придумали.

У Есенина и раньше была потребность создать какую-нибудь новую поэтическую группу. В период, когда он писал «Ключи Марии», наиболее близким единомышленником казался ему Сергей Клычков и вместе с этим поэтом Есенин собирался провозгласить новую литературную школу «аггелизм», но по трезвому размышлению отказался от этой мысли. Познакомившись с Мариенгофом и Шершеневичем, он увидал, что с ними можно прийти к известному соглашению. Результатом этого соглашения (именно соглашения, а не слияния) и был имажинизм.

Мне Есенин не раз говорил, что в имажинизме он нашел воплощение того, о чем много думал раньше, но если принять во внимание, что своих друзей, Мариенгофа и Шершеневича, он считал поэтами, схватившими только внешность имажинизма, выходило,

что истинный имажинист он сам, и судить об имажинизме по Мариенгофу и Шершеневичу, как делала публика на основании их теоретических выступлений, нельзя.

Меня несколько удивило, что, всегда дружески отзываясь о них как о людях, он строго относился к их творчеству, не находя у них самого, по его мнению, главного: поэтического мироощущения.

Но гораздо больше нападал он – и по другим основаниям – на тех двух поэтов, которые в его прежней деятельности играли наибольшую роль: на Блока и на Клюева. Он подсмеивался над «вечной женственностью» Блока, находя в этом еще лишнее доказательство, что Блок не может быть признан русским национальным поэтом: русскому народу идея **такой** женственности совершенно чужда. Такие же выражения, как «мать-сыра земля», говорят совсем об ином.

Когда я однажды спросил Есенина, на кого из начинающих поэтов он возлагает наибольшие надежды, он назвал мне Николая Эрדмана. Увы! Этой надежде не удалось осуществиться. Как поэт-лирик Эрдман до сих пор

не приобрел себе имени.

Пренебрежительно относился Есенин ко всякого рода подражателям. Помню, как я однажды застал его с тощею книжечкою в руках. Это были только что напечатанные стихи одного начинающего поэта. «Ни одного собственного образа!» – с досадою сказал Есенин. «Он сам еще не пережил того, о чем с чужих слов говорит». И потом добавил странное сравнение: «Знаете, бывает: девочка еще не созрела, а ее уже растлили, вот и этот поэт, он еще не созрел, а уже – растленный мальчик».

Есенин очень любил говорить о себе и своих произведениях.

Однажды Есенин сказал мне: «Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться „Пугачев“.

– А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи пугачевского бунта?

– Нет.

Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагическою участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было 17 или 16 лет, когда Пугачев взял ее «за

красоту» себе в жены, взял насильно; она его не любила, а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее, как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме.

– Ну это совсем другое!

– А как вы относитесь к пушкинской «Капитанской дочке» и к его «Истории»?

– У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь.

И потом, немного помолчав, прибавил: «В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина – не бабий бунт. Ни одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии».

Я ответил, что тоже таких не припоминаю.

– Я несколько лет, – продолжал Есенин, – изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был не прав. Я не говорю уже о том, что у него была своя дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Напр., у него

найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от руки пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева.

Он немного помолчал.

– А знаете ли, это второе мое драматическое произведение. Первое «Крестьянский пир» должно было появиться в сборнике «Скифы»; начали уже набирать, но я раздумался, потребовал его обратно, как бы для просмотра, и – уничтожил. Андрей Белый до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею.

Меня удивляло, что о женщинах Есенин

отзывался большею частью несколько пренебрежительно. «Обратите внимание, – сказал он мне, – что у меня почти совсем нет любовных мотивов. „Маковые побаски“ можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании „Радуницы“. Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве».

Это говорилось в 1921 году. Последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» осталось, конечно, верным.

* * *

– С детства, – говорил Есенин, – болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было, конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, напр., знаете вы мою «Радуницу»?

– Да.

– Какое у вас издание?

– У меня есть и первое и второе.

– Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали,

а мне это сначала нравилось. «Что это такое значит, – спрашивали меня:

*Я странник улогий
В кубетке сырой?»*

Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов: целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил.

– Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано, – заметил я, – состав стихотворений другой.

– Да я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал, например, изменил стихи о «страннике улогом» и о «кубетке» – стало просто:

*Я странник убогий,
С вечерней звездой
Пою я... и т. д.*

Выбросил я многие из «Маковых побасок». Эти «Маковые побаски» написаны были

мною, когда мне было около четырнадцати лет. Первым моим стихотворением, появившимся в печати, было «Сыплет черемуха снегом». В конце 1914 года оно помещено было Виктором Сергеевичем Миролубовым в его «Журнале для всех». Я включил его потом в первое издание «Радуницы», а из второго, хотя и по другим соображениям, тоже выбросил.

* * *

Вечером в этот день, когда у меня был данный разговор с Есениным, я пересмотрел дома обе «Радуницы». В первой было тридцать три стихотворения. Из них во второй сохранились только девятнадцать, причем некоторые из них были переработаны. Новых во втором издании появилось девять стихотворений. Обратил я внимание и на первое появившееся в печати произведение поэта. Вот оно:

*Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.*

*Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы, луга и дубравы,
Я одурманен весной!*

*Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.*

*Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птахи в лесу!
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.*

Обратил я внимание и на то, что и во втором издании остались все же некоторые мало понятные слова, например, «ливенка», «на кукане» и т. д.

Разговор зашел о влияниях и о любимых авторах.

– Знаете ли, какое произведение, – сказал Есенин – произвело на меня необычайное впечатление?! – «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Вот откуда, может

быть, начало моего имажинизма. Из поэтов я рано узнал Пушкина и Фета. Со стихами Бальмонта познакомился гораздо позже, и Бальмонт не произвел на меня особенного впечатления. Я решил, что Фет гораздо лучше, и продолжаю неизменно думать так и до сего дня.

Очень полюбил я также Блока, пока не осознал, что его отношение к России меня не может удовлетворить. Попав в Петербург, я прежде всего постарался его разыскать. Мне хотелось слышать его мнение о моих стихах. С течением времени все больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно оценили. Кроме Блока, в Петербурге оказали на меня влияние Николай Клюев и Сергей Городецкий, принявшие во мне большое участие. Живя в Петербурге в 1915–1917 гг., я многое себе уяснил. В общем развитии более всего за эти годы обязан был Иванову-Разумнику. Громадное личное влияние имел на меня также Андрей Белый. Все мы, кроме Городецкого, объединились вокруг сборников левых эсеров «Скифы». Иванов-Разумник поддержи-

вал во мне революционное настроение в годы войны. В 1916 г. я был призван на военную службу.

* * *

Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан. Отец мой был бедный крестьянин. Поэтому меня взял на воспитание мой зажиточный дед. Это был удивительный человек. О нем говорю я в своем стихотворении «Пантократ». Дед имел прекрасную память и знал наизусть великое множество народных песен, но главным образом духовных стихов. Я сочинять стал рано, лет девяти, но долгое время сочинял только духовные стихи. Некоторые школьные товарищи начали меня убеждать попробовать себя в стихах другого рода. Я попробовал и – мне было тогда около 14 лет – написал «Маковые побаски». Около того же времени «Миколу». То и другое вошло потом в «Радуницу».

26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне пред этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и

другие его рассказы о себе, относящиеся большею частью к концу 1920 г., приведены мною в другом месте (см. Иван Розанов. Есенин о себе и других. Изд. «Никитинские субботники»).

III

После возвращения Есенина из Америки я редко его видел. Мне не нравился его узкий национализм.

10 мая 1924 г. я был в одном литературном кружке, помещавшемся в частной квартире. Хозяйка сообщила мне, что в конце вечера будет читать свои стихи Есенин. Я давно его не видал, и эта встреча мне улыбалась. Как фундамент положен был серьезный и длинный историко-литературный доклад об одном еврейском писателе. В середине доклада в комнату шумно вваливается несколько человек. Одни из них, не снимая шляп и котелков, присаживаются к столу. Другие остаются стоять у двери. Когда шум улегся, докладчик начал продолжать свое чтение... Среди вновь пришедших скоро начались разговоры и все громче. Председатель останавливает.

– Дело в том, – раздается вдруг голос, – что то, что тут читается, нам совсем не интерес-

НО...

Я оборачиваюсь. Всматриваюсь в говорящего. Да никак это Есенин?

Кто-то из другого конца комнаты отвечает ему:

– Вы пришли поздно и потому вам не интересно, а мы слушаем с самого начала и, пожалуйста, не мешайте!

– Ну хорошо! Слушайте! – Как бы снисходительно, великодушно разрешает Есенин и минуты на три смолкает.

Докладчик опять продолжает чтение. Но новый шум и разговоры заставляют его попросить председателя объявить перерыв.

Многие встают с мест. Есенин замечает меня, приближается, здоровается (вернее: здороваюсь я) и садится рядом. Я ожидаю от него каких-нибудь ласковых и приветливых слов в связи с тем, что нам давно не приходилось видеться. Но он бледен, нервно возбужден, нетрезв и явно нарываяется на скандал. Он прямо приступает ко мне с бранью по адресу и докладчика и доклада. Подходит хозяйка. Есенин встает, здоровается с нею и из озорства, как будто впервые представляясь ей,

подчеркнуто произносит: «А я – русский, Сергей Есенин». Чтение стихов, конечно, не состоялось. Шумная компания скоро уехала.

Следующий раз я увидел Есенина трезвым и поэтом. Это было 6-го июня того же года, в памятный для литературной Москвы пушкинский день. Сто двадцать пять лет со дня рождения Пушкина. Все писатели приглашались к 6 ч. вечера к «Дому Герцена» на Тверском бульваре. Оттуда, выстроившись рядами, со знаменем во главе, торжественно двинулись к памятнику Пушкину, где должно было происходить возложение венка. Кажется, в истории русской литературы, а может быть, и не только русской, это была первая процессия писателей, и довольно многолюдная. «Читатели» стояли по обеим сторонам и созерцали невиданное зрелище.

У памятника великого поэта речей не произносилось. Сказал только коротенькое приветствие П.Н. Сакулин, а затем слово было предоставлено поэтам для произнесения стихов. Первой на ступенях пьедестала, возле только что возложенного венка (вправо от него, если смотреть от Страстного монасты-

ря), появилась фигура Есенина. Он был без шляпы. Льняные кудри резко выделяли его из окружающих. Сильно раскачиваясь руками и выкрикивая строчки, он прочел свое обращение «К Пушкину». Впервые прозвучало стихотворение, известное теперь всем и каждому.

*Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.*

Насколько я помню, особенное внимание у всех приковала к себе вторая строка:

Блондинистый, почти белесый...

Уже это определение цвета волос Пушкина многим показалось странным. Ведь до сих пор большинство представляет себе, что, раз он был по происхождению арап, следовательно, брюнет. А тут еще «белесый», – явно Есенин хочет загримировать Пушкина под себя.

Яснее говорили об этом следующие строки, еще более поразившие слушателей:

*О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.*

– Ог-о!.. – сказал стоявший рядом со мной один пожилой писатель.

Но толпа замерла в напряженном внимании, когда Есенин, слегка изменив тон, но с тем же выкрикиванием и размахиванием руками – Эх, была не была! – стал читать последние строфы:

*А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.*

*Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.*

Есенин кончил и сошел со ступеней. Среди слушателей оживление, беглый обмен мнениями. Кто о самих стихах, кто по поводу них.

– Хорошие стихи. Прекрасно! – бросают одни.

– А у него губа-то не дура! «Ну что брат Пушкин? – Да так как-то все», – иронизирует пожилой писатель.

– Но «повеса» и «хулиган» – это две боль-

шие разницы! – глубокомысленно бурчит себе под нос какой-то субъект мрачного вида.

Но на всю эту болтовню отпущено времени каких-нибудь четверть минуты.

Опять толпа замирает.

На ступенях памятника уже новый поэт. Всего читали стихи свои пять человек: кроме Есенина, Городецкий, Орешин, Казин и Зенкевич. Потом процессия писателей двинулась обратно к «Дому Герцена».

От «Дома Герцена», расходясь по домам, мы шли до Никитских ворот небольшой группой в 5–6 человек. Обменивались впечатлениями. Из стихов Сергея Городецкого произвела впечатление, вызвав недоумение, и осталась в памяти фраза, что Пушкин умер от «провокационной» (!) пули Дантеса. Говорили, что стихи Казина хороши, но их никто не расслышал: так тихо Казин читал. На площади стихи надо выкрикивать, как делал это Есенин. Кто-то хвалил Орешина. Смысл его стихов резюмировался так: «Ты – великий поэт. И вот мы пришли теперь чувствовать тебя. А сколько среди нас всякой мрази и погани, недостойной своими продажными устами не

только чувствовать тебя, но и произносить твое имя». Что-то вроде этого. Всего лучше запомнились стихи Есенина. Прежде всего, они были первыми по времени и воспринимались со всею свежестью внимания. Если Есенин сам позаботился о том, чтобы читать первым, то расчет его оказался верен. Да и по характеру стихов ему надо было читать первым, не говоря уже о том, что он сам отводил себе среди современных поэтов первое место. Во-вторых, стихи его легко запоминались потому, что так обычно бывает с хорошими стихами. Подтверждение этому мы найдем в биографиях и взаимоотношениях Пушкина и Жуковского. Значение имело и то, что в стихах Есенина были также острые и рискованные места, которые первоначально могли некоторыми восприниматься, как трюки, напр.,

*О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.*

В тот же вечер, позднее, было торжественное Пушкинское заседание в Большом театре. Я узнал потом, что в одной из лож находился одно время Есенин и... буянил.

В то время, летом 1924 года, Есенин, хотя и готов был «сейчас умереть от счастья», если бы удалось «сподобиться» судьбе Пушкина, но допускал возможность, что ему суждено «еще долго петь».

«Долго петь» не пришлось. Помню, как поразил меня рассказ приятеля про одно из последних выступлений Есенина в «Доме Герцена». Он читал своего «Черного человека», появившегося в печати уже после его смерти.

Над этим произведением, как теперь выясняется, он много работал и придавал ему большое значение. Это действительно был его «Реквием». Дойдя до воспоминаний детства:

*Не знаю, не помню,
В одном селе,
Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...*

Дойдя до этого места, Есенин разрыдался, и чтение на этом закончилось.

Этот «черный человек» Есенина, – конечно, сродни тому, который зловеще гнался за Моцартом у Пушкина:

*Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень, он гонится.*

Среди вреднейших заблуждений, очень распространенных среди критики и большой публики, необходимо отметить взгляд, что только бездарным труженикам, завистникам типа Сальери, приходится корпеть над стихами, а истинным талантам, типа Моцарта, творчество дается легко. Более нелепого вздора трудно что-нибудь придумать. В действительности оказывается как раз наоборот. Величайшие художники слова наиболее «корпели» над своими произведениями: Пушкин и Лермонтов над каждым стихом, Гоголь и Лев Толстой над каждой своей фразой. Исключения остаются исключениями и в качестве таковых ничего не доказывают. Прямо набело, почти без помарок, писал Мицкевич. Кто другой из крупных – не знаю.

Как общее правило можно утверждать, что

стихи, которые легко даются, немногого и стоят. Это признак легкой переимчивости – и только. Начинаящим поэтам надо говорить: если ты пишешь легко и быстро и охотно довольствуешься первыми приходящими тебе в голову выражениями, знай, что никогда ничего путного из тебя не выйдет. Посмотри на факсимиле черновики Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого.

Из этого не следует, конечно, что всякий, кто способен корпеть, тем самым может стать и значительным поэтом. В конце концов важны достижения, а не путь, которым к ним шли. Мицкевич тоже великий поэт. Но необходимо разрушить предрассудок, что будто бы истинным дарованиям творчество дается легко.

У Лермонтова в кавалерийской школе был товарищ. Впоследствии, когда Лермонтов прославился, этот товарищ никак не мог этого понять. «Бывало сидит целый вечер, грызет, грызет перо, напишет одно – зачеркнет, напишет другое – зачеркнет, в результате за весь вечер каких-нибудь двенадцать строчек, какой же это талант?..»

Как теперь выясняется, Есенин так же много «корпел» над своими произведениями, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Лев Толстой. Какое страшное напряжение нервов! А тут еще критика не понимает, в журналах ругают, а рядом литературные ловкачи, по существу бездари, обгоняют, заслоняют. Пока еще толпа не разбирается, что это успехи мимолетные, успехи рынка, а не литературы. Не удивительно, что на этой почве у писателей, которые творчеству жертвуют всем, легко развивается мнительность, сомнение, мания величия, мания преследования. Есенин последнее время несомненно был близок к мании преследования.

Дешевле ли расплачиваются за свое творчество Моцарты, чем Сальери?

Сальери тратит время и труд, Моцарт гораздо большее: свое здоровье. У нас так много писали об этой пушкинской драме и никто не обратил должного внимания хотя бы на такие строки:

*Намедни ночью
Бессонница моя меня томила
И в голову пришли мне две-три*

*мысли,
Сегодня я их набросал.*

«Моя», т. е. «моя, привычная». И набросал он их не сразу, на другой день, а через несколько времени. И эти дни внутренне, конечно, занят был и жил только одним этим.

Если так бывает всегда, естественно, что все это должно закончиться, как у **Моцарта**, «черным человеком».

Такова была участь нашего Гоголя. И недаром Гоголь был любимейшим русским писателем у Есенина: тут была особая тяга, особая нежность, потому что было сходство положений.

До меня стали доноситься слухи, что Есенин долго не выживет. Говорили, что он очень плох, и я удивился и обрадовался, когда узнал, что он уже не в лечебнице, а уехал в Ленинград. Значит, ему стало лучше.

В понедельник 28 декабря 1926 г. часов в 6 вечера я находился в комнате, где только что поставили радиоприемник. Одним из первых известий, услышанных мною по радио, было «Сегодня в Ленинграде умер поэт Сергей Есенин», и только. Дальше тем же тоном стали

сообщать другие известия. Я положил трубку. Тогда еще я не знал, что это – самоубийство.

Еще раз пришлось мне его увидеть в Доме печати, мертвым. В гробу он опять показался мне новым и неузнаваемым. Он как бы помолодел. Словно ему было не 30 лет, а 20. Волосы, не очень длинные и не такие густые, как раньше, зачесаны были тщательно назад. И я вспомнил, каким видел его десять лет тому назад при его первом публичном выступлении в Москве. Тогда у него были пышные молодецкие кудри, а главное, голубели, сияли, были открыты глаза.

Теперь последнее публичное выступление в Москве. Но перед публикой неприлично выступать без грима. Он был слегка подгримирован и напудрен. И мне почему-то показалось, что на губах его застыло выражение какой-то нескрываемой обиды. Глаза закрыты. Успокоился навсегда, побежденный и навеки победитель.

Над Домом печати в это время развевался плакат:

Тело великого русского

**национального поэта
СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Покоится здесь.**

Иван Розанов

Одна ночь

(Из воспоминаний о С. Есенине)

Умер крупнейший поэт.

Умер человек, о котором давно, когда только лишь начинался литературный путь его, еще в 1915–1916 годах А. А. Блок говорил П. П. Неведомскому:

– Если хотите увидеть подлинного поэта, заходите завтра вечером ко мне. У меня будет читать стихи Сергей Есенин.

Крупные люди должны быть сохранены для истории не только в своем творчестве, но и в своей обыденности, в своей личной жизни.

Это обязывает людей, знавших покойного, закрепить на бумаге все, что сохраняется о нем характерного в их памяти, что они считают важным и находят нужным рассказать. Но к воспоминаниям личных знакомых покой-

ного, конечно, нельзя предъявлять тех же требований, какие мы предъявляем к биографу.

Воспоминания над только что засыпанной могилой, еще вчера нежданной, еще волнующей болезненно собой, еще не осознанной, как нечто обычное, непреложное в мире, – воспоминания о человеке, которого еще так трудно представить себе и так больно называть покойником, вряд ли могут быть вполне бесстрастны.

Вряд ли они могут быть вполне объективны, свободны от чисто индивидуальных, даже, может быть, и ошибочных иногда толкований тех или иных фактов, тех или иных слов, переживаний покойного, хотя сами факты и самые слова будут рассказаны безусловно точно.

Еще все это не успело стать прошлым, еще все слишком близко и слишком звучит в нас. Еще не стушевались отдельные моменты и слишком резко выделяются в памяти. Еще непреодолимо чувство, всегда мешающее мысли отграничить главное от случайного, общее от личного, непосредственное и истин-

ное – от искусственного, нарочитого, – часто самую жизнь от позы и маски.

И сказать нужно:

Это – мой рассказ о Есенине. Это мною пережито вместе с Сергеем. Это мне представляется вот в таком именно свете, для меня звучит так, – и никого это ни к чему не обязывает, никому не предлагается как исследование, как единственно возможное, единственно допустимое понимание рассказанных мною фактов.

И еще: даже и полноты от моего рассказа ждать не нужно. Это – не все, что я знаю о Есенине, не все, что я слышал от него.

Это – то, что я считаю не лишним рассказать, что мне лично кажется характерным для него и что в то же время не нарушает требований этики по отношению к живым, так или иначе соприкасавшимся с покойным.

Я не буду последователен хронологически.

Я расскажу только о нескольких часах жизни Есенина, об одной только ночи, а других дней, других встреч коснусь лишь мимоходом, попутно, – поскольку они ассоциируются для меня с пережитым в эту ночь.

Это была моя последняя встреча с Есениным.

Это было в ночь с 22 на 23 декабря 1925 г., – в последнюю ночь, проведенную Есениным в Москве.

В клубе «Дома Герцена» сошлись мы часов около одиннадцати, – Есенин, С. А. Поляков, К. А. Свирский (сын) и я.

Есенин нервничал, как нервничал всегда, когда много пил, – а он единственный из нас в этот день пил много, пил еще днем, там же в клубе.

Днем он шумел, затевал скандал, со многими ссорился, назвал одного из писателей «продажной душой», других – иными, не менее резкими словами.

Его тогда усмирили с трудом и увели из клуба.

Кто уводил его, не знаю: днем я в клубе не был.

Часов в одиннадцать, выпавшись, Есенин появился опять и опять пил вино, расплескивая его из бокала сильно дрожавшей рукой.

Помнил он все, что делал днем.

И как будто оправдываясь, как будто изви-

няясь, говорил С. А. Полякову, бывшему в тот день дежурным старшиной по клубу:

– Ведь я же не виноват. Ведь они же меня нарочно на скандал вызывают, травят, ножку всегда подставить стараются. Завидуют они мне, и из зависти все это.

Пил, волновался заметней:

– Меня выводить из клуба? Меня назвать хулиганом? Да ведь они все – мразь и подметки моей, ногтя моего не стоят, а тоже мнят о себе... Сволочи!.. Я писатель. Я большой поэт, а они кто? Что они написали? Что своего создали? Строчками моими живут! Кровью моей живут, и меня же осуждают.

Пил и расплескивал вино. Чокался громко, чуть не опрокидывая другие бокалы.

Говорил об этом – об обидах своих – долго и многословно, с болью, с надрывом.

Но это не были пьяные жалобы. Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и наконец прорывавшееся скандалом.

И прав был Есенин.

Завидовали ему многие, ругали многие,

смаковали каждый его скандал, каждый его срыв, каждое его несчастье.

Наружно вежливы, даже ласковы бывали с ним. За спиной клеветали.

Есенин умел это чувствовать внутренним каким-то чутьем, умел прекрасно отличать друзей от «друзей», но бывал с ними любезен и вежлив, пока не срывался, пока не задевало его что-нибудь уж очень сильно.

Тогда он учинял скандал. Тогда он крепко ругался, высказывал правду в глаза, – и долго после не мог успокоиться.

Так было и в этот раз.

О ком шла речь – говорить не стоит сейчас.

А через пять дней гроб Есенина несли и похоронами руководили «ближайшие друзья» поэта.

Так было написано в газетах...

И это звучало дико для тех, кто знал близко Есенина и его друзей.

В ту ночь Сергей нервничал вообще больше, чем обычно, но иногда вдруг весь закипал, иногда вдруг его передергивало, и слова вырывались криком.

Это – когда вдруг вспоминал о Ширяевце.

– Ведь разве так делают? Разве можно так относиться к умершему поэту? И к большому, к истинному поэту! Вы посмотрели бы, что сделали с могилой Ширяевца. Нет ее! По ней ходят, топчут ее. На ней решетки даже нет. Я поехал туда и плакал там навзрыд, как маленький плакал. Ведь все там лежать будем – около Неверова и Ширяевца! Ведь скоро, может быть, будем, – а там даже и решетки нет. Значит, подох – и черт с тобой! Значит, так-то и наши могилы будут? Я даже звонил после в ГПУ, чтобы оно обратило внимание на это безобразие. Мне обещали.

Просил несколько раз С. А. Полякова:

– И скажите вы, Сергей Александрович, им – этой комиссии ширяевской, – скажите Львову-Рогачевскому и Клычкову, что горло им перегрызу за ширяевскую могилу. Я завтра еду в Ленинград. Я сам их не увижу. А вы скажите.

Поляков пытался успокоить Есенина:

– Сергей Александрович, да ведь денег на-верное нет у комиссии.

Есенин нервничал еще больше.

– Как денег нет? В Госиздате лежат ширя-

евские три тысячи, которые комиссия в любой момент может получить. Я говорил им. Я говорил Клычкову.

Потом спокойнее:

– Да, наконец, я дам денег. Своих денег дам. Слава Богу, я теперь не нуждаюсь. Меня государство обеспечило. Мне Госиздат хорошо заплатил за собрание моих сочинений. Скажите вы им, что я дам денег, только чтоб ширяевская могила была, как могила, а не как черт знает что. Ведь все там лежать будем.

Разговор переходил на другие темы, в нем принимали участие даже и посторонние нам – какие-то молодые поэты, сидевшие за соседним столиком и все время подходившие к нашему – то познакомиться с Есениным, то со всякими вопросами к нему, то с просьбами, чтобы он читал стихи.

Иногда мы с С. А. Поляковым отклонялись от общей темы и говорили между собой о чем-то своем.

Есенин тогда разговаривал с К. А. Свирским или с компанией молодых поэтов.

Говорили о многом, причем менял темы разговора именно Есенин. – Видимо ему труд-

но было сосредоточиться на чем-нибудь одном. – Но к рассказу о могиле Ширяевца он возвращался несколько раз, и возвращаясь, нервничал до крика, передергивался мучительно.

Есенин читал свои стихи.

Прочитал всего «Черного человека». Прочитал прекрасно, как редко удавалось читать даже ему.

Это было подлинное вдохновение.

Потом вдруг вспомнил:

– Евгений, читай теперь ты. Ты говорил, что у тебя есть стихи, посвященные мне. Читай!

Я говорил ему о своих стихах дня два назад, встретившись с ним в автобусе. Тогда же я ему не смог их прочитать, потому что мы уже подъезжали к Воздвиженке. Мне нужно было в Кремлевскую больницу к больному тогда Ивану Рукавишникову. Об этом теперь вспомнил Есенин.

Я прочитал стихи, написанные 17-го декабря там же, в клубе «Дома Герцена», куда Сахаров притащил каких-то гармонистов.

Стихи эти начинаются так:

*«Эх, гульбище пьяное,
Сверканый пляс монист.
Улыбки обезьяны
Немого гармониста».*

Там есть место:

*«Эх, если бы Есенина
В разгул занесло»...*

И кончаются они строфой:

*«Все минет, все сгинет,
Все в памяти истлеет,
И медленно остынет,
Качаясь в петле»...*

Есенин слушал очень внимательно. Он нервничал, дергался. Потом оперся подбородком на руки и уставился на меня пристально.

И вдруг закричал, когда я кончил читать.

– А, вот как Сокол пишет. Значит, ему больно, если он так пишет. А ведь вам никому не больно. Вам никогда не бывает больно. Вы не умеете, вы боитесь чувствовать боль.

И долго еще говорил Есенин о том, что стихи имеет право писать только тот, кому больно, кто умеет чувствовать боль, о том, что истинным поэтом человек становится только в

те минуты, когда ему больно.

Есенин опять начал читать стихи сам и читал долго – все остальное до ухода время, с небольшими перерывами. Читал он последние стихи, читал самые ранние, всем хорошо знакомые.

Подбор прочитанных стихов был жуткий: смерть, тоска, боль.

Только об этом и читал.

Как-то тяжело под конец стало.

Передавалось есенинское настроение и мне, и, кажется, С. А. Полякову.

Как-то давил постоянный возврат разговора к могиле Ширяевца, «где все мы лежать будем».

Но предчувствия того, что случилось через пять дней после этой ночи, ни у кого из нас не было.

К. А. Свирский уверяет, что будто Есенин, после того как я прочитал свои стихи, говорил что-то о петле, о повешении, – но ни я, ни С. А. Поляков этого не слышали, – может быть, мы разговаривали в это время между собой.

Но во всяком случае, если что-нибудь и было высказано Есениным Свирскому в той

именно форме, как Свирскому теперь припоминается, если это и говорил Есенин о себе, а не просто только о моих стихах, – характерно, что и К. А. Свирский настолько не придавал этому никакого значения, что рассказал о разговоре только уже после смерти Есенина.

Разошлись поздно.

Есенин не хотел отпустить меня, настоял, чтобы я поехал вместе с ним и зашел к нему. (Мы оба жили по улице Кропоткина, почти в соседних переулках.)

– Поговорить хочется. О прошлом... о будущем.

Дорогой, пока тащила нас неподвижная извозчицья кляча, говорил почти только один Есенин.

Упрекал меня за то, что до сих пор я не собрался написать обещанную ему уже давно – еще весной 1924 года, когда он собирался редактировать журнал в Ленинграде, статью о нем и о Блоке, как о первых русских национальных поэтах.

Взял с меня слово, что я сделаю это теперь и вышлю ему в Ленинград.

В те годы – в 1923 и 1924 – мы много гово-

рили с ним на эту тему – о национальности и национализме в русской поэзии, и его интересовали мои утверждения, что Россия до Блока еще не имела национальной поэзии, что наши великие поэты были не национальны, а националистичны, что впервые только у Блока и у него чисто национальное приятие России, – со всем, что в ней прекрасного и что в ней жуткого, – приятие, как любовь к матери, независимо от того, какая бы она ни была.

*Да и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.*

(Блок)

*Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.*

(Есенин)

*Но не любить тебя, не верить
Я научиться не могу...*

(Есенин)

И он соглашался что, напр., у Тютчева совсем не то в стихе:

В Россию можно только верить...

Что у Тютчева это – только национализм, **выискивание того, что хочется найти, прославление**, а не приятие, что это – «гром победы раздавайся», что это – не любовь беззаветная, а **любование**.

Тогда о России говорили мы много, и он мне писал на своих книгах:

*Тех кто ругает
Всыпь им.
Милый Сокол
Давай навеки
За Русь
Выпьем*

(На «Радуннице»)

*Сокол милый
Люблю Русь —
Прости
Но в этом
Я шовинист*

(На «Ключах Марии»)

*Милому Соколу
С любовью
Русской
Великоросской*

Обязательно

Апрель 1924

(Альбом)

Милому Соколу

Ростом не высокому

Но с большой душой

Русской

И все прочее

1924 – 4/II.

(На «Голубени»)

Говорили и о будущем, когда ехали к нему.
Сергей строил такие планы:

– Вот летом бы в поездку поехать, в большую поездку: по Волге до Каспийского моря, морем до Баку, потом по Кавказу и Черным морем до Крыма, по Крыму, а осенью вернуться в Ленинград через Одессу, Харьков, Киев и т. д. Я буду стихи читать, а ты обо мне доклад. Только вот предпринимателя, конечно, нужно найти. Сами-то мы ведь ничего не сможем организовать. Не сумеем. Ни черта у нас не выйдет.

При этом он оживился, повеселел, стал припоминать смешное – как однажды нас с

ним (перед тем, как он тоже как-то ехал в Ленинград читать стихи) ночью пригласили в милицию за то, что он не в меру шумел на улице, а потом сейчас же попросили удалиться из милиции, узнав его фамилию:

– Есенин? Проводите их. Ну их к черту! Он и здесь дебош учинит, а потом возись со всякими расследованиями, да еще свидетелями выступать придется.

Когда приехали на улицу Кропоткина, я хотел попрощаться.

Я не хотел заходить к Есенину, ссылался на то, что поздно, что жену его неудобно беспокоить, говорил, что зайду завтра проводить его.

Он уговаривал как-то тревожно, испуганно как будто.

– Жена ни при чем. Она отдельно. Вообще мы с ней теперь совсем отдельно.

Что-то говорил о разводе.

Тянул насильно.

Обещал свои последние книги, которых – после «Москвы Кабацкой» (с его приписками, добавлениями и исправлениями) – у меня не было.

Но тут же добавил:

– Если найдутся. У меня ведь книг никогда нет. Даже своих.

Когда мы сидели у него, разговор как-то не клеился, перебрасывался с одного на другое. Иногда подолгу молчали.

Оживился он только раз, и совершенно неожиданно.

Сидел долго задумавшись, и вдруг как будто продолжая вслух какую-то свою мысль:

– А с гармонистами мы с тобой, Сокол, еще погуляем. Вот ты в Ленинград приедешь, или я скоро в Москву загляну.

Я не сразу понял в чем дело, о каких гармонистах идет речь.

– Ты о моих стихах говоришь?

– Да... и о твоих стихах... И еще, помнишь, как свадьбу мы мою собирались летом справлять с гармошками. Тогда хорошо, что не вышло. Ни к чему бы это было... А вот теперь хорошо будет. Ты приезжай ко мне в Ленинград.

Действительно Сергей свою свадьбу с С. А. Толстой собирался так праздновать. Они даже ездили с художником В. В. Денисовым снять для вечеринки мастерскую С. Т. Конен-

кова на Красной Пресне, и Денисов подыскивал гармонистов.

Почему-то это не состоялось. Почему – не знаю. Я уехал на дачу, и с Денисовым об этом после не приходилось говорить.

Уходить я пытался несколько раз, но каждый раз Сергей вскакивал, не пускал, тревожился.

– Не уходи. Если устал, то спи. Ложись вот на диван и спи. А утром позавтракаем, выпьем хорошенько. Эх, жаль, что сейчас вина нет. Мы бы сейчас выпили.

Теперь я понимаю, почему он не отпускал меня, почему так волновался:

Одному ему до утра оставаться не хотелось. Боялся. Страх одиночества в нем был настолько силен, что когда я уходил часов около шести утра, он разбудил сестру и уговорил ее посидеть с ним.

– Посиди вот здесь на диване. Я тебе стихи читать буду.

Попрощались, и больше я уже не видал Есенина живым.

А когда стоял у его гроба в Доме печати, многое стало понятным, что непонятно было

В ту ночь, многое приобрело определенное, большое значение, что тогда казалось случайным.

Москва. Март. 1926
Евгений Сокол

Годы восхода и заката

(Воспоминания о Сергее Есенине)

I

Не помню у кого – кажется, у римлян – была очень образная пословица:

– Есть люди, которых поцеловал Бог.

Щедро, гармонически-цельно был одарен природой рязанский юноша Сергей Есенин. Кто видел Есенина в юности, кто видел эти его золотые курчавые волосы, его светло-синие глаза, его улыбочливое лицо, эту его скромность и нежную приветливость всем и всему, тот, даже не зная, что он пишет уже неплохие стихи, непременно подумал бы:

– Этот курчавый рязанский парень обязательно будет поэтом.

Помню голодную столовку с кониной на Тверской, против «Алатра», в которой собира-

лись самые бедные писатели, поэты и журналисты и которой управлял тоже поэт, к сожалению, достаточно крепко забытый – П. П. Потемкин. Это был 18-й год. Здесь я впервые встретил золотоволосого рязанского мальчика в поддевке, с шарфом, два раза перекинутым вокруг шеи, в аккуратных «гамбургских» сапогах с прямыми голенищами, всему улыбающегося, нежного, немного робкого, немного смешного, – стилизованного деревенского юношу, попавшего в большой город. Познакомил меня с ним, кажется, Василий Каменский. Василий Каменский тогда сидел на табуретке в боковой комнатухе с гармошкой и играл деревенские мотивы под пермские частушки и, как глухарь во время тока, не слышал и не видел вокруг себя ничего. Есенин стоял около него и с некоторой восторженностью слушал пермяка с его пермяцкими песнями и мотивами, которые не были похожи на рязанские. И улыбался.

Здесь, в этой литературной столовке, с кониной, жилами которой можно было бы засупонивать хомут, мы ежедневно кормились лошадиной полупадалью и протухшими су-

шенными овощами, оставшимися от интендантских складов. И изредка, как редкую роскошь, получали маленький скроек черного хлеба, усатого, как унтер-офицер.

С этой столовки началось наше знакомство с Сергеем Есениным, перешедшее затем в теплую сдержанную дружбу. В начале 1919 года Сергей Есенин жил у меня в «Люксе», бывшем тогда общежитии Наркомвнудела, где я имел две большие комнаты (номер 291).

Мы жили вдвоем. И во всех сутках не было ни одного часа, чтобы мы были порознь. Утром я шел в «Центропечать», где заведовал Лекционным отделом. Есенин сидел у меня в кабинете и читал, а иногда что-нибудь писал. Около 2-х часов мы шли работать в редакцию «Правды», где я был заведующим редакцией. Есенин сидел со мною в комнатке и почитывал все газеты, которые мне полагались. Вечером, кончив работу, мы шли обедать в случайно обнаруженную нелегальную столовку на Среднем Гнездниковском, ели сносный суп, иногда даже котлеты – самые настоящие котлеты, за которые платили слишком дорого для наших тогдашних заработков. Потом при-

ходили домой и вели бесконечные разговоры обо всем: о литературе и поэзии, о литераторах и поэтах, о политике, о революции и ее вождях, впадали в жуткую метафизику, ассоциировали землю с женским началом, а солнце – с мужским, бросались мирами в космосе, как дети мячиком, и дошли до того, что я однажды в редакции пустился в спор с Н. И. Бухариным, защищая нашу с Есениным метафизическую теорию. Бухарин хохотал, как школьник, а я сердился на его «непонимание». Убедившись, что у меня «вывихнулись мозги», Бухарин сказал:

– Ваша метафизика не нова, это мальчишеская теория, путаница, чепуха. Надо посерьезнее заняться Марксом...

Участвовавший в споре В. В. Осинский отнесся более снисходительно. Он принял нашу метафизику, как поэтическую теорию, вполне возможную... только не для серьезных людей, а для поэтов.

Есенин улыбался:

– Кому что как кажется. Мне, например, месяц кажется барашком.

Из окон нашей квартиры видны белые, лежащие за Москвой поля. Каждый вечер смотрим закат и с жутью дивимся необыкновенному количеству галок, которые громадной черной тучей носились над полями и городскими улицами. Этим галок Есенин помнил до самой своей трагической кончины.

– Помнишь, сколько было галок? – несколько раз спрашивал он меня в свой последний приезд в Ленинград. – Я никогда их не забуду...

Вскоре наше общество в «Люксе» увеличилось. Приехал С. И. Гусев-Оренбургский, которому посчастливилось достать здесь комнату. Теперь наша метафизическая теория приобрела еще одного глашатая.

Мы с Есениным ходим по комнате, Гусев-Оренбургский сидит на диване, тихонько наигрывая на гитаре. Есенин говорит:

– Женщина – есть земное начало, но ум у нее во власти луны. У женщины лунное чувство. Влияние луны начинается от живота книзу. Верхняя половина человека подчинена влиянию солнца. Мужчина есть солнечное начало, ум его от солнца, а не от чувства, не

от луны. Между землей и солнцем на протяжении мириадов веков происходит борьба. Борьба между мужчиной и женщиной есть борьба между чувством и разумом, борьба двух начала – солнечного и земного...

– Когда солнце пускает на землю молнию и гром, это значит – солнце смиряет землю...

– Да, да. Это удивительно верно, – восторженно говорит Есенин. – Деревня есть женское начало, земное, город – солнечное. Солнце внушило городу мысль изобрести громоотвод, чтобы оно могло смирать землю, не опасаясь потревожить город. Во всем есть высший разум.

В это время Сергей Есенин написал «Пантократор», являющийся поэтическим выражением нашей метафизической теории.

К Гусеву-Оренбургскому частенько заходил один талантливейший человек – доктор медицины М. С. Тарасенко, приехавший из Харькова. Через несколько дней Тарасенко, поэт по натуре, стал также глашатаем нашей теории. Даже последнее время он все еще носился с мыслью основать биокосмический институт. Развивая перед ним нашу теорию,

мы доходили до жесточайшей головной боли, а Тарасенко пластом валился на диван и умолял:

– Товарищи, довольно. У меня лопнет башка, столько вы накидали миров. Я не могу, дайте хоть немножко отдохнуть!

Еще немного времени спустя в нашей ассоциации оказался мой старый знакомый, известный ветеринарный врач и литератор Н. Н. Богданов. Богданов долго иронически улыбался, слушая наши горячие беседы, потом сам втянулся в них и на старости лет спятил так же, как и мы... Он также стал метафизиком... Конечно, на время, как и все другие, в том числе и мы с Есениным. Только Тарасенко, с чисто украинским упорством, все еще, кажется, мечтает основать биокосмический институт для проработки нашей поэтической теории.

III

В это время Есенин работал много. Он, кроме «Пантократора», написал целый ряд лирических стихов: «Небесного барабанщика», которого я хотел напечатать в «Правде» (попытка эта кончилась неудачей из-за сопротивле-

ния члена редколлегии Н. Л. Мещерякова), «Ключи Марии» и др. В это время выходила еженедельная газета «Советская Страна», которую я редактировал и в которой Есенин напечатал несколько своих стихотворений – «Песнь о собаке», «Ложноклассическая Русь» и др. Вскоре, на 4-м номере, газета была закрыта, стихи печатать Есенину было негде; средств не было никаких, но все же мы кое-как перебивались. А потом пришла некоторая поддержка от Издательства ВЦИК, которое купило у Есенина томик стихов, а у меня 2 тома рассказов. Издательство деньги нам выдало, но не издало ни строки ни у меня, ни у Есенина. Мои рассказы были потеряны навсегда, а стихи Есенина остались живы только потому, что он все помнил наизусть... Впрочем, как и все, что он написал за свою короткую жизнь. У Есенина была исключительная память. Он помнил почти всего Блока и не меньше половины стихов Пушкина.

В «Ключах Марии» Есенин раскрыл все секреты своей поэтической лаборатории, и когда он прочитал мне рукопись, я начал уговаривать его, чтобы он не печатал ее.

– Почему?

– Как – почему? Да ты тут выдаешь все свои тайны!

– Ну так что же? Пусть! Я ничего не скрываю и никого не боюсь.

Пусть кто хочет пишет так же, как и я. Я думаю, что это не будет плохо...

И немного позднее «Ключи Марии» были изданы, кажется, Московской Трудовой артелью художников слова.

Как-то на улице я встретил Виктора Сергеевича Миролубова – известного редактора и издателя «Журнала для всех». Он захотел повидаться также и с Есениным. Миролубов сидел у нас долго. Есенин читал ему новые стихи, Миролубов внимательно слушал, но все смотрел с какой-то неловкостью в сторону. Когда Есенин прочитал ему «Пантократора», Миролубов тяжело вздохнул и сказал:

– Фона нет, Сергей Александрович! Где у вас фон? Без фона никакое литературное произведение не имеет цены... Вы сбились с дороги...

Есенин посмеялся и тут же прочитал свои новые лирические стихи с «фоном». Миролубов

бов пришел в восторг:

– Вот это настоящее! Вот это, Сергей Александрович, настоящая поэзия...

– «Пантократор» – тоже настоящая, только он вам чужд, потому что у вас консервативный вкус. Вот они, – Есенин показал на меня и Гусева-Оренбургского, – они вот понимают!

Действительно мы «понимали», потому что нам нравилось все, что бы ни писал Есенин, в особенности когда свои стихи читал он сам. Читал он так, как никогда не прочесть ни одному артисту. Помню, в один из вечеров, когда мы смотрели закат, пришел Касаткин. Галки носились с криком, заслоняя уходящее солнце, словно его занавешивали черным пологом. Есенин, по нашей просьбе, стал читать «Пантократора». Касаткин слушал, потом отошел к окну, поднес руку к глазам... Он не мог удержать слез.

*Отче, отче, ты ли внука
Услыхал в сей скорбный срок...*

Таял закат. Тучи галок унесли и распростерлись над московскими полями.

Звенит весенняя капель. Потеплел ветер, на тротуарах обледеница. У входа в «Центропечать» звучно гудит водосточная труба, из нее бежит на тротуар веселая весенняя струя. Мы идем «послужить». Есенин молчалив, он о чем-то сосредоточенно думает.

– О чем это ты?

– Да вот, понимаешь ли, ассонанс... Никак не могу подобрать. Мне нужен ассонанс к слову «лопайте».

Мы подходили к «Центропечати». И как раз на той ледяной луже, которая образовалась от центропечатской водосточной трубы, Есенин поскользнулся и сел в эту лужу среди тротуара.

– Нашел! – кричит он, сидя в ледяной мокроте и хохоча на всю Тверскую. – Нашел!

И когда мы поднимались по лестнице в «Центропечати», он мне продекламировал:

– Слушай, вот он – ассонанс, вернее – консонанс:

*Нате, возьмите, лопайте
Души моей чернозем.
Бог придавил нас ж...ой,
А мы ее солнцем зовем...*

Есенин вообще тогда много работал над рифмой и ассонансами, и работа эта не пропала даром.

Интересно отметить, что в ту пору и раньше элементы любви и эротики совершенно отсутствовали в есенинских стихах. Были, впрочем, такие элементы, но совершенно целомудренного характера, вроде: «Отрок-ветер по самые плечи заголил на березке подол», или о той же березке и о пастушке:

За голые колени он обнимал ее...

И только в последние годы в стихах Есенина появился, и то особый, любовный и эротический элемент в книге «Москва Кабацкая», в «Персидских мотивах».

Вообще у Есенина отношение к женщине было глубоко своеобразное. Он здесь был таким же искателем, как и в поэзии. Есенин женился рано, пережил какую-то глубокую трагедию, о которой говорил только намеками даже во время интимных разговоров вдвоем, когда он открывался настолько, насколько позволяла его, вообще скрытная, часто разительной двойственная, натура. Первая жена

Есенина жила с его ребенком в Орле, когда он жил у меня. Он с нею изредка переписывался, причем значительное место в письмах уделялось литературным темам. Встретившись с некоей девушкой В. Р., которая не плохо пела, Есенин в 1919 г. сошелся с ней, но ненадолго. Весной этого же года к нам приехала жена Есенина; В. Р. в это время была у нас... Узнав, что приезжая – жена Сергея, В. Р. стремительно уцепилась за мой рукав, утащила меня в ванную комнату, упала там ко мне на грудь и завопила благим матом. Есенин в это время в первой комнате объяснялся с своей женой... У обоих у нас состояние духа было достаточно незавидное. Девушка рыдала, я не знал – что я с ней должен делать и, наконец, предложил ей пойти вместе со мной в типографию, где печаталась «Правда», потому что в это время я уже должен был быть там. Девушка согласилась, я ей показал, как делается газета, показал ротационные машины и другие типографские чудеса. Когда мы возвращались обратно, девушка В. Р. уже совершенно успокоилась, весело смеялась, рассматривала дамские туалеты, а через несколько дней утешилась.

У Есенина, повторяю, был своеобразный, какой-то болезненный взгляд на женщину. В этом взгляде было нечто крайне мучительное. Когда он сошелся с Дункан, – я в это время далеко отошел от него, – при одной из встреч я по поводу этого брака с сомнением покачал головой: зачем?

Сергей смутился, потом принял вызывающий вид и с легким озлоблением сказал:

– Ничего ты не понимаешь! У нее было больше тысячи мужей, а я последний!..

Эта наша встреча была последняя перед очень долгим расставанием. Есенин уехал с Дункан за границу.

V

Осенью 1919 г. я уезжал в Сибирь. Пред этим я был в длительном отпуску по болезни и уехал к себе на родину в Городец. В Сибирь я ехал через Москву и повидался с Сергеем. Тогда у него были израсходованы уже все гонорары, жить было нечем, и он выступал в кафе «Домино», читал стихи, получая «за вечер» какую-то пустяковую сумму. Тут же в этом кафе родился пресловутый имажинизм. В то же время Есенин с А. Мариенгофом и дру-

гими лицами открыл книжный магазин на Никитской.

Есенин отошел от меня еще за несколько времени до моего отъезда в Городец. Отошел по целому ряду причин. Пред тем, как написать «Небесного барабанщика», Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет войти в коммунистическую партию. И даже написал заявление, которое лежало у меня на столе несколько недель. Я понимал, что из Есенина, с его резкой индивидуальностью, чуждой какой бы то ни было дисциплины, никогда никакого партийца не выйдет. Да и ни к чему это было. Только немного позднее, когда Н. Л. Мещеряков написал на оригинале «Небесного барабанщика», предназначавшего мною для напечатания в «Правде», «Нескладная чепуха. Не пойдет. Н.М.», – Есенин окончательно бросил мысль о вступлении в партию. Его самолюбие было ранено – первое доказательство того, что из него не вышло бы никакого партийца.

Вслед за этим с Есениным случилась неприятность: в результате резкого столкновения с администрацией «Люкса» ему был за-

прещен туда вход.

Через несколько дней мне, однако, удалось настоять, чтобы комендант отменил свое распоряжение о Есенине. Есенина снова пускали ко мне, но только не разрешали ночевать. Впрочем, удалось преобороть и это препятствие, но... ко мне приехал писатель Скиталец, и Есенин стал бывать у меня реже. Есенин не любил его. За что? Трудно сказать. Девица В. Р., прежде чем сойтись с Есениным, целую зиму была на положении невесты Скитальца, но едва ли это могло иметь для Есенина хоть какое-нибудь значение. Он просто не любил этого громадного, мрачного, скрытного человека.

– Что ты с ним возишься? – как-то сказал мне Есенин. – В нем ничего нет... это труп!..

Он вообще резок был в своих определениях, в особенности в определении тех людей, которых не любил.

Теперь Есенин жил у Кусикова, а Скиталец жил у меня. Есенин приходил все реже и реже. Он окончательно погрузился в свой имажинизм и был в кругу только своей поэтической группы. Иногда мы встречались в «До-

мино», иногда в кабачке на Георгиевском, где тайно продавали спирт... В это время Есенин начал довольно сильно пить.

Помню один случай в этом кабачке. Сидим: Есенин, Скиталец, Кусиков, Петр Маныч и я. Петр Маныч, изумительный рассказчик, рассказывает содержание своей новой повести, которую он называл, кажется, «Варсонофий, невходящий во храм». Это был замечательный рассказ о монахе, совершившем какое-то тяжелое преступление и в муках искупающем свой грех. Он не может войти во храм до тех пор, пока не кончит наложенного на него искуса. Маныч рассказывал долго, водка была забыта. Есенин слушал, впрочем, как и все мы, с напряженным вниманием. Когда Маныч кончил повествование, Есенин с пылающими глазами прочитал свою «Марфу Посадницу». И прочитал так, что даже для Есенина такое чтение можно было считать исключительным по силе. Водка по-прежнему стояла нетронутой. Чтение Есенина оставило едва ли меньшее впечатление, чем рассказ Маныча. Есенин почувствовал искренность нашего восторга, закинул голову, вытя-

нул руки и прочитал еще несколько стихотворений. Он был сильно возбужден. И, завладев общим вниманием, он тут же рассказал всем нам свои великие муки, когда он был солдатом, как издевались над ним офицеры, когда он вынужден был жить у какого-то полковника, приближенного ко двору, как заставляли его писать хвалебные стихи им и оды царю и придворной камарилье. Есенин отказался и попал в дисциплинарный батальон, откуда его вырвала только революция...

Во время рассказа возбуждение Есенина достигло крайних пределов. В один из моментов наиболее сильного напряжения Есенин схватил стакан, покрыл его своей широкой ладонью и изо всей мочи грохнул им по столу. И только, может быть, потому, что стакан был хрустальный, Есенин не перерезал себе вен. Стакан разлетелся в пыль, сделав только легкие царапины на ладони.

VI

Когда я уезжал в Сибирь, Есенин устроил мне такие проводы, что я едва нашел свой вагон. И кроме того, сунул еще бутылку спирта в карман пальто, которую я обнаружил толь-

ко на другой день, – вероятно, к большому счастью для меня... Тогда времена были слишком суровые и с подвыпившими людьми не церемонились.

Спустя год с двумя месяцами мы снова увиделись с Сергеем в Москве. Это был уже не тот Сергей, это был старый человек, надорванный, впавший в глубокий пессимизм, потерявший веру в революцию. Тогда им были написаны самые мрачные стихи и поэмы, вроде «Кобыльих кораблей», на него нахлынула жальность к людям, ко всему, даже к растениям, которые уничтожает человек:

*Вот она суровая жестокость,
Где весь смысл страдания людей.
Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.*

Мы пошли пообедать и расстались. Через несколько месяцев я был у него на именинах. Сергей был пьян. Он ушел в кухню, лег там на сырое, только что отжатое белье и проспал весь вечер. Его именины праздновали без него. Потом мы встречались редко и случайно. Появилась Дункан, Сергей почти на два года пропал за границей... За последние годы

он был у меня раз пять-шесть, всегда в тяжелом состоянии опьянения, плакал и скандалил, скандалил и плакал... Он стал невыносим, это был совсем другой Есенин, не тот, которого я знал в «Люксе» с его живым ищущим умом, с его образной метафизикой, – это был новый человек, который мучительно искал чего-то и не нашел ничего. Это был старик, впавший в тяжелое отчаяние и рассчитывающийся за болезнь своего отца и деда, алкоголик по наследству. У него были мучительные порывы вырваться из цепких лап болезни, он бросал пить и срывался снова.

И одна из таких попыток была последняя – его бегство от семьи в Ленинград. Здесь он мечтал начать жизнь сызнова с 1919 года.

– Найдем вместе квартиру и будем работать, как тогда в «Люксе». А тетя Лиза (моя жена) нас будет кормить.

Любил ли он кого? Я думаю, любил только первую жену. Он очень хорошо говорил о Дункан, о некоторых других... но у него не было постоянной любви, кроме той, которая при этом была мучительной, потому что он не мог сойтись снова, и от него ушли...

Днем пред роковой ночью Сергей, когда мы были вдвоем в его комнате, нежно спрашивал меня про мою жизнь, сидя у меня на коленях. Спросил об одной девушке, о Р. П. И когда я ему ответил, он долго плакал, склонившись ко мне на плечо. О чем? Вероятно, о том, что он не встретил ни одного человека, в особенности ни одного писателя и поэта, у которых бы удачно сложилась жизнь. Сергей был совершенно трезв. Эта его трезвая тяжелая печаль отзывалась мучительной болью.

Я ушел от него часов в 7 вечера.

– Я еще зайду к тебе, Сережа.

– Обязательно заходи!

Но зайти не пришлось. Вечером ко мне пришел писатель Сергей Семенов, с которым мы просидели часов до 12-ти ночи. Семенов ушел, заходить было поздно, – «пусть выспится»... и Есенин в эту ночь уснул, чтобы больше уже не просыпаться.

Георгий Устинов

Четыре дня

В Ленинград Сергей приехал в четверг 24-го декабря утром. О том, что он должен приехать на днях, я знал еще недели за полторы до этого, так как получил от него телеграмму с просьбой снять две-три комнаты, с указанием, что «в двадцатых числах декабря» он переезжает жить в Ленинград. Комнат снять не удалось по разным причинам, тем более, что он забыл сообщить главное: приезжает ли он один или с женой. О том, что он разошелся, я узнал уже лично от него.

В четверг с утра мне пришлось на пару часов выйти из дому. Вернувшись, я застал комнату в легком разгроме: сдвинут стол, на полу рядком три чемодана, на чемодане записка:

«Поехал в ресторан Михайлова, что ли, или Федорова? Жду тебя там. Сергей».

Пошел к «Михайлову-Федорову».

Оказалось, что у подъезда меня ждет извозчик, чтобы везти в «Англетер» – «Федоров заперт был, так они приказали везти себя в

„Англетер“. Там у них не то приятель живет, не то родственник! „Родственником“ оказался Г. Ф. Устинов, большой друг Сергея, живший в 130-м номере гостиницы. Сергея я застал уже в „его собственном номере“ в обществе Елизаветы Алексеевны Устиновой (жены Георгия Устинова) и жены Г. Р. Колобова, приятеля Сергея по дозаграничному периоду. В этот раз посидели недолго. Я поехал домой, Сергей с Устиновой по магазинам (предпраздничные покупки). Перед уходом пробовал уговорить Сергея прожить праздники у меня на Бассейной. Ответ был, буквально, следующий: „Видишь ли... мне бы очень хотелось, чтобы эти дни мы провели все вместе. Мы с Жоржем (Устинов) ведь очень старые друзья, а вытаскивать его с женой каждый день на Бассейную, пожалуй, будет трудновато. Кроме того, здесь просторнее“.

Второй раз собрались мы уже часа в четыре дня. В комнате я застал, кроме упомянутых: самого Устинова и Ушакова (журналист, знакомый Устинова, проживавший тут же в «Англетере»). Несколько позже пришел Г. Колобов. Дворник успел перевезти вещи Сергея

сюда же. Просидели часов до девяти. «Гости» ушли, остались мы вдвоем. Часов до одиннадцати Сергей философствовал на разные темы: и о том, как хорошо, что мы оба снова одинокие, и о том, что по возрасту ему пора редактировать журнал, о совершенной «нерусскости» Анатоля Франса и о письмах Пушкина. Обо многом. Под конец не сошлись во взглядах: какое стихотворение Ходасевича лучше – «Звезды» или «Баллада» (Сергей защищал «Звезды»), и заснули.

Проснулись часов в шесть утра. Первое, что я от него услышал в этот день:

– Слушай, поедем к Ключеву!

– Поедем!

– Нет, верно, поедем?!

– Ну да, поедем: только попозже. Кроме того, имей в виду, что я адреса ключевского не помню.

– Это пустяки! Я помню.

Часов до девяти, лежа, смотрели рассвет. Окна номера выходили на Исаакиевскую площадь. Сначала свет был густой, синий. Постепенно становился реже и голубее. Сергей лежал и радовался: «Смотри, синий свет, свет

такой синий!»

В девять поехали. Что это была за поездка! Мы обошли половину Морской улицы. Заходили в десяток дворов. Всюду Сергей ликовал: наконец-то нашли! Десятки дверей захлопывались у нас под носом. Десятки жильцов орали, что никакого Клюева, будь он трижды известный писатель, а на последнее Сергей очень напирал в объяснениях, они не знают и знать не хотят. Номер дома, как водится, был благополучно забыт. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы мне не пришло в голову разыскать автомат и по телефону узнать нужный нам адрес.

Подняли Клюева с постели. Пока Клюев одевался, Сергей объяснил: «Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель». Через пару минут: «Николай! Можно прикурить от лампадки?»

– Что ты? Сереженька! Это у меня материнское благословение. Как можно! На вот спички!..

Закурили. Клюев пошел умываться. Сергей смеется.

– Давай подшутим над ним!..

– А как?

– потушим лампадку. Он не заметит. Вот клянусь тебе, не заметит!

– Обидится!

– Пустяки! Мы ведь не со зла. А так, для смеху.

Потушил. Смеется:

– Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит!

Не заметил...

Сказал ему Сергей об этом уже позже, когда мы втроем вернулись в номер. Вслед за нами пришел художник Мансуров. Сидели, разговаривали. Клюев ел конфеты. Сергей – фисташки, Мансуров – сига.

Потом Сергей читал стихи – «Ты, Николай, мой учитель. Слушай». Учитель слушал.

Ушел Клюев часа в 3 1/2. Обещал прийти к девяти вечера. Но не пришел. Я видел его уже у гроба...

Ну, что еще было в этот день?

Пришли Устиновы. Е. А. принесла самовар. С Устиновым пришел Ушаков и старик писатель В. Измайлов. Гнали чай. Сергей снова читал стихи, в том числе и «Черного человека».

Излагал планы: «снимем квартиру вместе с Жоржем. Тетя Лиза (Е. А. Устинова) будет хозяйкой. Возьму у Ионова[10] журнал. Работать буду. Ты знаешь, Вова, это мы только праздники побездельничаем, а там за работу!»

Вечером ненадолго заходил Ив. Приблудный.

Вот тут я начинаю сбиваться. Пятница и суббота прошли до того похоже, что в моей памяти сливаются в один день. Разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговаривали. И разговоры-то были одни и те же: квартира, журнал. Время от времени Сергей умудрялся понемногу доставать пива, но редко и скудно – в праздники все было закрыто. Кроме того, и денег у него было немного. А к субботе и вовсе не осталось.

Кстати: после смерти Сергея поднимались разговоры о «тяжести номерной обстановки» и пр. Это не совсем верно. Во-первых – «Англетер» отнюдь не представляет из себя «номеров для приезжающих». Там в большинстве случаев живут постоянные жильцы с женами, самоварами и прочим.

Считаю себя обязанным отметить еще одну вещь: Е. А. Устинова, с своей стороны, приложила все усилия для того, чтобы Сергей чувствовал себя совсем по-домашнему. Постоянно пыхтел самовар. Ежедневно убирала комнату. Грели ванну. По возможности не оставляли его одного.

Итак, насчет субботы ничего примечательного сообщить не могу. Перейдем к воскресенью. Пришел я рано. С утра поднялся галдеж. Сергей, смеясь и ругаясь, рассказывал всем, что его «хотели взорвать». Дело было так. Дворник (дядя Василий) пошел греть ванну. Через полчаса вернулся и доложил: пожалуйста! Сергей пошел мыться. Через несколько минут прибежал с криком, что его хотели взорвать. Оказывается: колонку растопили, но воды в ней не было – был закрыт водопровод. Пришла Устинова.

– Сергунька! Ты с ума сошел! Почему ты решил, что колонка должна взорваться?

– Тетя Лиза, ты пойми: печку растопили, а воды нет. Ясно, что колонка взорвется!

– Ты – дурень! В худшем случае она может распаяться.

– Тетя Лиза! Ну что ты в самом деле говоришь глупости! Раз воды нет – она обязательно взорвется! И потом, что ты понимаешь в технике!

– А ты?

– Я знаю!

Пустили воду.

Пока грелась вода, занялись бритьем. Сначала я его, потом наоборот. Елизавета Алексеевна тем временем сооружала завтрак. Побрились. Стоим около письменного стола: Сергей, я и Устинова. Я перетираю бритву, Сергей моет кисть. Кажется, в комнате была прислуга. Вдруг Сергей говорит: «Да! Тетя Лиза, послушай! Это же безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи и нет чернил. Я искал, искал: так и не нашел. Смотри, что я сделал!» Засучил рукав, показывает руку: разрезано. Поднялась буча. В первый раз видел Устинову сердитой. Кончили они так:

– Сергунька! Говорю тебе в последний раз: если повторится еще раз такая штука, мы больше не знакомы.

– Тетя Лиза! А я тебе говорю, что если у ме-

ня не будет чернил, я еще раз разрежу руку. Что я, бухгалтер, что ли, чтобы откладывать на завтра!

– Чернила будут. Но если тебе еще раз взбредет в голову писать по ночам, а чернила к тому времени высохнут, можешь подождать до утра! Ничего с тобой не случится!

На этом поладили. Сергей нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Затем говорит, складывая листок вчетверо и кладя мне в карман пиджака: «Это тебе. Я еще тебе не писал ведь? Правда... и ты мне тоже не писал!» Устинова хочет прочитать. Я тоже. Тяну руку в карман.

– Нет, ты подожди! Останешься один – прочитаешь. Не к спеху ведь!

«Не к спеху» – протянулось ровно на сутки, потому что вслед за этим пошли: ванна, самовар, пиво (дворник принес бутылок 5–6), гусиные потроха, люди. К чаю пришел Устинов, привел Ушакова. Много смеялись, разговаривали. Сергей говорил оживленно и весело. Рассказывал про колонку. Бранился с Устиновой, которая заставляла его есть. Пел свою любимую в последнее время песню, которую

привожу ниже.

– Тетя Лиза! Ну что ты меня кормишь! Я ведь лучше знаю, что мне надо есть. Ты меня гусем кормишь, а я хочу косточку от гуся сосать!..

Часа в два мне пришлось ненадолго уйти. Здесь надо кое-что объяснить: еще в день приезда Сергей сказал мне, что на мое имя для него перешлют из Москвы деньги. Повестка пришла, но... на его имя и на мой адрес. В результате двое суток он не мог получить денег. В воскресенье мы додумались: Сергей пишет мне доверенность, по которой я и получаю деньги. Поэтому днем я заехал к секретарю Союза поэтов М. А. Фроману и заверил подпись Сергея. Вернувшись, застал еще всех в сборе. Просидели часов до шести. Помню, Устинов журил Сергея за то, что он мало читает. Сергей оправдывался. Около шести Устинов ушел к себе «соснуть часика на два». В. А. тоже.

Остались втроем: Сергей, Ушаков и я.

Часов в 8 и я поднялся уходить. Ночевать я решил дома, во-первых, потому, что рано утром (по просьбе Сергея) я должен был зайти

на почту, во-вторых, по утрам я ходил к врачу. И то и другое рядом с моей квартирой. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель, а с ним и доверенность. Ушаков к тому времени успел уйти. Сергей сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично. На прощанье Сергей, смеясь, сказал, что он сейчас пойдет будить Устинова.

На другой день портье, давая показания, сообщил, что около десяти Сергей спускался к нему с просьбой – никого к нему в номер не пускать.

Стихотворение вместе с Устиновым мы прочли только на другой день. В суматохе и сутолоке я забыл о нем.

Любимая песня Сергея – вот она:

*Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман,
То ли пуля в сердце метит,
То ли близок трибунал.*

*Ах, доля – неволя,
Глухая тюрьма,*

*Долина, осина,
Могила темна.*

Москва. Января 28-го 1926

Вольф Эрлих о смерти Есенина

I

1919 г. Кафе поэтов Тверская, 18. Комната правления Союза поэтов.

Зимние сумерки. Густой табачный дым. Комната правления по соседству с кухней. Из кухни веет теплыню, доносятся запахи яств. Время военного коммунизма: пища и тепло приятны несказанно. Тепло и пища: что же еще в жизни нужно?

Беседуем с Есениным о литературе. Беседа оживленная. Первые годы нашего знакомства с Есениным были для него периодом усиленного искания творческого пути; в этот период Есенин любил беседовать, любил философствовать. В дальнейшем он стал меньше разговаривать об искусстве; и только в последний год своей жизни, в особенности в последние месяцы, перед смертью, он по-прежнему много рассуждал об искусстве.

– Знаешь ли, – между прочим сказал Есенин: – Я очень люблю Гебеля. Гебель оказал на меня большое влияние. Знаешь? Немецкий народный поэт...

– У немцев есть три поэта с очень похожими фамилиями, но с различными именами: Фридрих Геббель, Эмануэль Гейбель и, наконец, Иоганн Гебель. Иоганн Гебель – автор «Овсяного Киселя».

– Вот. Этот самый Гебель, автор «Овсяного Киселя», и оказал на меня влияние.

– Представь себе, Сергей: тетка моя, простая крестьянка, научилась грамоте от своих детей-школьников, прочла «Овсяный Кисель» в переводе Жуковского или, может быть, только прослушала по хрестоматии эту немецкую идиллию и сложила песню про кисель. Придумала мотив к песне и распевала ее на крестьянских пирушках и свадьбах. Я не знаю наизусть этой песни. Она отличается большой непосредственностью, наивна и трогательна; в этой песне, точно так же как и во многих вещах Гебеля, есть нравоучение. По форме она отличная вещь: тонкие изысканные концевые созвучия. Нужно будет запи-

сать эту песню. Мне приятно, что ты и моя тетка литературные родственники: у вас общий литературный отец: Гебель. По крайней мере он вам обоим отец крестный.

Я никогда не забывал признания Есенина о влиянии на него Гебеля, но мне ни разу не приходилось об этом писать.

В настоящее время пристально всматриваясь в произведения Гебеля и Есенина, заметил многое, чего раньше не замечал. Меня поразили некоторые черты сходства в творчестве обоих поэтов.

Напомню читателям о Гебеле: Иоганн-Петр Гебель (1760–1826 г.) происходил из бедной семьи ткача. Писал на южно-немецком народном диалекте. Писал он по преимуществу идиллии. Самая выдающаяся книга Гебеля его «Алеманские стихотворения» («Alemannische Gedichte»), появившиеся в 1803 году. Эта книга написана на наивном и гармоничном наречии. В ней Гебель отражает жизнь, образ мыслей и нравы родины. «Алеманские стихотворения» полны теплоты, мягкости и задушевности, в них непосредственность чувства и мысли изредка нарушается морализирую-

щими чертами.

Гете высоко оценивал Гебеля. Вот что говорит Гете об авторе «Алеманских стихотворений»: «Гебель, изображая свежими, яркими красками неодошевленную природу, умеет оживотворять ее милыми аллегориями. Древние поэты и новейшие их подражатели наполняли ее существами идеальными: нимфы, дриады, ореады жили в утесах, деревьях и потоках. Гебель, напротив, видит во всех сих предметах одних знакомцев своих – поселян, и все его стихотворные вымыслы самым приятным образом напоминают нам о сельской жизни, о судьбе смиренного земледельца и пастуха... Во всем, и на земле и на небесах, он видит своего сельского жителя; с пленительным простосердечием описывает он его полевые труды, его семейственные радости и печали; особенно удаются ему изображения времен дня и года; он дает душу растениям; привлекательно изображает все чистое, нравственное и радуется сердцу картинами ясно-беззаботной жизни. Но так же просто и разительного изображает он ужасное, нередко с тою же любезною простотою говорит о пред-

метах более высоких, о смерти, о тленности земного, о неизменяемости небесного, о жизни за гробом – и язык его, не переставая ни на минуту быть искусственным языком поселенина, без всякого усилия возвышается вместе с предметами, выражая равно и важное, и высокое, и меланхолическое». (Цитирую в переводе В. А. Жуковского.)

Я привожу подробно мнение Гете о Гебеле потому, что те же черты, какие отмечает Гете в творчестве Гебеля, определяют раннее творчество Есенина.

Есенин в своей книге «Ключи Марии», раскрывая понятие ангелического образа, упоминает Гебеля одновременно с Эдгаром По, Лонгфелло, Уландом и Шекспиром. Произведения Гебеля Есенин ставит наряду с теми произведениями, «которые выпукло светят на протяжении долгого ряда веков».

Многие стихи Есенина по содержанию и настроению близки к гебелевским.

Влияние Гебеля заметно в некоторых стихах «Голубени», «Сельского Часослова», «Трехрядницы».

Есенин на всем протяжении своего творче-

ского пути то удалялся от Гебеля, то снова возвращался к нему.

В особенности близок Есенин к Гебелю в «Пантократоре»: по теме, по мысли, вложенной в это произведение. «Пантократор» – это «Тленность» Гебеля. В «Тленности» Гебеля дед и внук ведут разговор о судьбах мира, о назначении людей, о гибели земли, о жизни за гробом после исчезновения жизни на земле. Причем у Гебеля дед поучает внука, дед повествует о судьбе мира и людей. В «Пантократоре» внук обращается к умершему деду с теми же самыми речами, которые Гебель вкладывает в уста деда.

Встреча живых и умерших дана у Есенина точно так же, как и у Гебеля.

В доказательство несколько цитат из обоих поэтов. Цитирую Гебеля в переводе В. А. Жуковского:

Гебель:

*Все, наконец,
Зажглось, горит, горит и прогорает
До дна, и некому тушить, и само*

Потухнет...

Есенин:

*С земли на незримую сушу
Отчалить и мне суждено.
Я сам положу свою душу
На это горящее дно.*

Гебель:

*...но будешь добр и будешь
В одной из звезд, и будет мир с
тобою;
А если Бог посудит, то найдешь
Там и своих: отца и мать и... де-
да.*

Есенин:

*О, пусть они, те, кто во мгле
Нас пьют лампадой в небе,
Увидят со своих полей,
Что мы к ним в гости едем.*

Предсмертное стихотворение Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья» звучит по гебелевски. Умирая, Есенин вернулся к Гебелю: «встреча впереди», встреча в загробной жизни, встреча в ином мире: это мотив Гебеля и романтиков.

У Есенина есть изумительное стихотворение по скрытой в нем трагической сущности; написано оно в последний год жизни поэта. В этом стихотворении Есенин, между прочим, говорит:

*Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.*

Играть на пиковую даму плохо: эпитафией к «Пиковой даме», взятым Пушкиным из «новейшей гадательной книги», является следующая цитата: «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». Пушкинский Германн сыграл на пиковую даму и плохо, очень плохо окончил игру.

Сыграть бубнового туза еще хуже, хуже этого ничего не может быть на свете.

Символика есенинского бубнового туза раскрывается в полной мере только при одном условии: если мы знаем о влиянии Гебеля на нашего поэта.

Смотритесь в сказку Гебеля: «Красный карбункул».

Всемирно был хорош, и умен, и проворен герой сказки – Вальтер. Но рано он стал трактирщи

любить. Карты брал он по праздникам в руки. Однажды в трактире, заметив бешеную игру Вальтера, некто Зеленый, слыvuщий в народе Букой, проворчал, покосившись:

«Ты не уйдешь от меня!»

Мина, невеста Вальтера, видит вещий сон: чернец дает ей три карты: одна из этих карт – туз бубновый, не так ли? Плохо; ведь красный карбункул, значит он... доля недобрая.

Женившись, Вальтер дает обещание Мине:

Я от игры откажусь и карты проклятые брошу;

*Душу возьми сатана, как скоро
хоть пальцем их трону.*

*Но отстать от вина – и во сне не
проси; не отстану.*

Вальтер не сдержал обещания. Вот пришел он в трактир, а Зеленый уж там и тасует. Снова Зеленый втягивает его в игру. Зеленый проигрывается и в уплату проигрыша дает Вальтеру чудесный перстень:

*Камень редкий, карбункул; в нем
же есть тайная сила...*

Знай: как скоро нет денег, ты перстень – на палец, да смело

*Руку в карман, и вынется звонкий,
серебряный талер.*

Чем дальше, тем хуже. Кто заглянет в полночь в трактир, в полдень иль в три часа пополудни – Вальтер сидит за столом и тасует...

Вальтер разрушил семейный очаг. Его, как холод, охватывает ужас. Он бежит. Ночь. Поле. Кличет Зеленого. Тот является.

– Послушай, здесь оставаться теперь не годится, – говорит Зеленый: – будет плохо.

И советует Вальтеру скрыться.

Вместе они совершают побег. Снова трактир. В трактире светится свечка.

– Зайдем на минутку, – предлагает Зеленый: – тут есть хорошие люди; помогут тебе разгуляться.

Входят. В трактире сидят запоздалые, пьют и играют. Вальтер с Зеленым подвинулись к ним, и война закипела.

В «Красном карбункуле» Гебеля, точно так же как и у Пушкина в его «Пиковой даме», значение слов, условно употребляемых в картежной игре, переносится в расстроенном воображении героя на действительность, принимается как реальный факт, как сама реаль-

ная жизнь.

Привожу выдержки из Пушкина и Гебеля в качестве иллюстрации этого редкого литературно-психологического приема:

Пушкин:

*– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский.
Германн вздрогнул... В эту минуту ему показалось,
что пиковая дама прищурилась и усмехнулась.
Необыкновенное сходство поразило его...
– Старуха! – закричал он в ужасе.*

Гебель:

*– Бей! – кричат. – «Подходи!» – Я лопнул! —
«Козырь!» – Зарезал!..
Зарезал!.. глубоко, глубоко.*

*В сердце к нему заронилось тяжелое слово; а Бука,
Только что взятку возьмут, повторит да на Вальтера взглянет.*

Вальтер играет в ночном трактире, имея с собою чудесный перстень. Масть, как на выбор, негодная сыплет. Проигрывается. Он обманут: перстень теряет чудесную силу.

*Вот... и первого четверть. С перстнем на пальце он руку
Всунул в карман: «Разменяйте
мне талер». Плохая монета.
Вальтер, плохая монета: в кармане битые стекла!..
Поздно, поздно, ничто не поможет...*

Ночь. Зеленый идет впереди, а за ним бредет Вальтер, как покорный ягненок, бредет к кровавой колоде. Звезды на небе смеркли. Воздух душен. Ветка не тронется. Листик не дрогнет. В ночной тишине и тьме слышит он голос Зеленого:

*– Вальтер, что же ты так замолчал?.. Уже не молишься ль,
Вальтер?
Или считаешь свой проигрыш?
Все проиграл невозвратно.
Как быть? А выбор остался плохой, я сам признаюся.*

Зеленый дает Вальтеру оружие и уговаривает покончить с собой. Несчастный Вальтер-Сережа накладывает на себя руки.

24/III 1926

Иван Грузинов

Из встреч с Есениным

Одним весенним утром я шел с Есениным по московским улицам. Мы опаздывали и должны были торопиться. После бессонной ночи, когда было о многом с жаром переговорено, у нас в распоряжении были только обычные утренние слова.

Вдруг Есенин остановился. Улыбка осветила его лицо. Он взял меня под руку и сказал весело:

– Свернем немного в сторону. Я тебе покажу кое-что забавное.

Я сначала не соглашался: и так мы опоздали.

– Ничего – это недалеко, – он стал уверять так весело и горячо, что я согласился. Мы прошли одну улицу, вторую, переулок, второй переулок и все в сторону от нашего маршрута,

потом мы окончательно бросили старую дорогу.

– Ничего, – говорил Сергей, – зато ты увидишь очень забавное.

Наконец, пройдя два квартала, он подвел меня к витрине фотографа. Посередине витрины красовался очень похожий портрет Есенина.

– Разве это не забавно! – сказал он.

– Ты прав, – ответил я. – Пусть мы опоздали и пусть дело подождет или провалится, но это действительно забавно. Ты очень похож и чтобы посмотреть на Есенина, можно пройти побольше, чем несколько улиц.

Он засмеялся очень молодым смехом и снял шляпу. В эту минуту я увидел всего Есенина. Его наполняла гордость, какой-то легкий и свободный восторг, светлые кудри его развевались, его глаза странника, ни к чему не прикованного, проходящего по весенней земле с песней, лукаво усмехнулись. Мне казалось, что он сейчас заговорит стихами, нараспев. Но он снова взял меня под руку и сказал:

– Я бы тебе показал и портрет сына, но это

очень далеко отсюда. Сегодня не стоит...

...Нас разделял только маленький столик тифлисского духана. Белое напареули кипело в стаканах. Мы сидели за столиком один на один и разговаривали стихами. Рядом торговцы баранов пропивали стадо, и юная грузинка целовалась с духанщиком. Воздух был пропитан теплотой вина и лета.

Я был очень рад, что линии наших странствий пересеклись в этом благословенном городе юга. Я любил этого вечного странника, пьяного от песен и жизни, этого кудрявого путаника и мятежника.

Он говорил стихи так, точно кроме этих связанных голосом слов ничего нет в мире. Мой язык не повернулся бы сказать о графическом рисунке стиха. И он не повернулся, я не обидел искренней и простой дружбы теоретической льдинкой.

Гуртовщики за соседним столом чокнулись и разбили стаканы. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Сергея. И вдруг лицо его переменилось. На юношеский лоб легла тень усталости, огонек тревоги пробежал в его глазах. Он прервал стихи и замолчал. По-

том сказал как бы нехотя и подавив волнение напускной веселостью:

– Ты не знаешь, я не могу спать по ночам. Паршивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно на ночь – влетают какие-то птицы. Я сначала испугался. Просыпаюсь – сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажег свет – нетопырь. Взял палку – выгнал одного, другой висит у окна. Спать не дают. Черт знает – окон раскрыть нельзя. Противно – серые они какие-то...

– Ну, бросим – давай пить.

Мы выпили и тоже бросили и разбили стаканы. Я засмеялся, но он отвел глаза. Я увидел его тревогу. Мы обнялись и расстались...

Бедный странник знал не только скитанья и песни, серые птицы не давали ему спать, и не только спать, они волочили свои крылья по его стихам, путали его мысли и мешали жить. Когда-нибудь мы узнаем их имена.

Но никто никогда не узнает, какой страшный нетопырь, залетев в его комнату в северную длинную зимнюю ночь, смел начисто и молодой смех, и ясные глаза, и льняные куд-

ри, и песни, из которых не нужно брать примеров для учебника.

Николай Тихонов

Из воспоминаний о Сергее Есенине

Среди многих стальных соловьев нашей поэзии Сергей Есенин был единственным живым соловьем, соловьем с горячей, бешеной кровью.

Когда думаешь о сопоставлениях, на память приходит вечно юный, растрепанно-веселый и пьяный жизнью дерптский студент Языков. Но Есенин несравнимо больше Языкова: никому и никогда не приходило в голову назвать Языкова национальным поэтом, — имя, которого Есенин дождался после своего ухода из жизни.

Не уберегли — вот первая сознательная мысль, появившаяся у многих после того, как чуть схлынула горькая волна безудержно подступившего к горлу горя. Что греха таить — много нянек было у Есенина, и все-таки не было той единственно необходимой, которая могла бы вовремя его спасти, не дать завя-

заться трагическому узлу, из которого был неизбежен выход в смерть.

Наверное, биографы разберутся в путаной жизни поэта, докажут, что все было исторически необходимо и непоправимо: конечно, деклассированный, якобы, выходец из крестьянской среды, опьяненный крепким вином культуры и своим гением, должен был кончить именно так. Но от этого не легче. Погиб самый живой поэт. Погиб человек Сергей, Сережа Есенин, каждая встреча с которым входила в жизнь, как значительное, важное и дорогое событие.

Мои встречи с Есениным можно перечесть по пальцам, но все они вот именно так входили, вращались в жизнь.

Познакомился я с Есениным еще в 1915 году, при участии тогдашних петербургских друзей Сергея – Рюрика Ивнева и Вл. Чернявского, по-настоящему хорошо пригревших угловатого рязанского паренька, каким был тогда Есенин. На литературные вечеринки я приходил тогда буквально со школьной скамьи, и это создало между мною и Есениным – тогда тоже новичком в литературе – какое-то

внутреннее взаимное сочувствие и понимание. При последующих свиданиях, спустя много лет, Есенин часто вспоминал о нашей первой встрече.

Может быть, уже тогда, во всем этом окружении (цех поэтов, М. Кузмин, Е. Нагродская и др.), которому Есенин был беспредельно чужд, таились зачатки его грядущей гибели. Нужно было быть дьявольски здоровым душой человеком, чтобы избежать всех раздражающих влияний того времени и среды.

Вскоре затем я как-то потерял Есенина из вида, и встретились мы снова уже после революции, ранней весной 1918 года, у В. В. Шимановского. Это был период есенинского «скифства», которому был подвержен и я, напечатавший в «Знамени Труда» статью об «Инонии».

Но из этой встречи мне запомнилась мелочь, никакого отношения к литературе не имеющая: Есенин с детским восторгом рассказывал о том, как ему ранним утром попался на улице редкий в городе гость – неведомо откуда забежавший хорек, и как он пытался (впрочем, неудачно) поймать зверька...

В этом, а также и в том, что через несколько лет Есенин с любовью вспоминал об этом эпизоде, отразилось вечно детское его натуры. Надо же было, чтобы именно Есенину, оторванному от родных раздолгий, попался на дороге зверь, так до боли напомнивший потерянное «рязанское небо».

После того мы не виделись ровно шесть лет. Встретились снова у В. В. Шимановского, на этот раз в его студии. Был апрель 1924 г. Те, кто был на этом вечере, помнят, какой это был праздник. Молодежь восторженно встречала любимого поэта. Перед стихами Сергей сказал несколько слов «теоретических» – в защиту ленинградской литературы, которой жестоко досталось от выступавшего перед ним В. Эрлиха: «В Петербурге есть писатели – Чапыгин, Зощенко, Никитин, есть поэты – Садофьев, Полонская, Тихонов». Далее Сергей говорил об эпохе: «время сейчас текучее, я ничего в нем не понимаю», – говорил о роли художника, как мог бы сказать Блок.

Когда Есенину (это уже за кулисами) был задан вопрос, бывает ли он у себя на родине, он ответил:

– Мне тяжело с ними. Отец сядет под деревом, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией.

В канун Пасхи того же 1924 года я пришел к Есенину на набережную Жореса. Было снежное утро. Вереница пивных бутылок висила в углу. Хозяин квартиры читал самодельные вирши по поводу происшествий, случившихся со вчерашними гостями. Велись бесконечные и бессмысленные полутрезвые разговоры. К счастью, вскоре мы остались одни. Васильковые глаза Сергея, подернутые хмелем, глядели, как у нашалившего ребенка. Трехлетний мальчонка пел нам «Колю и Олю», «Марусю». Сергей хохотал и спрашивал «певца»: а тебе жалко Марусю? жалко?

После трех-четырех бокалов пива, выпитых при мне, Есенин захотел читать Языкова. До сих пор жалею, что книгу нам тогда не принесли.

И снова Сергей говорил на тему: «устал я жить в родном краю». Но признавался, что за границей было еще хуже. Говорили мы об общих друзьях, и Есенин с большой любовью вспоминал одного из них, с которым он сблизился.

зился в Петербурге 1915 года.

«Жизнь моя с авантюристической подкладкой, но все это идет мимо меня», – сказал в то утро Есенин. И я поверил этому – тогда, но теперь всем ясно, что ничто в его жизни не было бесследным.

Вскоре Есенин уехал в Москву, возвратился в Ленинград уже летом. В одну из коротких встреч на лестницах Госиздата я уговорился, что вечером Есенин вместе с Клюевым будет у меня. Это был день, когда только что вышла из печати «Москва кабацкая». Эту книжку с надписью поэта я берегу как величайшее свое сокровище.

В тот вечер был у меня, также ныне покойный, критик Павел Жуков. Есенин был в хорошем настроении, вспоминал хорька. Но нервы его были до крайности напряжены. Случайные шаги домашних за дверь тревожили его и пугали. Говорил он много и горячо, еще жарче читал стихи. Впервые я тогда услышал «Возвращение на родину».

Вот его слова о себе, записаны мною тогда же: «Не хочу отражать крестьянские массы, не хочу надевать хомут Сурикова или Спири-

дона Дрожжина... Я просто русский поэт, а не политик... поэт, это – тема, искусство не политика, оно – остается, искусство – это...» – и Есенин делает неувовимо-восторженный жест.

Конечно, Сергей говорил против «сознательного» надуманного «отражения». П. Жуков напомнил об «Инонии», и Есенин должен был признать, что «Инония» была поэмой «с общественным значением», но – «этот период прошел».

В словах поэта было бесспорно то, что Есенин, конечно, не был «крестьянским» поэтом в узком значении слова. Но пусть он был «не сроден революции», по слову Троцкого, пусть он хотел знать «только искусство», пусть эпоха задела его творчество лишь крылом, – стихи Есенина останутся памятником не только их автору, но и всей нашей эпохе, в конечном счете породившей Есенина.

Больше я не видел живого Сергея. Трудно сейчас рассказывать о том, как обряжали его в последний путь, как лежал Есенин, вынутый из петли, с развившимися внезапно кудрями, с судорожно согнутой рукой, как искали в номере, во что бы его одеть (вещи были

все опечатаны), и как пришлось писать расписку от имени Союза писателей на взятую для тела простыню, как в этой простыне несли мы его тело во двор, чтобы положить его там на мерзлые дровни, и как на следующий день происходило последнее возвращение Сергея Есенина из Ленинграда в Москву, как Ионов и Садофьев говорили над гробом в вагоне о том, что такие поэты рождаются раз в столетие и что с его смертью в каждом из нас умерла какая-то лучшая наша частица.

Только и остается напоследок спасающая человеческая нежность: спокойно и крепко спи, милый, под своими родными снегами. Никуда ты больше не поедешь, останешься с нами навсегда. И, может быть, твоя смерть останется последней **такою** смертью русского поэта.

Ленинград, январь 1926
Иннокентий Оксенов

То, о чем помню

Сейчас трудно обобщить все, что помнишь о Сергее. Все же хочется остановиться и рассказать о тех моментах личных встреч и бесед с ним, которые, может быть, выявят новые данные, характеризующие его как человека.

Откровенная беседа

Осенью 1923 года я зашел в «Стойло Пегаза». Мне сказали, что Сергей сидит внизу, «в отдельном кабинете» и просил, если кто-нибудь из нас, имажинистов, придет, зайти к нему.

В то время, учитывая прогрессирующую склонность Сергея к вину, мы категорически запретили вход в «Стойло» его многочисленным собутыльникам. Зная, что Сергей избегает одиночества, я спустился к нему.

Сидел он в шубе, без шляпы, перед ним была бутылка белого вина. Здороваясь со мной, он заметил, что так как один пить не умеет, то решил научить этому меня...

К сожалению, многое из разговора я еще не могу оглашать, но помню, что сама беседа

носила откровенный характер. В конце концов она пошла по тем рельсам, которых, признаться, я до этого побаивался.

К моему удивлению, Сергей ухватился за эту тему и стал говорить о своих отношениях к евреям.

Он сам не понимает, как его зачислили в антисемиты. Любил евреек, жена у него еврейка и дети еврейские (так и сказал «еврейские»). Он с особенной любовью заговорил о своем сыне:

«Понимаешь, встал передо мной... Такой маленький, и говорит: „Я Константин Есенин“...

Он пояснил мне, что не любит Мандельштама, Пастернака за то, что они все поют о соборах, о церквях, о русском. В поэте он (Сергей) ценит свое лицо: должна быть своя рубашка, а не взятая напрокат. В стихах важна кровь (слово «кровь» подчеркнул), быт!

И сейчас же добавил: вот ты не стесняешься, что еврей. Поешь о своем...

Тут он стал рассказывать, как любил в детстве Библию, ее образы, пафос пророков. Так как в то время я увлекался библейскими об-

разами (кстати: это было одной из причин, почему я пошел по одной дороге с имажинистами), то мы очень долго беседовали на затронутую тему. Сергей, увлекаясь, перешел на критику поэтов. «Оттого мне хорошо, что знаю: лучше всех пою», – закончил он и, с сожалением глядя на пустую бутылку, стал просить, чтобы я заказал другую...

Я знал, что за второй последует третья, и наотрез отказался. Сергей настаивал.

В это время в кабинет постучали и оказался участковый надзиратель. Он спросил о каких-то квитанциях, и Сергей заявил, что как хозяин приглашает его подождать здесь.

Потом он хитро улыбнулся и сказал, чтобы я заказывал вина: надо угостить милицию! Надзиратель стал отказываться, и мы уговорили Сергея идти домой. Подымаясь со стула, он заявил, что скоро придет обедать: а без вина он не обедает. Действительно, это было одной из «заграничных привычек» Сергея.

Мы стали подыматься по лестнице. Вдруг Сергей наклонился ко мне и сказал, что хочет напугать буфетчицу. Он растрепал свои волосы, «сделался пьяным», и мы, поддерживая

его под руки, повели наверх. Увидав буфетчицу за прилавком, он рванулся от нас и «страшным» голосом сказал ей, что сейчас перебьет все бутылки.

Буфетчица ахнула и нырнула за прилавок. Мы засмеялись. Тогда он спокойно подошел к зеркалу, поправил волосы, надел шляпу, и увидав, что буфетчица испуганно смотрит на него, – приподымая шляпу, сказал по-английски:

«Good bye!»

Буфетчица только руками развела.

Сергей в больнице

Была зима 1924 года. Днем ничто не предвещало беды: Сергей участвовал на совещании имажинистов и, по обыкновению, первым поставил под протоколом свою характерную подпись.

Вечером я его не видел, а наутро узнал, что он разбил оконное стекло и так сильно разрезал руку, что его отвезли в Шереметьевскую больницу (теперь больница им. Склифосовского).

Первое время к нему не пускали; но спустя

несколько дней я и А. А. Берзина отправились его навестить.

Посещение больных разрешалось в определенные дни и часы. Потому, когда мы туда приехали, в вестибюле хирургического отделения толпилось много посетителей. Ко мне подошел один из больничных докторов, случайно оказавшийся знакомым, и от него я узнал, что рана Сергея пустяшная и что всякие опасения о том, что он не будет владеть рукой, – отпали.

Разыскать палату, где лежал Сергей, было нетрудно, так как больные охотно указывали направление, а один из толпившихся в коридоре (какой-то провинциальный журналист) даже проводил нас до дверей.

Сергей лежал на кровати, покрытый серым одеялом. Перевязанная рука была под одеялом, здоровой рукой он пожимал нам руки. Он очень осунулся за это время, и его лицо имело желто-зеленый оттенок. Его мучила боль, и он часто подергивался во время разговора, очевидно, стараясь, чтобы мы не обратили внимание на то, что ему еще плохо. Он улыбался больше, чем следовало, и старался

шутить во что бы то ни стало. Глаза его, хранившие следы бессонницы и физического страдания, на этот раз засветились радостью.

У Березиной были в руках свертки с разной снедью, и так как столик, стоявший в изголовье Сергея, был уставлен подобными же коробками и пакетами, то Сергей указал на стул, куда она и положила принесенное.

Он стал подробно расспрашивать меня и ее об интересующих его делах. В то время Сергея очень мучили жилищные условия, и вопрос об отдельной комнате был для него самым насущным. В этот день выяснилось, что у него будет отдельная комната. Это успокоило его, и он стал мечтать о работе над «Страной негодяев» и над Махно, образ которого его очень интересовал.

Потом он стал рассказывать о больных, которые помещались с ним в палате, давая им остроумные характеристики. Особенно он иронизировал над одним, который лег в больницу для операции, и врачи ожидали от него ответа: кем он хочет быть: мужчиной или женщиной?

Окончательно развеселившись по этому

поводу, Сергей попросил позвать к себе одного беспризорного мальчика, который повредил себе ногу и передвигался на костылях. Он оказался «приятелем» Сергея, о чем можно было судить по их взаимоотношениям. По просьбе Сергея мальчик пел нам одну за другой песни. Сюжет песен был обычный: о горемычном житье-бытье сиротки, о подвигах какого-то генерала, о наступлении красных и т. п. Мотив песен был похож на народные песни: «Любила меня мать, обожала» и «Маруся отравилась». Сергей, зная репертуар мальчика, сам заказывал песни и, лежа с сияющими глазами, подпевал ему...

В палату вошла сестра и сказала, что пора кончать визит. Мы просидели еще минут 10 и, не желая утруждать больного, покинули палату...

«Вольнодумец» Есенина

Сергей имел колоссальное влияние на имажинистов. Очень многие вопросы, которые обсуждались на собраниях группы, решались так, как хотел он, потому что Сергей упорно настаивал на своем. (Например, вопрос о «Лефе».)

Еще с самого начала имажинизма в группе наметились два крыла, о которых неоднократно упоминали различные теоретики. Одно крыло во главе с Сергеем признавало за образом служебное значение и требовало органической связи между образами в стихотворении. Другое крыло (куда входил Мариенгоф) считало образ самоцелью и полагало, что связь между образами должна быть технической. После того, как Сергей уехал за границу, последнее течение, став значительней и глубже, чем было в период «военного имажинизма», прочно обосновалось в своих новых формах на страницах журналов и альманахов группы. Правда, Сергею уделялось первое место; но по приезду он почувствовал настоящее положение вещей, и холодок пробежал

между когда-то большими друзьями: Есениным и Мариенгофом.

Как известно, в третьем номере «Гостин. для путеш. в прекрасном» была напечатана «Москва Кабацкая». Однако Сергей после выпуска этого номера стал дуться на нас. Помню, что не раз пытался с ним говорить на эту тему; но он по каким-то причинам воздерживался от объяснений.

Я думал, что он обижается на Мариенгофа по следующей причине: в третьем номере журнала под 8 пунктами декларации были подписи имажинистов. Мариенгоф, выпуская этот номер, умудрился поставить себя первым. Правда, его фамилия начиналась с буквы «М», зато его имя начиналось с первой буквы алфавита (Анатолий): он поставил подписи имажинистов не по алфавиту фамилий, а по алфавиту имен.

Весной 1924 года Сергей приехал ко мне со Всев. Ивановым. Нужно сказать, что к тому времени он отошел от нас, а потому его визит меня удивил. На дворе была оттепель, весеннее солнце, – и он был очень жизнерадостен. Я решил воспользоваться случаем и задал

ему вопрос об его отношении к группе. Тогда Сергей взял кусок бумаги, лежавший на столе, и начал писать:

«Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом „Вольнодумец“, в который и приглашаю всю группу...»

Он поднес карандаш ко рту, чтобы смочить графит, и так как карандаш был чернильный, то я отвел его руку. Он посмотрел на меня, улыбнулся и одним взмахом написал следующее:

«В журнале же „Гостиница“ из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более, что он Мариенгофский».

Сергей подумал немного и добавил:

«Я капризно заявляю, почему Мар. (Мариенгоф) напечатал себя на первой странице, а не меня».

Действительно «Москва Кабацкая» была напечатана на 3-й странице.

Сергей подписался, поставил дату и сразу заговорил о «Вольнодумце», увлекаясь своими мыслями и несколько раз вскакивая с кресла. Он составлял список сотрудников,

распределял материал, сдавал его в типографию, корректировал, говорил с Главлитом, стоваривался о распространении, обрушивался на критику... Не знаю, куда бы завела его эта фантазия, если бы Всеv. Иванов не заметил ему, что уже пора ехать.

Тут Сергей остановился, вспомнил, что он еще не мыл голову, и стал прощаться.

Это мытье головы для Сергея было своего рода обрядом. Я помню, что однажды встретил его на улице, идущего необыкновенно быстрыми шагами. Я подошел к нему, но наскоро пожав руку, он бросил мне:

«Бегу мыть голову. Сегодня иду к Троцкому!» И он поспешил вниз по Тверской.

Потом я узнал, что перед всякими торжественными случаями Есенин прибегал к этому своеобразному обряду...

Последняя встреча

С Сергеем мне не пришлось скоро встретиться. Однажды в августе прошлого года я условился с Грузиновым поехать к нему. Но случайно встретился с ним раньше, на первой литературной пятнице, устроенной Домом Печати.

Увидев меня, он подошел ко мне. Отойдя в сторону, я минут 15 беседовал с ним. И что больше всего меня поразило, – его глаза. Они всегда у него во время разговора расцветали; теперь же были тусклые, но по-прежнему внимательно глядевшие на собеседника. Он стал сутулым, и у него появилась новая манера: класть руки в карманы пиджака. В этот вечер он должен был выступать, и обычное волнение перед скорым выходом на эстраду охватило его. Однако он подробно расспрашивал о том, что я делаю, и рассказывал о своих делах. Помню, что я спросил его о материальном благополучии. Он, шутя, заметил, что продался оптом Госиздату и потому с этой стороны дело обстоит хорошо. Помню также, что заговорил с ним об имажинизме и спро-

сил его, что хотел он сделать своим «ропуском имажинистов». Он засмеялся и сказал, что все равно имажинизм без его имени немислим...

Беседа коснулась других тем, и кто-то отозвал его.

Эта встреча произвела на меня тяжелое впечатление. Я узнал, что она была за несколько дней до того, как Сергей опять слег в психиатрическую клинику. Мне говорили, что он поправился и чувствовал себя хорошо. Не верю: нужно быть нечутким, чтобы не почувствовать того трагического надлома, который сквозил в каждой фразе, в каждом жесте Сергея.

Вспоминаю, как он сравнивал себя с Блоком:

«Я, как Блок: ярко пою и быстро горю!»

Если бы мы, которые уделили столько внимания мертвому Сергею, уделяли бы столько живому, может быть, он не так скоро ушел бы от нас.

Мы же увлекались красотой его стихов, ра-

довались блеску его таланта, а о нем, о Сергее, мало думали.

Невольно вспоминается четверостишие А. Фета:

*И в эту красоту невольно взор тянуло,
В тот величавый блеск, за темный весь предел, —
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
«Там человек сгорел!»*

*Москва. Январь 1926
Матвей Ройзман*

Из воспоминаний

Мое личное знакомство с Сергеем Есениным относится к началу его творчества, когда ему было только 17 лет.

В 1912 – 13 г. я заболел, и мои встречи с Есениным оборвались вследствие отъезда моего за границу.

В феврале 1914 г. я вернулся из Швейцарии в Москву. Заходя в кружки самоучек и начинающих поэтов, я не раз встречал там Сережу Есенина.

Про него шла такая молва:

«Парень смельчак. Послушай, какие у него стихи! Он пойдет далеко!»

Худенький блондин, юноша в высоких сапожках, картузике, пиджачке и цвета бордо косоворотке, казавшийся моложе своих 17 лет, на просьбы товарищей охотно читал свои первые стихи.

У Есенина, с самых ранних пор, с самых первых опытов, относящихся к 1914–1915 гг., не было неудачных стихов, как у большинства начинающих поэтов. Он сразу вошел в литературу, действительно родившись по-

этом.

Творчество Есенина началось и шло по следующим этапам:

1. Приезд в Москву; общение с кружком самоучек и начинающих поэтов; появление первых его стихов в печати; работа наборщиком и корректором в Сытинской типографии, посещение университета Шанявского (1913–1915 гг.).

2. Отъезд его в Петербург и знакомство с А. Блоком, С. Городецким и Н. Клюевым (1915–1917 гг.).

3. Полоса имажинизма и поездки по России: на Север, в Туркестан, Кавказ, Крым (1918–1921 гг.).

4. Путешествие за границу (1922 г.).

5. «Москва Кабацкая», «Русь Советская» и последние порывы и взлеты (1923–1925 гг.).

Первый этап Есенина, откуда идет исток его творчества, до самой смерти поэта никем не затрагивался и не освещался. А между тем, для уяснения жизни и творчества поэта, это имеет большое значение.

В имеющихся у меня материалах, написанных рукою Есенина, есть ссылка на то, что

первые его стихи появлялись в следующих изданиях: «Жизнь», «Рязанская Жизнь», «Новь», «Мирок», «Проталинка», «Путеводный Огонек» и др.

По указанным материалам мне пришлось наводить справки. В «Путев. Огоньке» за 1913 и 1914 г. стихов С. Есенина не оказалось. В газ. «Ряз. Жизнь» за весь 1914 г. стихов С. Есенина также не было. Просмотрено за 1911 г. два журнала с названием «Новь» (Казань и Москва) – и здесь стихов Есенина тоже не оказалось. Очевидно, имелась в виду издававшаяся в Москве в 1914 г. газ. «Новь» под редакцией А. А. Суворина, каковую мне просмотреть не удалось.

Ниже помещаем два стихотворения Есенина, не попавшие ни в одну из его вышедших книг (таких стихотворений, конечно, много). По этим стихам (они очень слабы) мы можем судить, какими гигантскими шагами Есенин шел вперед и как крепло его творчество. Стихи относятся к началу империалистической войны:

Молитва матери

На краю деревни

Старая избушка.
Там перед иконой
Молится старушка.

Молится старушка
Сына поминает,
Сын в краю далеком
Родину спасает.

Молится старушка,
Утирает слезы.
А в глазах усталых
Расцветают грезы.

Видит она поле,
Это поле боя,
Сына видит в поле —
Павшего героя.

На груди широкой
Запеклася рана,
Сжали руки знамя
Вражеского стана.

И от счастья с горем
Вся она застыла,
Голову седую
На руки склонила.

*И закрыли брови
Редкие сединки,
А из глаз, как бисер,
Сыплются слезинки.*

(«Проталинка», № 10 – 1914 г.)

Узоры

*Девуца в светлице вышивает тка-
ни,
На канве в узорах – копыя и кре-
сты.*

*Девушка рисует мертвых на поля-
не,
На груди у мертвых красные цве-
ты!*

*Нежный шелк выводит храброго
героя,
Тот герой отважный принц ее ду-
ши.*

*Он лежит сраженный в жаркой
схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.*

*Кончены рисунки. Лампа догора-
ет.
Девушка склонилась. Помутился
взор.*

*Девушка тоскует. Девушка рыда-
ет.*

*За окошком полночь чертит свой
узор.*

*Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локонов впуталась
луна.*

*В трепетном мерцаньи, в белом
покрывале,
Девушка, как призрак, плачет у
окна.*

(«Друг Народа», № 1 – 1915 г.)

Вслед за этими стихами, в начале 1915 г., еще перед отъездом в Петербург, Есенин является к товарищам, где был и я, с большим новым стихотворением под названием «Русь».

В тесной накуренной комнате все притихли.

Зазвенел голос белокурого Сережи.

*Понакаркали черные вороны
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все сторо-
ны,
Машет саваном пена с озер...*

Читал Сережа с душой и с детски чистым и непосредственным проникновением в те события, какие надвигались на любимую им мужичью, в берестяных лапотках, Русь:

*Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.*

Есенин стихотворением «Русь» (напечатанным в журнале «Сев. Зап.» и включенным впоследствии в «Радуницу») гигантски шагнул вперед. Этим стихотворением он и приобретает себе известность и имя.

От первых стихотворных опытов Есенина перехожу к воспоминаниям интересных моментов из моих личных встреч с поэтом.

8-го февраля 1915 г. Общее собрание одного кружка самоучек и начинающих писателей избрало меня и Есенина в редакционную коллегию издававшегося журнала. Вот на этом собрании и сказался подлинный Есенин.

– Надо создать настоящий художественный журнал. Слабые вещи печатать не годится!

А старая редакционная коллегия тянула

назад:

– Нельзя так: у нас много принятого материала.

Тогда Есенин схватил свой картузик и кивнул мне:

– Идем, Фомин. Здесь делать нам нечего!

И мы оба вышли из редакционной коллегии кружка.

Вскоре Есенин стал печататься в толстых журналах и уехал в Петербург.

Это был второй его этап.

События и жизнь метали пишущую брацию во все стороны.

В 1918 – 19 гг. я снова встречаюсь с Есениным в Москве. В серой меховой куртке, веселый, улыбающийся Сережа зазывает меня по пути в пристанище литераторов – в «Кафе Поэтов» на Тверской. Он шел от А. Мариенгофа. Но это был уже не тот худенький белокурый паренек – Лель, как его называют некоторые критики и каким я встречал его раньше. В его округлившемся лице и голубых глазах просвечивала тайна. Есенин нес необычайную силу гипноза: он мог овладевать своим собеседником не только словами, но даже молча-

ЛИВЫМ ВЗГЛЯДОМ ИЛИ СВОЕОБРАЗНЫМ НАКЛОНОМ ГОЛОВЫ.

– Я слышал, ты выпускаешь вторую книгу стихов? – спросил меня за столом Есенин, заказав обед и кофе.

Я показываю ему гранки «Свирели». Он пробегает с начала до конца все стихотворения.

– Так... Помню, встречал в журналах. Да! Хороша наша лирика, – сделал он ударение над словом «**наша**», имея в виду лирическую поэзию вообще. – Только не по сезону сейчас она. Из пушек надо палить, понимаешь, **из пушек!** В таком урагане не услышат теперь ведь это...

Вскакивает из-за стола и убегает в комнату правления кафе и выносит оттуда мне с надписью «Радунницу» и «Исуса Младенца».

– Вот! Сейчас под руками остальных книг не имею, прости.

К нам подошел огромный, лохматый желтый пес. Есенин отдал ему с тарелки недоеденное мясо и, потрепав по лохматому загривку, улыбнулся:

– Иди отсюда, да смотри – сам не попади на

жаркое. Теперь это случается.

Заговорив о деревне, Есенин рассказал, как приезжал к нему из деревни отец.

– Узнав про голодовку в Москве, мой отец решил приехать ко мне с «подарком». Захватил целую баранью тушу, а дорогой ее отобрали. Так и не удалось мне отведать с родины баранинки!

Это был третий этап творчества Есенина.

По возвращении Есенина из заграничных путешествий встречаюсь с ним в 1923 г. в Успенском переулке, в редакции «Красной Нови». Есенин в это время затевает издавать альманах «Россияне». Идут долгие споры с Сергеем Клычковым по поводу издания этого альманаха. Есенин хотел быть единоличным редактором, на что Клычков не соглашался.

– Тогда я уеду в Питер и буду работать с Миколаем, – сказал, улыбаясь, Есенин. Вынул из бокового кармана серой меховой куртки письмо и протянул мне: «Читай».

Письмо это было от поэта Н. Клюева, который жаловался Есенину на свое тяжелое положение, упоминая про гроб, заступ и могилу.

Действительно, Есенин уехал в Ленинград

к Н. Клюеву, но издание альманаха там не осуществилось. Недели через три Есенин вернулся из Ленинграда с Клюевым в Москву и выступал с ним на Пречистенке в «Цекубу». Здесь он читал стихи из «Москвы Кабацкой» и «Исповеди хулигана».

Жутким мне показалось выступление Есенина. Был он в обычном своем сером костюме, но с необыкновенным фуляровым шарфом, завязанным большим бантом. Перед чтением стихов сказал вступительное слово. Упоминая о поэме Блока «Двенадцать», принимался несколько раз наливать из графина в стакан воду, пил большими глотками и затягивался папироской. Перед долго ждавшей аудиторией ходил, потирал руки, хмурил брови и держал себя с нарочитой развязностью.

Во время антракта познакомил меня с Н. Клюевым, который был угрюм и молчалив.

Это был последний этап в творчестве Есенина. Но и в нем изредка проглядывала солнечная радость.

Вспоминается «кудрявым и веселым и таким разбойным» Есенин, с пышным букетом цветов в руках впереди шествия писатель-

ских организаций, в июне 1924 г., в день 125-летнего юбилея Пушкина, у памятника на Тверском бульваре.

Несколько позднее (17 мая 1924 г.) неожиданная смерть нашего друга, поэта Александра Ширяевца, снова собрала писательскую братию. Я помню, как ошеломила Есенина смерть Ширяевца. Всем, кто вернулся в тот день с Ваганьковского кладбища на «поминки» Ширяевца в «Дом Герцена», не забудется плакавший Есенин, с хрипотцой прочитавший весь ширяевский «Мужикослов». Стихотворение на смерть Ширяевца им было написано для «Красной Нови» несколько дней спустя.

В начале 1925 г. в «Доме Герцена» по приглашению кружка «Перевал» Есенин выступал со своими новыми произведениями. Прочитал он цикл стихов из «Персидских мотивов» и поэму «Анна Снегина», посвященную А. Воронскому. У Есенина на левой руке, по-Пушкински, на большом пальце блестел сердоликовый перстень, в голосе звучала грусть. Особенно сильное впечатление произвели на слушателей «Персидские мотивы».

По окончании чтения молодежь «Перева-
ла» пыталась было открыть обсуждение по
поводу прочитанного.

– Не трудитесь, – тихо сказал Есенин. – Ну
что вы можете мне сказать? Ваши возраже-
ния или советы мне не нужны. Читаю, слежу
я за вами, что пишете. Слабо. Один только На-
седкин овладел техникой. Многому еще при-
дется вам учиться...

Попрощался и уехал.

21 декабря 1925 г. в 11 час. вечера в «Доме
Герцена» я читал свои стихи. Неожиданно во-
шел расстроенный чем-то, удрученный Есе-
нин. Сел у входа, послушал минут пять,
несколько раз пытался что-то сказать. Но
пришел один из его товарищей и увез его с
собой. Это была последняя встреча с Есени-
ным. Через неделю газеты известили о траги-
ческой кончине поэта.

Семен Фомин

Есенин

Умер Есенин! Это трудно сказать вслух. Это так же трудно сказать, как «нет больше песни... Умерли березовые рощи, вечернее ко-
сое солнце, розовая дорожная пыль»...

* * *

Пустой коридор одной из «гостиниц для приезжающих». Дверь настежь. За круглым столом посередине милиция составляет протокол, а тут же на полу, прямо против дверей, лежит, вытянув ноги и запрокинув лицо, Сережа Есенин. Уже тускнеющие, но все еще золотые волосы разметались по грязному полу среди сора и растоптанных окурков.

И невозможно осознать до конца, что вот здесь, душной вчерашней ночью, умер поэт. Самый простой, самый настоящий, пришедший в наш табачный дым оттуда, из забытых нами рязанских солнечных полей. Мы затравили его своим чадом и ресторанными скрипками и ничего не могли ему дать взамен его простой правды о свежевспаханном поле, о жеребенке на косогоре у телеграфных столбов. Алкоголь тек в его жилах густой и отрав-

ляющей песней.

Но была в этой песне такая ветровая воля, такой полевой простор, что дух захватывало и слезы подступали к горлу...

Сережа Есенин! На загроможденном сутробами многоэтажном дворе положили мы тебя, завернутого в простыню, на мерзлые чухонские дровни. Кто-то сказал возчику: «В мертвецкую Обуховской больницы!» Лошадь тронула с места, и повезли тебя, полуодетого, без шапки в морозную муть по скрипучим улицам равнодушного города.

Умер Есенин. Умерла песня. Еще будут «читать» стихи, еще будут «произносить» их с эстрады, но «петь» уже не станет никто. Новые, машинные ритмы вошли в нашу жизнь, ритмы бодрого, дружного кругового усилия. Одинокий, затерявшийся в полях прохожий, Есенин в последние годы пел только о себе и для себя. Пел, потому что песенный воздух зудил грудь и просился на волю.

Пусть и останется он навсегда в нашей памяти одиноким путником душистой полевой межи, бедный рязанский паренек с голубыми, как его деревенская речка, глазами!

Прощай, Сережа, – песня, сторевшая на ветру!

28 декабря, 1925

Всеволод Рождественский

Цветок неповторимый
(У гроба Сергея Есенина)

*Его душа жила, страдая.
Страдая, в вечность отошла...*

Вот, что я записал в своем дневнике, когда узнал о смерти Сергея Есенина – и вспомнил: передо мной стоит скромный, белокурый мальчик, – до того робкий, что боится даже присесть на край стула, – стоит, молча потупившись, мнет в руках картузок.

Его привел ко мне (помнится в 1911 г.) репетитор моих детей – Владимир Евгеньевич Воскресенский – «вечный студент» Московского ин-та, народник, служивший корректором при типографии Сытина.

«Я к вам поэта привел, – сказал Воскресенский – и показал несколько стихотворений, – это вот он написал – Сергей Есенин!..»

Не помню, какие стихи он принес. Но я сказал поэту несколько сочувственных слов.

А молодой поэт стоял, потупившись, опустив глаза в землю.

Имя Сергея Есенина тогда еще ничего никому не говорило.

Вспоминается вторая встреча, – это было тогда, когда в Москве ставились «временные» памятники поэтам – Кольцову, Никитину, Шевченко.

При открытии памятника Кольцову Сергей Есенин – молодой, задорный, смело читает свое стихотворение, стоя у подножия памятника. И как сейчас вижу его фигуру с поднятой смело головой, слышу его голос, бросающий в толпу новые слова:

*О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.*

*По голубой долине,
Меж телок и коров,
Идет в золотой ряднине
Твой Алексей Кольцов...*

*А там, за взгорьем смолым
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я...*

И тогда не я один, а многие почувствовали, что к нам пришел новый Кольцов.

* * *

Встретился я с Сергеем Есениным и в голодный 1920 год. В. Л. Львов-Рогачевский устраивал в какой-то столовой в Петровских линиях литературные вечера; на один из таких вечеров Сергей Есенин и я были приглашены в качестве участников; за это нам выдавали – дорогие в то время – обеды и какую-то плату.

Мы читали перед обедающей публикой; стихи Есенина были радостные, бодрые, полные огня и жизненности, а в антракте он мне сказал:

«А знаете ли, из ваших стихов мне очень нравится одно стихотворение, я его помню», – и прочитал нежно, задушевно восемь строк моего стихотворения, заканчивающегося размышлениями о смерти.

Так вот еще когда Сергей Есенин думал о

смерти!.. В его стихах часто самые сильные переживания связаны с мыслью о смерти.

* * *

И вот теперь он, словно тот прежний робкий мальчик из типографии Сытина – он словно прислушивается к тишине, окружающей его гроб.

Тревожно бьются от ветра траурные флаги у Герценовского Дома и у Дома печати, по ограде которого протянута широкая лента с надписью:

«Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».

Моросит снежок. Оттепель.

А толпа длинной темной лентой тянется далеко по тротуару и терпеливо ждет очереди, чтобы подойти к гробу своего поэта и взглянуть на него в последний раз.

* * *

И еще одна последняя встреча с ним – самая близкая к роковой развязке, – это уже не тот робкий мальчик, каким я его знал раньше. Теперь ему все нипочем.

Такое впечатление он производил на всех окружающих.

Он смел, самонадеян, горд, – как будто он поборол опасного врага – жизнь, – и она ему не страшна.

Но все это только так кажется, – все это только внешнее. Но если присмотреться, какая глубокая грусть в его голубых глазах.

Подходят к гробу, всматриваются в измененные смертью черты лица поэта.

Когда умер Пушкин, Тютчев сказал:

*Его, как первую любовь,
России сердце не забудет!*

А Сергей Есенин, уходя, сказал про себя, что память о нем будет жить

Как о цветке неповторимом!

30 дек. 1925

Иван Белоусов

Лирический роман Есенина[11]

I. Друзья, критики, читатели

*Как о цветке неповторимом
С. Есенин*

В эти – все еще траурные – дни много пишут о Есенине. Друзья пытаются закрепить его живой человеческий облик, и непримирым, но и бессильным протестом против разрушительной смерти звучат их воспоминания о том, какие у Есенина были синие – синее чем небо! – глаза, как золотились его волосы, как он писал и что читал, какой был у него голос и какой костюм, как он жил и с кем водил дружбу, что думал о людях, о поэтах, о стихах. И почти все эти воспоминания ценны двойною ценностью: как реликвия и как материал для литературоведческих реконструкций. И все же куда могущественней, куда магически действенней всех воспоминаний несколько строчек самого поэта. Мы уже не верим, что поэты бессмертны в своих творениях, – творения умирают так же, как умирают творцы, – но пока живут и звучат для

нас стихи Есенина, в каждой его книжке «и над каждой строкой, без конца» встает его целостный, слитный образ, тот образ, который лишь раздробленно доступен был восприятию друзей и еще раздробленной сохранился в их воспоминаниях. И для того, чтобы воссоздать, хотя бы в смутных очертаниях, этот образ Есенина-поэта, нужно быть другом, но нужнее – читателем.

Критики пытаются осмыслить мировосприятие поэта, связать это мировосприятие с социальными условиями, усмотреть в есенинском творчестве симптом эпохи, отображение борьбы нового быта со старым, причислить его либо к певцам уходящей деревни, «деревянной Руси», либо к представителям деклассированной богемы, к выразителям ее упадочных настроений и проч. и проч. Но совершенно очевидно, что объяснения эти – в большинстве своем даже весьма стройные (как всякая схема) – бессильны объяснить самое главное в есенинском творчестве – тайну художественного воздействия на нас, читателей-современников: если Есенин – певец уходящей Руси, то как он мог стать лю-

бимым поэтом новых поколений, молодой смены? если он представитель деклассированной богемы, то как он мог стать властителем сердец **всей** читающей его России? если он выразитель упадочных настроений, то разве все мы – упадочники?

Противоречия вопиют. Расчисленные и стройные схемы грозят обрушиться, – и вот приходится их поддерживать контрфорсами оговорок: да, Есенин поэт уходящей Руси, но уходящая Русь слишком еще много места занимает в СССР; да, Есенин – представитель деклассированной богемы, но богема, к сожалению, играет все еще большую роль в нашем новом быте; да – выразитель упадочных настроений, но надо признаться, что упадочные настроения проникают даже в среду нашей передовой молодежи (а к тому же в его стихах звучат иногда и бодрые ноты). Последние годы прошли под знаком Есенина – это факт, и это требует объяснений. Но нельзя же принять объяснения, состоящего **сплошь** из одних только оговорок.

И не поможет ссылка на талант Есенина, на лирическую заразительность его стихов:

ведь талантлива же Анна Ахматова, и даже куда уверенней и непогрешимей скользит ее перо по бумаге. Есенина воспринимают не только как талантливого поэта, – его воспринимают, прежде всего, как поэта-современника.

Совершенно очевидно, что критики поторопились с квалификацией Есенина и каждый из них, спеша выполнить свои обязанности критика, не воспользовался своими правами читателя. Между тем, образы живут и строчки звучат лишь в читательском восприятии.

Читательское восприятие целостно и конкретно. А потому, если критика, минуя читателя, пытается взять у поэта материал для своих обобщений, выхватывая из его стихов даже самые, казалось бы, характерные строчки, даже очень настойчиво звучащие темы, – весь этот материал рассыпается тут же в руках. Тематика, которая из всего художественного творчества кажется, обычно, наиболее доступной и удобной для критических обобщений, – совершенно преобразуется, деформируется в общем художественном плане

произведения, в сочетании с композиционными особенностями, с элементами стиля и т. п.

Если такова уже судьба и задача критика – поверять алгеброй гармонию, то не надо ли начинать с того, что прислушаться к гармонии?

II. Герой лирического романа

Буйство глаз и половодье чувств.

С. Есенин

Кажется, правильно будет сказать, что за последнее время ничьих стихов не ждали с таким интересом, как стихов Есенина. И не только потому, что в них, в этих стихах, находили художественное, поэтическое (значит, облегчающее душу, просветляющее ее) выражение своих собственных настроений и дум «все, кто в пути устали», – ко всякому новому стихотворению Есенина прислушивались в последние годы, как к вести о его судьбе, судьбе того Есенина, который вставал перед воображением читателя в каждой строчке, в каждом восклицании, в каждом настроении, в каждой думе поэта (хотя быть может – даже

наверное! – не совсем похож этот Есенин на того, кого называли при жизни Сергей Александрович).

Поэт, в большинстве стихотворений своих, даже не **рассказывает** о себе, – он просто **показывает** себя, как умеют показывать своих героев некоторые мастера романа.

Среди читателей Есенина – иные знали его лично, многие видели на улице, в кафе, на эстраде, в редакции, большинство же знало только его книги. Но всем знаком образ московского озорного гуляки. Потому что поэт запечатлел его в своих стихах, позволил оглядеть его там с головы до ног – от золотистого куста головы до модной пары избитых штиблет.

Мы видим не только раз навсегда зарисованный образ, – он движется у нас перед глазами:

*По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку,*

– с наивным самодовольством сообщает Есенин. Но он имел право гордо утверждать,

что его походку знали не только в тверских переулках, а знали по всей России. Уличный повеса, улыбающийся встречным лицам, пленительно улыбался со страниц своих книг и надолго запомнился в этой своей улыбке каждому из нас, его читателей.

Образ поэта живет, меняет свои очертания, – и разве не у нас на виду посерело золотое сено волос, поблекли синие глаза?

Мы видим поэта в жутком логове кабака, слышим, как он, заплетаясь языком, обрывает песней и слова, и мысли:

*Ты Рассея моя: Рас...сея...
Азиатская сторона,*

узнаем, что пропащим сыном возвращается он «в ту сельщину, где жил мальчишкой», неожиданно вдыхаем в его стихах благоуханный ветер Персии, – но везде, и на московских изогнутых улицах, и среди голой равнины, и у стен Хороссана улавливаем мы один, знакомый и родимый облик; в пьяных спорах («Не ругайтесь! Такое дело...»), в лукавых угорах разговорчивой тальянки, в через силу веселом свисте, в рыданьи разливных бубен-

цов, в ненужных, непонятных для его восточной возлюбленной, но таких нужных самому поэту воспоминаниях, рассказах про Русь, про поле, про волнистую рожь при луне, про рязанские раздолья – звучит русская национальная стихия, мятущаяся, полная противоречий и в то же время тоскующая о всепримирении. «Если черти в душе водились, значит, ангелы жили в ней», – поясняет поэт, но насколько глубже и трагически-убедительней всех этих пояснений, всех грустных раздумий, оценок и признаний – образ самого поэта, отображенный в его стихах.

И когда Есенин говорит: «Эти волосы взяла у ржи», – мы готовы ему поверить – до того наглядно-национален весь облик.

Облика этого не искажает даже европейский модный костюм: в городском щеголе мы узнаем простодушного обитателя предместья, мечтавшего «по-мальчишески, в дым» – о богатстве и знатности.

Из отдельных рассеянных по стихам характерных особенностей складывается в восприятии читателя единый образ, пред нами возникает герой лирического романа – по ме-

ре того, как из отдельных эпизодов, ситуаций, мотивов сковывается непрерывная цепь, по мере того, как отдельные темы оказываются объединенными одной, единой и всепоглощающей темой.

III. Уходящее хулиганство

*Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.
С. Есенин*

В «Москве кабацкой» впервые явственно и не случайно прозвучала у Есенина тема любви. Но не случайно переплелась эта тема с темой хулиганства. Грустной лирике любви предшествуют раздумья поэта о своей черной гибели, о смерти «на московских изогнутых улицах», о пропащей кабацкой гульбине, над которой чадит мертвячиной, нежным признаниям предшествует рожденное отчаяньем решение:

*Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси,*

надрывный крик под желтую грусть гармоника: «Май мой синий! Июнь голубой!» После таких стихов понятнее любовь хулигана:

*Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых,
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.*

Перед нами одна из типичных эпических ситуаций. Рядом с образом героя возникает образ героини, мы видим златокарий омут ее глаз, подернутых усталостью и кротких; стеклянный дым волос; строгий, как на иконах, лик; легкий стан и нежную поступь; знаем ее возраст:

*О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета;*

ее прошлое:

*Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.*

И она – не далекий адресат его стихов, встающий лишь пред воображением поэта, – она наглядно, так же, как и сам герой, присутствует в этих стихах, герой беседует с нею, смотрит ей в глаза:

*Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые,*

может сказать, обращаясь к ней: «Дорогая, сядем рядом». Создается иллюзия развертывающегося действия. Но встреча героя с героиней, его любовь – не отдельный, обособленный, заверченный в себе эпизод, – это одна из глав целого романа; от этой встречи протягиваются нити в прошлое и будущее героя. И в общей композиции этой главы так многозначительно звучат, казалось бы, такие неудачные, лирически-невыразительные, почти безвкусные строчки:

*В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь сканда-
лить,*

их мы воспринимаем так же, как и слова действующих лиц в обыкновенном романе: не как ценное само по себе выражение обособленной лирической эмоции, а как симптом переживаний героя. В разгульных, кабацких стихах Есенина мы не столько искали созвучий с нашими собственными настроениями, сколько ждали от них вестей о судьбе лирического героя; так и здесь, в этих любовных стихах мы не столько ищем оформле-

ния для своих собственных переживаний (что нового, еще неоформленного другими сказал в них о любви поэт, если отбросить конкретную ситуацию и конкретного героя?), – мы тоже ждем от них вестей о судьбе героя. Сам поэт связывает свою любовь с настойчивым глубоким раздумьем о своей судьбе. И когда он говорит возлюбленной:

*Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях,*

– здесь не простое, зрительно-убедительное сравнение, недаром дальше идут покаянные строчки:

*Я на эти иконы плевал.
Чтил я грубость и крик в повесе.*

Любовь воспринимается как возврат к утерянному спокойствию. Этим она и нужна поэту, которому

*Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.*

Характерно, что поэт, ощущавший кабацкую бесшабашность и пропащую гульбу как

проявление русской, национальной стихии, – в той же стихии ищет исхода, успокоения, к ней хочет приблизиться через любовь:

*Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.*

Но любовью не завершается круг романа, здесь еще нет развязки: по мере того, как растут слова «самых нежных и кротких песен», растет и грустная уверенность, что эти песни запоздали, что поэту пора встречать неприхотливый приход своего сентября. Если в начале главы, когда в его сердце лишь заметался голубой пожар, когда только мечталось о том, чтобы тонко касаться руки, – имя возлюбленной звучало для героя прохладой, то тем же осенним холодком овеваны все дальнейшие встречи:

*Ты целуешь, а губы, как жесть,
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не сумеет расцвести.*

В этой грустной, непоправимой уверенности – завершение любви, завершение главы, эпизода, но не развязка романа, ибо тема любви подчиняется другой, более сильной,

более углубленной теме: читатель следит за судьбой человека, ощутившего в себе брожение какой-то буйственной стихийной силы, мятежной тоски и надломившегося под ее напором.

IV. Возвращение на Родину

*Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах,
Что я с народом дружен?
С. Есенин*

Как всем, кто читал есенинские стихи, знаком облик их лирического героя, – так знакома и родина поэта, близкий ему с детства деревенский пейзаж: родные поля, луга и чащи, птичий гомон и щебетня в зеленых лапах лип, звон тополей и – среди хат и кладбищ, разбросанных по родимому краю, – низенький дом, где протекло деревенское детство, белый сад, по-весеннему раскинувший ветви, простой погост. Знаком нам и клен, под которым рос герой, и кирпичная печь, завывающая в дождливую ночь. Сквозь свою непутевую жизнь, сквозь городскую, горькую славу, сквозь чувственную вьюгу любви проносит

герой память о рязанском небе. И когда любовь измучила прохладой, он примиренно и грустно мечтает о песнях дождей и черемух, о шуме молодой лебеды.

Вот почему так полно лирического смысла и драматического напряжения есенинское «Письмо к матери», – каждая строчка, обращенная к старушке «в старомодном ветхом шушуне», насыщена воспоминаниями, каждое слово воскрешает в нашей памяти прошлое поэта, целый мир его переживаний. И обещание сына – вернуться весной в низенький дом – воспринимается как начало новой главы все того же романа, как дальнейшее разворачиванье основной темы. Жажда успокоения, не утоленная любовью, приводит к родимой сельщине – пропащий сын возвращается домой. И там, на фоне мирного, неприглядного быта рязанской деревни повторяется ситуация из «Чайльд-Гарольда», – но ни литературные реминисценции читателя, ни ссылка автора

*По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот*

не нарушают органической связи между всем художественным целым лирического романа и грустным признанием героя:

Уже никто меня не узнает.

Герой возвращается не только в родительский дом, и не только родительский дом кажется ему каким-то иным, не прежним —

*Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя,*

он возвращается **на родину**, к своей «деревянной Руси», деревня встречает его, как «угрюмого пилигрима». В личной судьбе своей, в отчужденном одиночестве среди родного когда-то села, поэт умеет показать трагический смысл смены поколений:

*Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин,*

– сквозь грустное сознание своей ненужности дает почувствовать всепобеждающую силу новой жизни, сквозь рьяное наяживание комсомольской гармонии дает прислушаться-

ся к голосу нашей эпохи.

Лирический круг романа расширяется, тема родины осложнена здесь темой революции. Прежняя мягкая незлобивость поэта звучит в этой главе какой-то мудрой, почти пушкинской примиренностью:

Цветите юные! И здоровейте телом.

У вас иная жизнь. У вас другой напев.

А я пойду один к неведомым пределам,

Душой бунтующей навеки присмирив.

Герой есенинских стихов всегда воспринимался читателями как близкий, родной по крови, – как соотечественник; начиная с этой, второй главы, нельзя уже было не ощущать в нем современника.

V. Ласковый урус

Пью я сухими устами

Ветер благоуханный.

С. Есенин

Если прежде Есенин повторил чайльд-герольдовский мотив возвращения после

долгих странствований в родные места, то «Персидские мотивы» воспроизводят схему пушкинского «Кавказского пленника», связанного, в свою очередь, в общей массе русских байронических поэм, с т. наз. Восточными поэмами Байрона. Есенинская Персия – это Шираз, осиянный лунным светом, прозрачный и синий воздух, луга в диком цветении, желтая прелесть месяца – далекая и незнакомая страна, «голубая родина Фирдуси»; здесь и непривычный быт чужого народа, непривычные фигуры: чайханщик с круглыми плечами, угощающий красным чаем; меняла, дающий за полтумана по рублю и в то же время – хранитель восточной мудрости; персидские женщины, спрятанные под чадрой; задумчивая пери за замкнутой дверью, за порогом, обсыпанным розами. И надо всем этим миром веют хмельные, как брага, ароматы, звучит флейта Гассана и песня Саади. Налицо – обязательное для байронической поэмы изображение экзотического пейзажа и непривычной жизни чужого народа.

Повторяется и основная ситуация «Кавказского пленника» – любовь чужестранца к ту-

земной женщине. Есенин создает образ героини – прекрасной персиянки, спутницы, возлюбленной и собеседницы героя, обучающей его искусству любви. И так же, как пушкинский герой, предаваясь в забвеньи ласкам черкешенки, обнимает «тайный призрак», в объятиях страстной подруги мыслит о другой, – так и лирический герой Есенина – в дыханьи свежих чар, в ласках лебяжьих рук, в любви своей Шаганэ напрасно пытается забыть о «дальней северянке».

Но прошлое кавказского пленника теряется в романтически-неясных далях, дано, как обобщенная *Forgeschichte* байронического героя:

*Людей и свет изведал он,
И знал неверной жизни цену,*

– прошлое же есенинского героя знакомо и близко нам по прежним стихам поэта, и при каждом новом, даже глухом упоминании воскресается во всем своем конкретном трагизме. Если пушкинский пленник, глядя на уединенный путь, ведущий в Россию, взволнован тяжелою думой о стране, где он

*...бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье,*

то есенинский урус вспоминает не такую, не отвлеченную родину, а свою деревянную, деревенскую Русь, свои рязанские раздолья:

*У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.*

О дальней северянке поэт лишь раза два упомянул в своих «Персидских мотивах», о далеком же имени «Россия» не устает вспоминать: любовь к персиянке и любовь к девушке, оставшейся «там, на севере», воспринимаются где-то на втором плане. В ласковом урусе мы узнаем все того же героя «кабацкой Москвы», и сопровождает его все тот же лейтмотив. Вот почему персидские стихи Есенина примыкают к предшествующим его стихам, как новая глава все того же единого романа.

Роман не завершается любовью персиянки. Герой не находит забвенья в этой любви – то ли потому, что,

*Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не
хочет,*

то ли потому, что Русь опять властно по-
звала его к себе:

Мне пора обратно ехать в Русь.

С этой персидской своей любовью, как с любовью московской, как с мечтою о родимом крае, – он прощается таким же грустно-примиренным прощанием:

*Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.*

VI. Предназначенное расставанье

*Но и жить, конечно, не новой.
С. Есенин*

Предсмертные стихи

В «Персидских мотивах» нет еще развязки лирического романа Есенина. Однако в них уже совершенно непоправимо прозвучал мотив бездомности, отчаяние отверженного: герой – наш соотечественник, современник и в то же время скиталец. Судьба лирического героя завершена: ему остается лишь снежная замять, залихватский разгон тройки и хохот – до слез – колокольчика, – т. е. не остается ничего. Задача автора – отыскать концовку. И он

пишет свои стихи о предназначенном расставании; этими стихами, завершающими роман, жизнь лирического героя, завершена была и жизнь поэта. Смерть соединила в одно художника-творца и творимый им образ...

Впрочем, здесь мы уже выходим за пограничную линию искусства.

Валентина Дынник

Примечания

«Липа» – подложный документ. (Прим. С. А. Есенина.)

[^^^]

Пожалуйста (англ.).

[^^^]

3

Бизнесмены, деловые люди (англ.).

[^^^]

4

[^^^]

Пароход «Париж» (искаж. англ.). – Сост.

[^^^]

6

Здесь и далее по рукописи Есенина воспроизводится русская калька английского слова «cabin» – каюта. – Сост.

[^^^]

Мне нравится Америка (искаж. англ.). – Сост.

[^^^]

Бизнес (искаж. англ.). – Сост.

[^^^]

Настоящее письмо Л. Д. Троцкого было оглашено 18 января 1926 г. в Московском Художественном академическом театре на вечере памяти С. Есенина; напечатано в № 16 (2647) газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 20 января 1926 г.

[^^^]

И. И. Ионов – заведующий ленинградским отделением Госиздата.

[^^^]

Термин «лирический роман» был употреблен в аналогичном смысле Эйхенбаумом в книге об А. Ахматовой. Однако, думается, наличие явственно-ощутимого, целостного сюжета, каковой мы и пытаемся доказать в своей статье, скорее позволяет применить этот термин к стихам Есенина, нежели к ахматовской лирике, которой более приличествует другое употребленное Эйхенбаумом название – «лирический дневник».

[^^^]